

Ольга
ПОСТНИКОВА

РАДУЙСЯ!



Ольга ПОСТНИКОВА

РАДУЙСЯ!

роман

Москва
издательство НОВЫЙ ХРОНОГРАФ
2010

УДК 821.161.1-31Постникова О.Н.

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

П63

П63 *Постникова, О. Н.*
Радуйся! Роман / Постникова О.Н. — М.: Новый хронограф, 2010. — 320 с. — ISBN 978-5-94881-136-9.

Агентство СІР РГБ

Действие в романе приходится на 70-е — начало 90-х годов, а воспоминания героев восходят к военным и 60-м годам XX века. Изображаются быт, работа и людское существование времен «застоя» в столице и южном провинциальном городе.

Колорит портового центра, специфика археологических раскопок, жизнь городского музея, тайная деятельность торговцев древностями.

Герой повествования — человек, прошедший войну и переживший крушение социальных надежд, археолог, склонный искать параллели в событиях античности и сегодняшнего дня. В центре романа — любовная история, соединение двух людей из разных поколений: главного героя, фронтовика Великой Отечественной и молодой женщины, мировоззрение которой сложилось в московской среде времен «оттепели».

В романе действуют персонажи с разными судьбами: и те, что стараются приспособиться к общественным условиям, делая карьеру на обслуживании идей КПСС, и те, что противясь идеологическому прессу, прячутся в алкогольное забытие, и люди, пытающиеся отстоять свое человеческое достоинство, и народ на баррикадах в девяносто первом году.

УДК 821.161.1-31Постникова О.Н.

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Постникова О.Н., 2010

© «Новый хронограф», 2010

ISBN 978-5-94881-136-9

Каменный колодезь, впускная яма гробницы, был довольно глубокий, метров шесть, которые он преодолел моментально, скользнув вниз по веревке, привязанной к дереву. Местные жители тщательно скрывали такие входы в подземелья, хозяйственно используя их и называя не «катакомбы», а «катапомбы» или «катабомбы». Миновав короткий узкий коридор-дромос, он попал в погребальную камеру, вырытую в твердой глине.

В штормовке, надетой на голое тело, с планом некрополя за пазухой, он нес еще два фонаря: один — китайский, карманный, другой — большой, на шести батарейках, купленный по случаю за немалые деньги.

Он думал, что довольно быстро доберется до нужного помещения. В прошлом году, чуть ли не в последний день экспедиции при археологической разведке наткнулся он на хранилище металлических предметов и монет, но тогда заниматься этим было некогда. И он отложил свое открытие на целый год, никому не проговорившись о том, что нашел.

Мягкая глиняная пыль сыпалась ему за ворот и так сцеменировала волосы на голове, что ему казалось, голову обжимает жесткий шлем. Движимый азартом, он довольно быстро освоился в темноте и, очутившись в сравнительно просторном помещении, включил большой фонарь. Исполинская тень закачалась на стенах. В мощном потоке света стало видно, что глиняные стенки страшно обезображены: повсюду круглые, разного диаметра дыры, эдакие разverzающиеся кратеры, которые, как он знал, были лазами, ведущими в соседние усыпальницы. Судя по плану, склепы лепились друг к другу, как соты, группируясь по несколько штук, так что имели и общие стенки. Перелезая из одной камеры в другую, он не встретил нигде ни гробов, ни костяков. Ниши-аркосоллии и лежанки, предназначенные для установки ящиков с человеческими останками, — иногда по две, по три в склепе, — были пусты. По сторонам входных проемов, плотно закупоренных

каменными плитами, кое-где были маленькие нишки, видно, для светильников.

В очередной усыпальнице он наткнулся на странный агрегат: железная труба с зазубринами на конце, соединенная с чем-то вроде коловорота, — и сообразил, что те воронки, которые виднеются тут всюду на стенах, сделаны грабителями с помощью такого вот приспособления, чтобы прорывать путь к смежным захоронениям.

Протискиваясь в глиняные норы и осыпая рыхлый грунт неповоротливыми плечами да изредка включая фонарь, он довольно быстро двигался вперед, кое-где вынужденный ползти на четвереньках, а то и на животе. Там, где отверстие лаза было совсем узким, приходилось, набрав в легкие воздуха, головой вперед бросаться в жерло зондажа, минуту и больше не делая вдоха и рискуя быть похороненным под осыпью пересушенной земли. Он метил ходы, из которых вылезал, горками белых, хорошо заметных при мгновенном освещении мелких камней и через некоторое время уже умел выбирать их из мягкого сора наощупь, не тратя фонарных батареек.

Так обследовал он десятка два помещений. Иногда оставался ненадолго и рассматривал остатки росписей по стенам, орнамент из треугольников и зигзагов, ленты красной и желтой охры. На мгновение в слабом отблеске света проступило изображение лучника, вставшего на одно колено.

Некоторые склепы были тупиковыми, и тогда он ложился отдохнуть, выкуривал сигарету, делая карандашом отметки у себя на чертеже.

Он так удачно начал путешествие, так хорошо освоился в подземном некрополе, точно «на автопилоте» двигаясь к цели по прочерченному на плане пути, что в одной из камер беззаботно оставил большой фонарь, мешающий передвигаться, рассчитывая забрать его, когда пойдет назад. Его одолевала странная веселость. Почувствовав прилив сил, мурлыча какой-то марш, он двигался, совершенно забыв об осторожности. Как-то дурашливо суетясь, в возбуждении проскочил несколько помещений подряд, не сверяясь с планом и не оставляя мет. В приступе необъяснимой смешливости вдруг

принялся кружить по довольно большому овальному подземелью и, чтобы оценить высоту потолка, подкидывать вверх осколки керамики, которые в беспорядке валялись на лежаках. Внезапно он остановился, потому что сообразил: такая эйфория возникает под землей при недостатке воздуха, при кислородном голодании мозга. Отрезвев, посветил на часы и не поверил своим глазам: стрелки на циферблате показывали два. Он полез в катакомбы в девять вечера, легкомысленно решив, что там все равно темно, и никого не предупредив о том, куда отправляется. Понял, досадуя на себя, что и на этот раз не достигнет места, где хранится клад, и решил, что надо возвращаться.

Волокна пахучего сигаретного дыма еще плавали в пустоте час назад оставленного им пространства, и когда он пустился в обратный путь, уже порядком усталый, то в глиняной глухой пещере чувствовал этот свой дым не только по запаху, но как будто и по некоторой нагретости воздуха.

В обширной камере с коробовым сводом он по очереди осветил все углы, но не нашел пирамидки из камней, отмечавшей выход. Заметался, бросаясь то в один, то в другой лаз, но те, в которые он мог пролезть, вели в тупики, а память уже отказывала, и он не ориентировался, откуда приполз. Это был склеп, где он как будто уже побывал: с изображением лучника, — но выхода никак не мог отыскать, хотя точно помнил, что это проходное помещение. И когда он поднес фонарик к стене, вдруг увидел, что лучник уже не стреляет, а стремительно летит куда-то в угол, в темноту. Маленькая, полная смятения фигурка, беззащитный человечек, ужас которого мгновенно ему передался... Громко дыша, он вбирал открытым ртом сухой безвкусный воздух, гася в себе ужас и как будто ощущая вес тех нескольких метров спрессованной глины, которые были у него над головой. В ожесточении он стал бить кулаком в стену своей темницы, но бесшумные эти удары только обвалили на него с полпуда земли. Он долго кашлял, и гнев отчаяния в нем ослаб.

Перекатываясь от одной дыры к другой и, в полном смысле этого слова, биясь о стенки головой, он в изнеможении

упал на спину, погрузившись во прах, и сквозь стуки пульса, отдающиеся в висках, услышал вдруг странное пение, как будто в соседнем отсеке подземелья выводил кто-то грудным приглушенным голосом слова на незнакомом языке.

— Эй-эй! — закричал он. Но все стихло.

Он понял, надо сосредоточиться. Лежа лицом вверх в мягкой могильной трухе, он прислушался и учуял вдруг кроткое мяуканье, а затем писк. Звуки эти периодически повторялись на одних и тех же нотах. Он замер, вглядываясь в темноту и ожидая увидеть тех тварей, которые так противно пищали рядом. Он не верил в чертовщину, но читал о том, как любят селиться в склепах летучие мыши, которых он, конечно, не боялся, хотя и вспомнил внезапно, что археологи, изучавшие захоронения древних египтян, умирали потом один за другим, отравленные прокисшим пометом этих нетопырей.

Он задержал вдох и вдруг отметил про себя, что писклявый дуэт замолк. Успокоительная догадка замаячила в его одурманенном уме. Он понял, что слышит воображением преобразованное в примитивную мелодию собственное дыхание. Легкие, из которых извлечен был когда-то осколок мины, вдохами ритмично раздвигали ребра, бронхи наполнились мокротой в спертом воздухе подземелья, и жидкость звучно пузырилась у него в груди. Это пела его эмфизема, писк рождался на выдохе, а звучание продолжалось в помраченном его сознании.

Освободившись от галлюцинаций, он сосчитал до трех, вскинулся и вломился в щель, которую не мог преодолеть, пока пребывал в состоянии паники. Новое помещение встретило его кошмарной картиной. Он увидел залежи фекалий, которые не потеряли своей отвратительной формы, и утратили способность двигаться. Неужели, пробыв на фронте, за исключением госпиталей, всю войну, он уцелел, чтобы сдохнуть здесь, в темном мешке, набитом столетним дерьмом, где и тела его никогда не найдут! «Что-то все это значит, это неспроста, если в такой час, может быть, последний... Неужели так я гадок?» — подумал он, хоть и не время было философствовать.

— Господи! — произнес он про себя. И это слово, пришедшее то ли из материнских давних причитаний, то ли из полупамяти наркотного забытья, когда в медсанбате кто-то, пытаясь поудобнее уложить его голову, тихо шептал над ним, — это слово заставило его внутренне собраться.

Ему пришлось двигаться пластаясь, ползти задом наперед. Громко дыша и чувствуя во рту вкус жженой кости, он внезапно провалился в темноте вниз, больно ударившись и на мгновение потеряв опору под ногами. Наполняясь неожиданно для самого себя животной силой, он стал инстинктивно раскачиваться, будто в припадке клаустрофобии. Вдруг ярко вспомнился тот случай на фронте, когда в танке у них неожиданно заклинило люк, и они долго не могли выбраться, а механик-водитель Лалазаров орал и дергался в конвульсиях... Обвалив целую лавину земли и камней, он выкатился в помещение, где можно было свободно сесть, и, с трудом выплюнув глиняную взвесь, забивающую ему глотку, наконец отдышался.

Луч электрического фонарика выбирал из темноты неровности каменного пола, черепки глиняной посуды, разбитый светильник. На белой штукатурке объявились фигуры с ветками в руках. Нарисованный карниз был украшен изображениями чернокрылых птиц. Склеп с ласточками! Теперь он знал, где находится.

Отыскав это помещение на плане, он ногтем прочертил путь к южному выходу из катакомб. Склепы располагались галереями. Он понял, что попал в нижний ярус некрополя, и через минуту уже пробирался, сутулясь, в соседнее подземелье, откуда тянуло селитренным сладковатым духом. Тут усыпальницы были гораздо поместительней, и, включив фонарь, он заметил немало предметов погребального инвентаря, однако саркофаги, которые он ожидал увидеть, отсутствовали, а неразграбленных гробниц не было ни одной. Все, что он встречал в своем путешествии: керамические короба погребальных урн, сброшенные на пол красноглиняные сосуды и рыбное блюдо, — осматривал бегло и ничего не брал, потому что вынуть отсюда что-нибудь можно было только

в ходе научных исследований, после фотофиксации, и даже сдвинуть вещь с места не допускалось.

Под землей он переместился на восточную сторону холма, по очереди отмечая на чертеже соединенные коридором склепы, хорошо известные ему из научных публикаций. Каменные стенки здесь были прочны, не то что глина. Известняк покрывала клейкая слизь, и хотя своды были не так низки, как в грунтовом некрополе, откуда он начал свой поход, он порою касался теменем ноздреватого холодного ракушечника.

Коридоры разветвлялись. Он взял за правило сворачивать в самый правый. В фонаре уже садились батарейки, и надо было экономить свет.

Катакомбы, по которым он сейчас шел, были созданы вместе природой и человеком. Вода, размывая глинистые слои кальцитных отложений, за тысячелетия проложила ровные пути в скале. Рабы, некогда добывавшие породу штольневим методом, выбрали тот камень, который поддавался обработке примитивными их орудиями, но самый прочный известняк, желтоватый, с крупными желваками окремнения, оставался нетронутым. И сейчас природные полости, штольни горных выработок и тайные ходы грабителей, которые вынесли из погребений все золото и почти всю утварь, были соединены в причудливую сеть переходов, в целом неизвестную никому. В эту систему встроились и средневековые коммуникации, предназначенные для водосбора, с колодцем-отстойником внизу, когда-то хранившим запас воды, а теперь служащие канализационными желобами, по которым текли городские нечистоты.

План же девятнадцатого века, план, который он скалькировал с чертежа, отысканного в музее, оказался не совсем точен.

Он тащился теперь по туннелю, где не было никаких материальных остатков, а пол имел уклон, и можно было двигаться довольно быстро. В одном месте вдруг засветились отверстия в стене по левую руку, круглые, с твердыми краями дырочки в камне. Он понял, что наступило утро и что

он переместился к югу, где катакомбы тянутся параллельно береговому обрыву, совсем близко к морю, и одна из стенок коридора выходит из-под земли.

Он смог подняться в полный рост, осторожно распрямившись и прикрывая ладонью голову, потому что до этого не раз бился маковкой о выступы скальной породы. Увидел, что попал в довольно высокую камеру со светлыми пилястрами и покатым сводом, слабо освещаемым лучами разгоравшегося дня, которые проникали сюда сквозь щель, пробитую в стене. Разглядел роспись на потолке: женщина среди цветущих маков и колосьев, изображение богини, едва различимое под слоем белых наростов. Заметив висящие на стене роскошные, синие с золотом, венки, он инстинктивно протянул руку потрогать цветочный бутон, однако пальцы скользнули по лощеной плоской поверхности, потому что и цветы, и акантовые листья, и золотые бусины, и даже выступ, на котором висел венок, были не настоящие, а написаны на штукатурке.

Поле трех смежных стен заполняли изображения. На центральной фреске, самой большой, — хоровод девушек в складчатых платьях: желтое, фиолетовое, оранжевое, красное — они являли разные оттенки охры. Насчитал их девять, — танцующих девиц, с вытянутыми вперед и переkreщивающимися руками. Ноги танцовщиц как бы парили в воздухе.

Он пошарил световым пистолетиком, вплотную приблизившись к стене. Возле изображений были надписи, и он прочел несколько имен, уразумев, что это не музы. Короткие гиматии покрывали плечи плясуний. Винно-красный наряд дополняла белая накидка, коричневый — палевая, на девушке в шафранно-желтом пеплосе был лиловый плащ. Смуглые физиономии, довольно четко вырисовываясь на стене под вуалью плесени, повернуты боком и глядят все в одну сторону. У одной девицы — вся в белом — не в пример совершенным прическам остальных, пучок волос распался и болтается легкомысленный хвост на затылке. Среди типичных греческих лиц, в которых нос, если смотреть в профиль, переходит в прямую линию лба, эта — довольно курносая

особа, с очень развитой нижней губой. В отличие от подруг, меланхолически уставивших взгляд в пространство, у нее, малорослой, — миндалевидный, как будто удивленный глаз, чуть ли не в треть лица, и какой-то по-особому оживленный, игривый вид. Тип не эллинский, а скорее крито-микенский. Почему-то, однако, это личико казалось ему знакомым.

Еще целый час, присвечивая себе фонарем, пока не кончились батарейки, он рассматривал одну за другой граффити на соседних стенах, пытаясь запомнить то, что удавалось разглядеть в скудном свете.

Выбравшись, наконец, из каменной дыры на поверхность холма в нескольких километрах от того места, где вошел в подземный лабиринт, жадно вбирая в себя воздух, сидел он на берегу, над морем, и все гадал, кто же эти красавицы, совершенно забыв о первоначальной цели своего путешествия. После выхода из некрополя обоняние его обострилось и он восторженно чувствовал ноздрями каждое дуновение ветра, приносящего то запах дегтя и гниющих водорослей, то серный дух от сгорающего в кухонных плитах угля, то одуряющий аромат полыни. Где он видел ту, со вздернутым носом? Крупные завитки волос и прядь, свисающая на лоб... И понял вдруг, кого она ему напоминает!

И он осознал: от того, что он скрывает в себе, невозможно уйти! Именно это гнало его под землю, туда, где страшно и опасно. Впору было вернуться назад, опять спуститься в расписную холодную пещеру и смотреть на девочку с растрепавшимися волосами, — не таясь, открыто и называя ее несчетно раз по имени. От этого образа нельзя было спрятаться и в самом Аиде!

Аля или Алька, как чаще всего звали ее все, жена Стаса Оспового, главы московской экспедиции, была длинноногая, с темно-русскими волосами, большеглазая и краснотубая и, когда надевала самодельный свой оранжевый балахон, казалась высокой. В то же время в присутствии мужа, несмотря на то, что он был совсем невысок, она делалась какой-то маленькой, и ее вздернутый нос и верхняя губа — тоже какая-то вздернутая — выглядели совсем по-детски. И казалось, что эта девчонка, хоть и закончившая институт, дипломированный архитектор, не может работать и даже существовать без своего Стаса.

Со школьных лет таскавшаяся по экспедициям, Алька давно уяснила себе все правила экспедиционного житья: и очередность дежурства на кухне, и ритуал раздачи еды, и иерархию отношений, и то, что раскопщики рабски зависят от начальника экспедиции. Она не один год пребывала в этих летних коллективах забавным, в белой мальчишеской кепке, безгрудым существом, балованным ребенком, которого все считали нужным по-доброму задирать. Но однажды в предпоследний день августа, когда, как водится, выволокли в отвал всякую мелочь после просеивания грунта через сито и тогдашний руководитель экспедиции Велецкий, проходя мимо нее, вдруг спросил: «Ты что, девчонка, что ли? Тыфу!» — Алька поняла, что слишком долго задержалась в отрочестве и что пора взростеть.

Институтские времена промелькнули словно во сне, как и все события, связанные со Стасом. В прошлогоднюю крымскую свою экспедицию была она им замечена и как-то автоматически превратилась сначала в невесту, а потом в жену этого подающего надежды молодого ученого, который, в свою очередь, быстро сделался секретарем партийной организации пединститута. После бракосочетания молодая являла пример покладистости и трудолюбия. Прямо с начала медового месяца в семье царил безоговорочный патриархат, на который Алька без обсуждения согласилась. Правда, фамилию оставила де-

вичью, и так как новые родственники были этим недовольны, объясняла, что такая у них семейная традиция, ведь и мама ее, когда вышла замуж, оставила свою прежнюю фамилию.

Они составляли очень заметную пару. Некоторые замашки Оспового, правда, вызывали у Альки недоумение, но она не роптала и как будто спала на ходу, подчиняясь распоряжениям своего властелина. Иногда не без досады, потому что нарушалось ее апатичное спокойствие, а мужнины приставанья отвлекали от обычной ленивой сосредоточенности на мировых проблемах. Нередко в момент близости с мужем она занята была отдельным раздумьем и он пытался взорвать ее бесчувственность, делая такие движения, которые, как он считал, должны женщину разжечь, но Альке от этого становилось стыдно, и замыкалось ее и так всегда безвлажное лоно.

Осповой, еще со студенческих дней заслуживший прозвище «корифей», что по-гречески означает «предводитель хора», по-видимому, мог бы командовать чем угодно. А сейчас, когда ему было вверено несколько десятков полуголых людей, диктовал не только то, как надо разметить раскоп и где рыть траншеи (он поправлял: «Роет свинья, а археолог копает»), но и то, что варить на обед, и какую песню запевать первую на вечерней попойке.

Вместе с тем, что касалось Альки, то он, несмотря на свое величие, был очень ревнив. Сразу же после свадьбы ограничил Алькины хождения к подругам и не выносил, если она говорила с кем-нибудь по телефону слишком задушевым голосом. Как-то, в зоопарке, когда она остановилась возле загона с табличкой «Антилопа-байза» и всунула бублик за ограду, а животное подошло совсем близко, Стас схватил Альку, пытавшуюся антилопу погладить, за руку и с негодованием заговорил, что она самка, и полна соблазна — даже скоты возбуждаются — и нечего тут мяукать каждому козлу. И, ворча, повез домой, хотя они обошли только часть территории зверинца.

Стасу льстило, что у него такая молодая, такая красивая жена, видная, здоровая баба. Даже то, что она выше него ростом, нравилось Осповому и прибавляло ему гордости. И когда в кино, оказавшись в одном из первых рядов, Алька

пригибала голову, чтобы не закрывать экрана сидящим сзади, он ее одергивал: «Не гнись! Пусть растут!». Алька никак не могла привыкнуть к показной грубости мужа. Когда он вопрошал полушутливо: «И чего я на тебя польстился?» — ей это слышать было обидно. На самом деле он любил ее, насколько вообще мог любить кого-то такой человек.

Поселившись сразу после свадьбы в семье Стаса, Алька поначалу с недоумением наблюдала жизнь этой ячейки общества, члены которой почти никогда не разговаривали друг с другом. Вернее, говорил один Осповой-старший, женщины поддакивали, и даже Стас мог вставить словечко далеко не всегда. Отец Стаса когда-то занимал немалый пост, от тех времен осталась у него льгота — казенный обед из распределителя. Но обед этот был не просто обед, а какой-то обедаще. И когда свекровь привозила на машине эти судки и пакеты, еды хватало, и не на один день, на всю семью, на пять человек, включая бабушку, которая, в свою очередь, тоже имела персональную пенсию.

Здесь никогда не критиковали того, что делается у нас, лишь иногда Осповой-отец кряканьем реагировал на то, что показывали по телевизору, тогда как в родном семейном гнезде Алька не раз слышала, как отец ее иронизирует над тем, что говорят в программе «Время». Мать же Алькина, как правило, каждый раз сопровождала едкими остротами показ встреч на высшем уровне, негодуя по поводу троекратных поцелуев нашего главы государства со всеми подряд. А его ужасную дикцию, сама будучи стоматологом, относила на счет тех, по благу устроившихся в «Кремлевку» врачей, которые так халтурно сделали генсеку съемную челюсть.

И отец Стаса, и сам Стас проявляли во всех случаях жизни большевистскую принципиальность. И на службе этим Стас отличался тоже, всегда был правильный. Несмотря на то, что в семье мужа Альку считали несколько недоразвитой («Ты молчи, молода еще!» — осекал ее свекр, когда она начинала умничать), она понимала, что все кругом — и на работе, и в экспедиции, и везде — ни в какой коммунизм не верят. Однако всюду точно некий уговор действует: говорить про

все так, как надо, а уж что ты думаешь на самом деле, держи при себе. Так вот, семья Осповых была искренне привержена этому самому коммунизму. И сам Стас, точно уж не дурак, истфак МГУ окончил, а теперь, можно сказать, второе лицо на кафедре древней истории, высказался как-то, разъясняя Альке правила жизни, что если бы все были честными, то и коммунизм возможен. И, надо сказать, равнодушная к идеологии, Алька даже гордилась тем, что Стас — идейный по-настоящему и по-настоящему предан отцу, предан партии.

В то же время ей было нелегко и тоскливо даже после того, как они перебрались на житье в отдельную квартиру, которую Стас попытался на свой лад благоустроить. Во всяком случае там стояли рядом два кресла, каждое с автономным освещением и предполагалось, что супруги будут сидеть рядышком, каждый на своем месте, и читать каждый свою книжку под своей лампочкой. Только до сих пор этого ни разу не произошло, потому что Алька, усевшись в кресло, сразу засыпала, так скучно ей здесь было.

Ночью, валяясь с размаху к ней в постель и привычным хозяйским движением разводя ей колени, Стас ничего не произносил, кроме слова «Давай!», как будто ему обязательно нужно было взять ее силой. Алька старалась спрятать голову под одеяло от его поцелуев, потому что Стас целовал ее открытым ртом, и когда только приближалось к ее лицу это, казавшееся черным в полутьме комнаты, ротовое отверстие, она, точно зверек, пугалась, что он ее съест.

Прибыв с мужем в Крым, Алька сразу включилась в дела экспедиции, и стала Осповому настоящей помощницей, хотя он даже командировку как рядовому сотруднику ей не оформил, не желая, чтобы его упрекали в семейственности.

Алька по большей части пребывала в состоянии романтической меланхолии, Осповой же был природным оптимистом, оптимистом настолько, что уверял даже, будто типовая надпись «ΧΑΙΡΕ»* на античных надгробных стелах переводится «Радуйся!», а не «Привет!» или «Прощай!», как значится в книгах по боспорской палеографии.

* Произносится «хайрэ!»

Юрий Петрович Годовалов, ассистент кафедры древней истории Московского пединститута, высокий, невеселый человек, был, как правило, молчалив и весь в себе, в отличие от остальных своих коллег, общительных и жизнерадостных. Он руководил летней студенческой практикой, на которую вывезли в Крым три десятка студентов, будущих учителей истории.

Долгое время Годовалов как будто и не выделял Альку из круга девочек-первокурсниц, щебетавших весь день возле него, когда, балдея от желтого солнечного света, ножами и щетками расчищали они стенки археологического разреза, и мели вениками участок перед тем, как фотографировать очередной пласт. Но в один из дней, когда Альке досталось зачищать вырубленную в скале могильную яму, мужское захоронение, что-то произошло. Алька выбирала сухой грунт между костями крошечным совком и вскрикнула, потому что, выгребая прах, нажала посильней, а, услышав треск, испугалась, что объект теперь испорчен. Юрий Петрович спокойно подошел и, заключив ее руку, держащую инструмент, в свою, показал, как должны вместе двигаться совок и мягкая кисть, чтобы очистить костяк, не нарушив его целостности. И монотонно разъяснял, что мы видим характерный обряд трупоположения, что тут в погребениях покойный всегда ориентирован головой на восток, и если бы скелет оказался со крещеными ногами, то, значит, это не греческое захоронение. Среди останков древнего человека лежала монетка, и Альке на минуту вдруг сделалось страшно: ожил тот, выученный в школе, миф о лодочнике Хароне, который перевозит умерших через подземную реку и которому надо платить. Она обратила лицо к Годовалову, и вдруг наступила такая секунда, такая странная остановка взгляда, когда оба они больше не видели ничего вокруг, а просто не отрываясь смотрели друг на друга...

На работе Годовалов был всегда в белом — белая рубашка, белые брюки, и белое кепи, ярлычок с латинскими буквами

вылезал из-под ободка на затылок. Его за глаза называли «Юлий Цезарь», уважительно переименовав имя. Альку удивляло, что при седых волосах, львиной гривой осенявших крупную голову, у него были черные брови, отделяющие энергичными штрихами широкий лоб от остальной части лица, и черная же щетина над губой.

При кажущейся невозможности иногда он позволял себе выступления, которые очень раздражали Оспового. Когда в экспедиции стали предаваться мистическим экспериментам, и приезжий историк ходил по городищу с металлическими палочками в руках, а там, где они скрещивались, пророчил нахождение кладов, Годовалов просто смеялся. Неофиты-раскопщики вслед псевдонаучным посулам бросались немедленно раскидывать землю, готовые вкопаться в нее чуть ли не на километр, а он противился всему этому и требовал соблюдать план раскопок. Осповой же, несмотря на весь свой материализм, жадно вслушивался в прогнозы о золоте, и важно вещал: «Наука не все еще знает. Человеческие возможности безграничны», — и ночью порой посылал-таки особо приближенных с лопатами на указанные экстрасенсом места делать разведочные шурфы. Из споров о «прутиках» тем, кто хотел его слушать, Годовалов объяснял:

— Этим способом можно найти прежде всего воду. В передовых отрядах Александра Македонского шли прутоносцы, искатели воды. Они держали в руках раздвоенные ивовые ветки. Когда такой разведчик проходит по местности, где текут подземные реки, ветка непроизвольно дергается. Правда, она двигается, когда пересекаешь поток, а если идти вдоль течения, то прут не реагирует.

Алька представляла себе этих юношей: полузакрытые глаза, гнутые прутья в сильных ладонях, а мечи их несут сзади рабы...

Годовалову была оформлена командировка на тридцать дней, а жил он в гостинице. На раскоп являлся ровно в шесть, иногда завтракал со всеми перловкой, но чаще сидел в стороне от стола и курил, пряча горящую сигарету, чтобы

не гасла, в рукав ветровки. Он был немногословен, во время празднеств безмолвно присутствовал и подпевал иногда, но те залихватские, с налетом уголовщины песни, которые под гитару горланила обычно мужская половина экспедиции, не пел и как-то на их бахвальную веселость не откликался. И всегда исчезал в самый разгар питья и смеха, тогда как юнцы долго еще орали и бесились, расходясь запоздно по палаткам, чтобы поспать два-три часа перед подъемом.

Блатные песни, которые так любили студенты, не вызывали у Годовалова романтических чувств, какими окрашивалась тюремная тема у непуганой молодежи. «Солнце всхо-о-одит и захо-о-одит, а в тюрьме-э-э моей темно», — бодро, радостно орали молодые. Слова эти возвращали его в то время, которое он пытался навсегда забыть, о чем никому никогда не рассказывал.

...В переполненных камерах были страшная вонь и духота. Перед этапом из тюрьмы в лагерь, он радовался, что станет доступным свежий воздух. Их вывели во двор и обыскали, отобрали напильники, стальные обрезки, самодельные ножи. Тут же, несмотря на мороз (в декабре было), под открытым небом велели переодеться. Выданное обмундирование: ватные брюки, телогрейки, шапки, — все рваное, не по росту, не по размеру. Впрочем, и потом редко он мог купить себе одежду впору: то широка и болтается на нем, то руки торчат из слишком коротких рукавов...

Конвоиры, тыча пальцами ээкам в спины, долго их пересчитывали. Вплотную уселись те на корточках в высокобортные кузова грузовиков, по углам встали вооруженные охранники. Пока ехали, все молчали. Он косил глазами по сторонам, но видел только затылки своих товарищей по несчастью.

Загнали в холодные, без окон товарные вагоны с нарами в два яруса. Печка, охалка дров рядом, куча угля на полу. Печку сразу же обступили уголовники, не пробиться к теплу. Перед тем, как задвинуть двери вагона, бросили им на пол хлеб, нарезанный на пайки, и по две соленых рыбины на каждого.

Состав двинулся, сначала словно с трудом, а потом набрал скорость, разогнался во всю. Арестантов кидало друг на друга от толчков, а врывающийся внутрь вагона ветер пробирал до костей. Легли на нары, прижимаясь друг к другу. Страшно хотелось пить. Он срывал с потолка сосульки и слизывал со стены белые иглы инея. С верхних нар сквозь щель видны были бегущие навстречу телеграфные столбы с попарно сидящими на перекладинах, белыми, как молодые зубы, фаянсовыми роликами да изредка — километровый указатель.

Уголовники затянули песню: «Гоп-стоп, Зоя! Кому давала стоя...» Конвоиры, тоже трясущиеся от холода на продуваемых тормозных площадках, не реагировали, а в вагоне началась подготовка к побегу. Прямо на полу разложили костер, а когда доски обуглились, блатные, приказав и остальным «Пой, падло!», с помощью полена и утаенной от обыска железяки насквозь пробили обожженный пол.

— «Товарищ, товарищ, болят мои раны», — пели эки. Пели долго, пели до хрипоты, а отверстие дорабатывалось и расширялось. Образовалась дыра, достаточная для того, чтобы пролезть человеку.

Было известно, на каком участке пути железнодорожная линия имеет затяжные подъемы. Спаренные паровозы, одолевая гору, кряхтели, и состав тащился совсем медленно.

Опустили в отверстие, в колею конец доски, а другой конец привязали к нарам. Один из блатных, спустив в подполье ноги, навалился животом на наклонную доску и пополз вниз. За ним по очереди, рискуя погибнуть под колесами, последовали и другие. «Давай за мной!» — сказал тогда ему последний из тех, кто решил бежать, но поезд уже пошел под горку, слышались удары буферов, и Годовалов остался, не было в нем достаточной смелости.

Когда на очередной станции при осмотре вагонов конвоиры увидели, что пол пробит, началась беготня и весь этап, высадили на междупутье. В окружении охраны и овчарок устроили переключку, вызывая людей по фамилиям и сличая каждого из заключенных с фотографией в деле. Не досчи-

тались нескольких человек, это грозило охране большими неприятностями. Потом на остановках днем и ночью охранники простукивали молотками стены и пол каждого вагона, и даже потолок осматривали, нет ли пробитых мест.

При въезде в город, у дороги, где когда-то, в девятнадцатом веке, стояли каменные грифоны, высился чугунный монумент, изображавший трех шагающих в обнимку мужчин. О роде занятий каждого можно было судить по наряду: в центре — шахтер в каске, по бокам — сталевар в длинном фартуке и рыбак в стоящей колом робе, на голове зюйд-вестка. Фигуры должны были знаменовать собой основные местные профессии, но в народе памятник получил прозвание «Три бандита». Так же называли и магазинчик в подвале, где царствовала Францевна, знавшая почти каждого покупателя в лицо и по капризу то принимавшая, то не принимавшая на обмен пустую винную посуду.

С утра, задолго до одиннадцати часов, когда разрешалось уже продавать спиртное, устремлялись сюда морячки, по немощи или за пьянство списанные на берег. Так как у этих, давно уже съевших зубы «морских волков», как правило, не было денег, они часами стояли у входа в магазин с надеждой, что кто-нибудь поставит им «со встречей» шкалик, а то и razorится на чекушку. А потом околачивались в порту, ожидая прихода судов, чтобы присоединиться к прибывшим из плаванья, когда те пропивают в кабаках свое жалованье.

По вечерам сюда, к магазину, стекалось чуть ли не все мужское население города обмениваться новостями и обговорить дела. Францевна знала все городские новости, знала, кто женится, кто разводится, кто с кем гуляет, с какими деньгами сошел на берег прибывший из загранки экипаж. Она знала и то, что представление о немислимых заработках моряков неверно, что люди, месяцами болтающиеся в открытом море, даже когда их судно встанет в иностранном порту, экономят на еде, харчась одними концентратами, ради того, чтобы привезти домой колониальное пестрое тряпье и какие-нибудь безделушки. Францевна была патриоткой и понимала, например, что индийский ширпотреб не в пример хуже наших добротных вещей. Правда, джинсы и магнитофоны уважала.

Торговую точку Францевны не оставляли вниманием ни рыбаки, ни заводские рабочие. Здесь договаривались и о сбыте левой продукции, ведь несмотря на то, что четверть города числилось работниками рыболовецких предприятий, а каждую минуту к набережной подваливали катера и байды, наполненные рыбой, купить живую рыбу было проблемой. Все сдавалось государству и шло на консервный завод, на переработку. Продавалась океаническая, издалека привезенная и месяцами промораживаемая треска да «копчушка» местного завода, эта год от года уменьшающаяся в размерах рыбка.

Мужики, которые отоваривались у Францевны, в основном трудились на металлургическом комбинате. Возле него на берегу залива были прорыты многочисленные канавы и стояли темные озера технологических отстойников с кислой ядовитой дрянью. Вода из них постепенно испарялась, и считалось, что «химия» не попадает в море, а лужи неподвижной жидкости, отражающие голубое небо, казались совсем неопасными, но ни лягушек, ни насекомых не было в этом месте, и птицы облетали его стороной. Только жирно-зеленая трава и гигантский дудник росли между мертвыми заводами, а ветер, когда дул в сторону города, нес тухлый запах, от которого курортницы зажимали носы. Но горожане привыкли и к этому духу, и к виду захлавленной околзаводской равнины. Спокойно входили они каждый день в эти ржавые ворота, отбывая свою рабочую неделю в старых корпусах за бетонным забором, но в городе было известно, что заработки там побольше, чем на других предприятиях.

Население города было пестрым: итальянцы, к настоящему времени не сохранившие не только своей речи, но по большей части и фамилий; русские, заселившие центральные улицы еще с восемнадцатого века; украинцы, перебравшиеся в этот благословенный край после того, как Хрущев ни с того ни с сего передал Крым Украине, и потомки тех анатолийских греков, которых Россия приняла в свое время, когда они бежали от турок. Крымских татар, понятно, здесь уже не осталось, всех их вывезли в сорок четвертом. Теперь об этом, некогда многочисленном народе, напоминали только

одичавшие виноградники на склонах холмов, почему-то не ставшие колхозными. Когда строгая Францевна в субботу утром оглядывала из-за прилавка весь свой «интернационал», с мятыми рублями в руках ожидающий очереди взять бутылку, она, представляя себе, что терпит алкоголик, если нечем опохмелиться, жалела лишь о том, что в воскресенье торговать водкой запрещается.

На весь сезон Осповой снимал на горе, рядом с раскопками, большой двор с многочисленными халупами, хозяйка которого поварничала для экспедиции, зарабатывая себе за лето деньги на целый год. Приходилось ей нелегко, потому что насытить три раза в день надо было человек пятьдесят. Вокруг двора на горе были разбиты палатки археологов, а под навес, под виноградные плети ставили огромный фанерный стол и лавки из длинных досок. Обед обычно состоял из салата, борща и компота, а на ужин подавали так называемый соус — единственное за весь день мясное блюдо с картофелем и пряными приправами.

В городе мяса в свободной продаже давно уже не было. Колбаса представлялась завидным лакомством. Для местных действовала система так называемых заказов. На каждого человека в месяц полагалось по талонам два килограмма мясных продуктов. Матери семейств, отоварив талоны на всех работающих членов семьи и набив холодильник, ухитрялись растянуть «белки» до конца месяца. Холостяки же, получив пару банок консервов, уничтожали их в два присеста, дальше довольствуясь тем, что могли ухватить в столовой или сравнительно недорогом кафе «Аромат», которое при нашей тяге снижать государственной пафос прозывалось «Вонючка», что, действительно, соответствовало состоянию этого пункта общепита.

Иногда заводчанам да работникам порта подкидывали к празднику совхозную свинину, но ни учителя, ни музейные работники не имели таких привилегий, и духовные искания интеллигенции опошлялись мечтами о сосисках и курице. Людям, не имеющим городской прописки, например прибывшим в командировку, никакого мяса вообще не полагалось. Ларек «Субпродукты», который в народе почему-то

романтически именовали «Субтропики», торговал костями, куриными желудками, и даже свиные хвосты находили своих потребителей.

Экспедиционная стряпуха, чтоб насытить эту ораву молодежи, нагуливавшей аппетит на земляных работах, вынуждена была доставать еду по особым, не всегда законным каналам. А когда местные возможности иссякали, шла в ход привезенная из Москвы тушенка, которая обычно поступает в продажу, отбив свой десятилетний срок хранения на военных складах.

Для себя и Альки Осповой брал в наем комнату в украинской хате, где было прохладно в любую жару. Была у него и своя палатка на горе — оранжевая, новенькая, не в пример тем заплатаанным брезентовым шатрам, в которых спали обыкновенные раскопщики. В камералке, домике из ракушечника, держали рядовые находки, мыли черепки и сортировали найденные предметы, складывая их в прутьяные корзины.

Раскопки, прерванные войной, начались здесь где-то с конца сороковых, когда еще и добираться сюда из Москвы надо было с пересадками. Город и сейчас был закрытым для свободного въезда, и приходилось оформлять через милицию документы на каждого члена экспедиции, потому что здесь находились секретные объекты, в том числе школа водолазов, усиленно охраняемая, про которую, правда, в городе знали все.

Денег на поездку давали мало, для найма квалифицированных рабочих не хватало. Рабочую силу экспедиции составляли студенты пединститута, которым участие в раскопках засчитывалось как летняя практика; знакомые Оспового, из разных городов съезжающиеся сюда на время своих отпусков по специальному вызову, который организовывал он через горком, да молодые энтузиасты, согласные ехать куда угодно и даже за свой счет, и не получавшие за работу даже и тех двух рублей в день, которые полагались официальным членам команды. Поэтому у общего котла собиралось на трапезу гораздо больше людей, чем значилось по ведомостям, и, в общем, было голодно. Но Осповой железной вы-

держкой останавливал все проявления ропота, который порой захлестывал студентов, и всегда пресекал поползновения улучшить рацион, уверенный, что скудость пищи полезна. Вечером ставили на общий стол миску с самыми дешевыми конфетами, с «подушечками». Умело торгуя крымским солнцем и морем, глава экспедиции удваивал число рабочих рук, и славился в археологической среде как прекрасный организатор и даже финансовый гений.

Кладоискательство и торговля древностями когда-то здесь, в провинции, были привычным для горожан промыслом, кормившим целые династии, во всяком случае, до революции существовали семьи, поставлявшие коллекционерам по заказу и керамику, и украшения, и каменные изваяния. Когда археологические предметы вошли в моду в Европе, отсюда отправляли морем в столицу отмытые от глины мраморные стелы и сосуды, находившие покупателей даже и в Англии.

Было известно, что в городе существует тайное сообщество торговцев антиквариатом и грабителей могил, которые передают из рода в род информацию об еще не извлеченных из земли сокровищах. Некогда это были по преимуществу греки да потомки просвещенных российских служащих, поколения которых к настоящему времени почти пресекались из-за социальных катаклизмов. Теперь же ряды нелегальных искателей кладов пополнялись всякой шпаной, в надежде разбогатеть съехавшейся сюда, несмотря на то, что город был режимным.

Необозримая гряда курганов, окружавшая Город, скрывала многочисленные содержащие золото погребения, неохраняемые и кое-кому казавшиеся доступным источником богатства, хотя большинство горожан и не думали заниматься поисками кладов. А многие из поселившихся здесь украинцев, выведенных в Крым после того, как родные их черноземные земли ушли под воду искусственных морей, даже не подозревали, что все эти зеленые незасаваемые горки и есть приют последнего упокоения скифской знати и боспорских царей. В голову не приходило, что под муравой, выжигаемой к осени до серой желтизны, покоятся остатки античных по-

селений, некогда погибших от землетрясения или варварских нашествий.

Каждую ночь где-то копали шурфы и пробивались через каменистую почву к сокровищам небритые угрюмые мужчины. Во главе банды кладоискателей и торговцев, орудовавшей в округе, стоял местный уроженец Колян. Если появлялся кладоискатель-одиночка, его быстро засекали и, случалось, тот бывал так избит, что, отчаявшись разбогатеть на древнем золоте, бежал из города на попутках. Но чаще такого отправляли к самому Коляну, и тот диктовал условия: когда и где можно копать, и в случае находок — расчет исполу. И принимал в качестве первоначального взноса бутылку хорошего коньяка, до которого был весьма охочим.

Как только у археологов появлялись ценные находки, Коляну, как правило, это сразу становилось известно, но рядовая керамика, а тем паче битые сосуды не интересовали перекупщиков, а только золотые предметы. На горе все время кто-то дежурил от шайки — торговал значками, раковинами и открытками, фотографировал туристов, но основной задачей было не столько присматривать за конкурентами или шпионить за археологами, сколько найти настоящих покупателей, которым можно было бы за хорошую цену толкнуть антиквариат. Сбывали статуэтки Кибеллы и других домашних божеств, которыми изобиловала здесь почва, римские шары из горного хрусталя, в жару дающие рукам ощущение прохлады, светильники, аски и лекифы. И вынюхивали, искали того, кто купил бы золотые изделия и монеты, извлеченные из земли и древних могил.

Иногда горожане, найдя клад, при рытье погребка например, что-то приносили в музей, но золото — никогда. Все шло Коляну. Переплавив античные украшения в слитки металла, он сбывал его зубным врачам. Рыбаки, когда случалось им вытаскивать из моря какие-нибудь древние предметы, и водолазы, при погружениях натыкающиеся на затонувшие в прибрежной зоне суда разных времен, стремились поскорее продать свои находки и тоже прибегали к посредничеству этого человека.

По рукам ходили ученические тетрадки с прорисовками и оттисками старинных монет, выставляющихся на продажу. От археологов эти доморощенные каталоги скрывали. Те как представители государственных организаций могли настучать, куда следует. И древности конфисковали бы, да еще за такое по первому разу, как говорили, грозил немалый штраф, а в случае рецидива — тюрьма.

Алька тайком глядела и не могла наглядеться на это лицо с кротким беспорочным ртом и шрамом у левого виска. Она смотрела так, будто хотела все запомнить — и решительную походку, и манеру разминать кончик сигареты в пальцах, и привычку аккуратно отламывать понемногу от куска хлеба за обедом. Она следила за говорящими его узкими ладонями, когда он давал указания рабочим, властно жестикулируя, или за столом протягивал руку за кружкой — загорелую в тыльной части и с разветвлением вен на запястье. Казалось, что при такой худобе никак уж невозможно быть силачом, и ей импонировал какой-то юношеский, утонченный его облик, с некоторых пор невольно противопоставляемый в ее сознании образу богатыря-каратиста, каким был Осповой. Но однажды Годовалов рассердился на нерасторопность копальщиков и с возмущением, казалось бы несоразмерным причине гнева, взбежал на выступ скалы, откуда вываливали вниз снятый грунт, поднял тачку и швырнул с откоса — железную тяжеленную тачку.

На раскопе проявлялась своеобразная мода: все принципиально донашивали старье. Мальчишки были голыми до пояса, да и девочки, в прохладные утренние часы одетые кто во что горазд, к полудню сбрасывали одежду и оставались в купальниках, сверкая загорелыми бедрами. А Стас, одним движением пальца направляющий действия подвластных ему людей, фланировал в фирменной соломенной шляпе и рубаше апаш, всегда расстегнутой, так что виден был рельеф его атлетических грудных мышц. Привез он сюда и старую куртку, вытертую добела твердую кожанку, которая еще с тридцатых служила его отцу и когда-то уже побывала в этом городе, потому что Осповой-старший в свое время участвовал в операции по выселению крымских татар. И хотя из-за жары Стас куртку не надевал, она всегда висела в хате на гвозде, над кроватью, над его головой. Кстати, несмотря на расспросы Стаса, отец никогда не рассказывал о том, что происходило тогда здесь, в Крыму.

У Альки для раскопа имелась потрясающая заграничная маечка — белая, и с крошечными рукавчиками, такая короткая, что виден был живот над бриджами. На шее она носила бусы из твердых зеленых ягод маслины, которые так трудно проткнуть иглой, чтобы нанизать на нитку. Волосы ее, ставшие непослушными от мытья здешней жесткой водою, топорщились и лезли в глаза, так что передние пряди она заматывала коричневыми шнурками. Получались торчащие надо лбом упругие рожки. Никто не замечал, с каким беспокойством взглядывает иногда на Альку ассистент Годовалов, которому она теперь казалась похожей на сатиressу с аттической вазы. Кстати, до эпизода со скелетом, когда впервые руки их встретились, Алька не испытывала застенчивости в присутствии Юрия Петровича. До этого лета она как будто вообще не знала ни искушения, ни стыда. Правда, никто из мальчиков никогда к ней и не приставал, хотя, казалось бы, нравы в экспедициях не были пуританскими. И будущему мужу потому так легко удалось ее взять, что от равнодушия Алька не сопротивлялась.

К экспедиции прибилося не менее десятка бездомных собак, которым выносили после ужина косточки на лужок, за палатки. Рыжие крупные дворняги главенствовали в своре. Судя по окрасу, многие из них, вероятно, приходились друг другу родственниками, но забыли об этом и никогда не уступали друг другу добычи добровольно. Были в компании и длиннотелые бастарды, неряшливые, лохматые существа на коротких ногах, почти всегда обделенные едой и, тем не менее, благодарными глазами взирающие на тех, кто устраивал кормежку. Худющая, на тоненьких ножках собачонка с сосцами, волочащимися по траве, потому что где-то у нее были щенки, от страха никогда даже не приближалась к собачьей банде. Про нее сказал кто-то, что такую маленькую и слабую просто изнасиловали, вряд ли она могла сама проявить какую-нибудь брачную инициативу. Но и она тоже получала свою долю, когда Алька, размахнувшись, кидала в ее сторону пахучие объедки.

Пес-полукровка выделялся особой статью, ростом, черной шерстью вдоль хребта, профилем почти настоящей немец-

кой овчарки. Вместе со студентами приходил каждый день на раскоп и бегал между ними, преданно виляя хвостом и желая послужить. Особенно же отличал Альку, прозванную его Волчиком. При том, что пес казался вполне добродушным, Годовалов, как видно было, почему-то недолюбливал это жизнерадостное создание.

Обычно Волчик хватал один из деревянных кольшкков, которые используют при разметке участков, весело отбегал, а сделав круг, задорно блестя глазами, останавливался и клал деревяшку у Алькиных ног, но как только Алька наклонялась, чтобы поднять кольшек, сноровисто подхватывал его зубами и, весело увертываясь, скакал то в одну, то в другую сторону и наконец возвращал его, радостно ожидая награды. Алька тут принималась обнимать и гладить верного друга, крепко прижимая ему уши, а Стас злился и гонял назойливого дармоеда, так что обычно, лишь завидя издали хозяина экспедиции, а может быть, узнавая его по запаху, псина, недружелюбно ворча, ретировался в лопухи.

Когда Алька спускалась вечером вниз, к почтамту, звонить матери в Москву, ласковые «шарики» и матерые кабыздохи, и эта пигалица Жучка бежали всем кагалом за ней, выказывая таким образом свою преданность. Это очень трогало и радовало ее и очень раздражало Оспового, который говорил Альке, что псы таскаются за ней, как весной кобели бегут за сукой.

Алька собирала себе на отвалах коллекцию черепков. Попадались ей и гладкие белые костяшки. Она не сразу поняла, что это такое, и показала Юрию Петровичу: «Игрушки?» Тот спокойно посмотрел и сказал, что это никакие не древние изделия, а фаланги пальцев человека, а какого времени, сразу не разберешь: может, и Отечественной войны... Вообще же следов этой последней войны на горе было много — ямы, воронки, остатки блиндажей и заросшие травой, с оплывшими краями, но с кое-где еще сохранившимися прутьяными стенками траншеи. Находили и патроны, и пули: наши, уже поржавевшие за это время, а немецкие — гладенькие, блестящие, словно позолоченные, с отштампованными цифрами «1942».

На восточном участке работа застопорилась, потому что на глубине двух метров обнаружили останки нескольких человек, один возле другого тесно. Истлевшие черные бушлаты, сгнившие ботинки... Дело было в пятницу утром, и Осповой сразу же побежал доложить обо всем этом в горком, но оттуда в течение недели никто не пришел. И тогда Осповой сам распорядился перезахоронить найденные останки тут же, на горе, в отвале грунта.

Не было сказано ни слова о том, как и когда погибли эти люди, да и само погребение — без гроба и какого-либо покрывала — прошло как рядовое мероприятие, касающееся лишь землекопов.

Возвращаясь в гостиницу, Годовалов невольно думал об этих неизвестных, зарытых ими сегодня в землю. По обуви, по ботинкам, не таким, как у рядовых солдат пехоты, он понял, что это моряки, десантники, представляя себе, как все было. С судна, с катеров и барказов в штормовую ночь выбросившись в море — встречная волна, черная зыбь у берега и вода по грудь — высадились на сушу, вынося и пулеметы, и автоматы, и другое оружие, и ящики с боеприпасами, и — мокрые, зимой, когда дождь со снегом, и этот ветер северо-западный зверский — прошли через весь нижний город до горы и сверхчеловеческим рывком выбили немцев из их укреплений. И еще некоторое время удерживали высоту. Однако победа оказалась временной, и через три месяца город снова перешел в руки врага. В истории Отечественной войны о десанте сказано, что его участники вынуждены были отойти и были переправлены на Большую землю. «Как бы не так, переправлены... Знаем мы, как это бывало! — думал Годовалов. — И сколько тут полегло народу, бог весть!».

Его не оставляло чувство вины за то, что они, эти случайно обнаруженные и обезображенные тлением воины не были наконец похоронены по-людски, оставаясь в неизвестности. Погибли ли они в схватке, расстрелянные в упор, здесь, на этом подъеме, или были завалены взрывом, оставшись лежать под землей?..

Он хорошо знал, какое значение придавали древние обряду погребения. В представлениях греков о почтении мертвых было нечто, ставшее обязательным на все времена. В ходе войны противники иной раз заключали перемирие, чтобы предать земле тела своих убитых. Тягчайшим позором, по понятиям древних греков, было оставить погибшего своего соратника непохороненным. Годовалов хорошо помнил тот эпизод у Еврипида, когда после военного поражения царь Аргоса выпрашивает у победителей тела убитых соотечественников, и с ним молят о том же их матери — плачущие, с остриженными в знак траура волосами. Эта сцена на миг возникла сейчас у него в памяти, хотя он никогда не видел такого спектакля, а только читал пьесу...

Он помнил знаменитую речь Перикла на церемонии погребения воинов, павших в первый год войны Афин с Лакедемоном, похвальное слово тем, кто доблестно положил жизнь за свой город, утешение их родителям и приглашение посмертной славы, — над кипарисовыми саркофагами, к которым складывали дары. Вообще же тогда полагалось говорить о заслугах всякого усопшего и публично его оплакать. Это было очень по-человечески, хотя в те времена и нанимали специальных плакальщиков, потому что и родным, и друзьям покойного надлежало оставаться сдержанными, ведь считалось, что истинное проявление горя некрасиво, а следует всему придавать благообразную форму...

Но комбатанты его, его товарищи, погибшие в окружении, да что там, тысячи наших солдат, сложивших головы за отечество, так и лежат все эти годы непогребенными. И близким их некуда прийти на могилу... А ээки, умершие в лагере, закопанные в мерзлоту, едва забросанные землей, только деревянная щепка с номером привязана к ноге, к щиколотке... И это был какой-то новый страшный порядок, когда само послесмертие сделалось надругательством над человеком, над его жизнью.

Вместе с тем он видел, что в России отношение к смерти всегда было каким-то особенным. Из рассказов своего сибирского детства он знал о тех случаях перед революцией,

когда организованно, целыми семьями, с малыми детьми, добровольно уходили из жизни сектанты, предвидя конец света и приход Антихриста. Запоститься до смерти или закопаться целою общиной, чтобы умереть, задохнуться в земле, погибнуть телесно, но душу спасти — вот как решали тогда вопросы веры, вот какие он слышал истории...

Он знал эту мучительную живучесть русских, знал, что стремление умереть и особая выносливость, генетически заложенная силища, бывает, одновременно проявляются в человеке, и это приводит к тому, что он бессознательно, с немалыми мучениями пытается сам себя уничтожить. Знал, что здесь, в этой стране, почти каждый постоянно находится в поле действия смерти, постоянно помнит о ней, хотя сейчас эта тема является как бы запретной. На сломе времени, в начале двадцатых, в тридцать седьмом, когда тоска гибели, возможно и скорой, усугублялась еще и тем, что сплошь и рядом сажали и расстреливали без всякой вины, участились случаи самоубийства среди вроде бы вполне благополучных граждан. А многие, смолоду уверенные, что все это бессмертие души — поповские выдумки, пытались заглушить в себе страх смерти особой энергичностью поведения. Но этого напряжения жизни, этого упоения бытием они достигали только в состоянии агрессии, как бы в некотором озверении, и ощущать себя сильным и максимально живым такой человек скорее всего мог, отдавшись стихии классовой ненависти. Ненависти, доходившей порою до публичного требования казнить социально чуждых как врагов революции, врагов народа, просто за проявляемое теми словесное несогласие, просто за их происхождение! И только в шестидесятых это как-то отошло, утишилось.

Он помнил также, что на фронте, когда угроза смерти была постоянно, в массе своей они были, в общем, веселы, во всяком случае, страх проявлялся крайне редко. На передовой, где гибель людей — привычное дело, случаев бесшабашной, бессмысленной игры со смертью практически не было, хотя Годовалов и встречал там человека, который казался безрас-судно смелым, а на самом деле искал смерти, потому что по-

лучил от жены, из тыла разводное свидетельство. А так — они бессознательно знали: чтобы не погибнуть, нужно быть активным, все время действовать. Недаром, когда человек попадал на передний край, первое, что он стремился сделать (инстинктивно!) — окопаться, вжаться поглубже в землю, спрятаться от пуль, от огня. Для этого никакого приказа и не нужно было. Это уж потом окопы соединяли в одну общую линию, если был приказ. Страшно подумать, сколько они перекопали и переместили земли, какой это был труд!

Годовалов помнил, как стояли они с противником друг против друга, ведя беспокоящий огонь. Ни те, ни другие не наступают, нет танковых частей, ни корпуса, ни бригады. Была зима, и у него, несмотря на сибирскую закалку, как и у многих тогда, началась эта окопная болезнь, фурункулез. Сидели они в траншее, совсем рядом с немцами, грелись у костра, а над немецкими окопами тоже поднимались дымки. Нюхом помнил он и до сих пор тот дым, ту дымку, что стелется зимой над передним краем, как помнил и то возбуждение, которое характерно было там для всех при обыденности выражений «ранило», «убило», «оторвало голову».

Когда, отвалявшись в госпиталях и окончив затем курсы, Годовалов оказался потом в пехоте и уже пехом до Берлина дошел, получилось, что он войну видел всю и в разных родах войск. С одной стороны, каждый человек на передовой дорог, никого не отсылают. Руки-ноги целы — «годен!». С другой стороны, людская жизнь у нас будто ничего и не стоит. В свое время, после того как вырвался из окружения, Годовалов сумел благополучно пройти спецпроверку, но обычным делом считалось, когда военный следователь, допрашивая бежавших из немецкого плена, кричал: «Почему сдался, а не застрелился?» — никого и не удивляла такая постановка вопроса. Некая обязанность умереть, именно умереть за Родину — вот во что преображалась эта национальная странность, эта открытость гибели, этот интерес к смерти, побеждающий порою даже естественный страх перед ней.

В этот особенно знойный день все еле-еле дотянули до перерыва.

— Мне нужен человек, кое-что надо обмерить, — сказал Годовалов.

— Иди, — отдал распоряжение Осповой Альке, одним взглядом подняв ее, сидящую под брезентовым навесом в группе девушек, которым было лень даже спуститься к морю.

Внизу было гораздо прохладней, и морской ветерок высушил капли испарины на Алькином личике. Идя вдоль берега, они вышли на плато, где под слоем засыпи сохранились остатки церкви-базилики.

— Четвертый век, — сказал Годовалов, разгребая песок и открывая мозаику древнего пола — витой орнамент и пальметты, выложенные из черных камешков. — Это мой объект, раскопан после войны. Между прочим, тут история целая... Императором Константином прислан был сюда из Византии священник, чтобы местных жителей обратить в христианство, а они потребовали чудес. Говорят: «Войди в горящую печь, тогда поверим в твоего бога». Святитель предложил: если выполнит их требование и останется невредим, они должны креститься. Те согласились. Он помолился и вошел. Громадные такие были печи для обжига известняка... Довольно долго пробыл там, а потом вышел с горящими углями в руках.

— Святым не больно, — со смешком произнесла Алька, иронизируя наперекор торжественному тону рассказчика.

Он внимательно поглядел на нее и сказал серьезно:

— Очень больно. Говорят, Бог не уменьшает страдания людей, им отмеченных, а только страдает вместе с ними. Так вот, язычники крестились, а на месте печи, по преданию, воздвигли храм. Когда я вел раскопки, найдена была не только эта каменная церковь, но и остатки круглого сооружения под ней, та самая печь.

— Могло быть что-то другое, круглой планировки, — проворчала Алька.

— Точно — печь, на глине кладут как раз печи. А церковь выше, над ней. Понятно, что в отчете о раскопках я не упоминал о легенде.

Они с Алькой довольно долго мерили длину и ширину простенков, сейчас едва видных. Показывая, как совмещен план церкви с окружностью мифической печи, Годовалов острием палки вывел на поверхности земли очертания базилики. Солнце безжалостно жгло, и видно стало, что у него побагровела кожа в расстегнутом вороте рубашки. И Альке, вспомнившей вдруг, как в детстве, когда она обожгла руку, бабушка целовала и громко дула на больное место, страшно захотелось прикоснуться ртом к этой его незащитной шее, к этому горячему треугольнику над ключицами.

Нужно было возвращаться. Молча взошли они на гору.

Алька смотрела на город и видела далеко вокруг: скопище пятиэтажек на западе, малорослые домишки, сгрудившиеся у куба кинотеатра, купола двух-трех церквей, черный силуэт завода и стрелки подъемных кранов в порту. И до горизонта — синева моря, величие которого как будто придавало смысл всему существующему возле него.

И словно продолжая тот, начавшийся час назад разговор, она спросила:

— А вы, что, в бога верите?

— Не знаю, как тебе объяснить, — отвечал он. — Но я тебе вот что скажу. Когда я был на том свете... — ты понимаешь, что это значит? — заглянул он ей в лицо.

Она кивнула, хотя и не поняла до конца, что он имеет в виду.

— Я уже загибался, уже опух. Давно уже не вырабатывал нормы и от голода все больше слабел. У меня, как казалось мне, была температура, и я пошел в санчасть, к фельдшерам, которым раньше писал жалобы на их неправильное осуждение. Я шел между бараками, такие там были «переулки», укорачивающие переходы... Лагерь в тайге, деревья срубили подряд, а пней не корчевали. Я шел и увидел вдруг, что на пеньке лежит полбуханки хлеба. Этого быть не могло, это было чудо, и это меня спасло. Но это необязательно всем

знать, — спохватился он вдруг, так до конца и не ответив на ее вопрос. — Это было еще до смерти нашего вождя и учителя. А потом лагеря уже стали соревноваться между собой за снижение смертности, то есть жить не давали, но и умирать тоже не давали...

Двигаясь по зеленой возвышенности, они миновали улицы девятнадцатого века, перевалили через гребень горы и оказались на скалистом ее отроге, где почти не было растительности. Спускаться стало трудно, и когда сходили на каменистую площадку, Юрий Петрович подал Альке руку, и сердце у нее замерло от этого жеста.

— Послушай! — сказал он внезапно и замолчал. Молчал минуту, и она тоже молчала. И углядела вдруг выросший в трещине каменной породы красный цветок «львиного зева», который, удерживаясь корнями на отвесном участке, упрямой вертикалью тянул вверх жилистый свой стебель. Как странно было увидеть при этой жаре и суши свежий яркий цветок! Но тут Алька заметила, что стоят они возле источника, слабого, еле пробивающегося сквозь камень, и услышала, как, чуть звеня, падают капли. Время от времени вытекала серебристая слеза, и за многие годы в месте ее падения было выбито углубление. Среди глинистых мергелей, солнцем пересушенных до белесости, здесь росла щетинка коричневатого-зеленого мха.

— Этому ключу, по крайней мере, две тысячи лет. Еще не было нашего летоисчисления, а здесь так же капала вода.

Он негромко, запинаясь, прочел строфу довольно невыразительных стихов, пояснив, что это из Еврипида: «Ненасытна жестокая сладость рыдания...». Ладонью зачерпнул из мелкой лужицы, из ложбинки с покатыми краями, и дал ей напиться с руки — холодной пресной влаги. И рассказал, что здесь, в Крыму, в древности питьевой воды хватало, даже когда по местам этим перемещались целые армии:

— Известняк может поглощать воду из атмосферы. Складывали горками щебень. Днем камень впитывает водяные пары из воздуха, а ночью влага конденсируется и стекает к подножию щебеночной пирамиды. Дистиллированная вода!

В полночь, ворочаясь на твердом тюфяке, Алька додумывала услышанное и, хотя и убеждала себя, что этот человек с его тайной для нее совершенно чужой, тем не менее, чувствовала, что беседа эта сделала их ближе друг другу. И потом, на раскопе, иногда поглядывала искоса, отыскивая на лице его приметы того, лагерного опыта, той, пережитой им особенной судьбы, и ее стало мучить опасливое недоумение: «За что?» Уверенная, что преступником он быть не мог, спрашивать, однако, не решалась.

У Альки было много работы. Август кончался, и приходилось срочно додělывать чертежи к диссертации, которой был занят Стас. Каждый день за полночь лежала Алька грудью на столе, вырисовывая планы и общие виды гипотетических древних построек.

По дальности полета каменных ядер, множество которых в разные годы находили на территории города, Осповой рассчитывал высоту древних городских стен, к настоящему времени почти полностью разрушенных. Он строил линию движения каждого снаряда, параболические траектории их полета и допекал Альку своими гипотенузами. Она чертила прямоугольные треугольники, в которых один катет был расстоянием от низа стены до места падения ядра, а потом рассчитывала по формуле, на каком уровне стояли некогда метательные машины.

— Катапульти? — спрашивала Алька.

— Нет, катапульта стреляет дротиками. Здесь для бросания камней — баллисты. Тетивы к ним — из бычьих жил. Столько скотов порезали! — снисходительно объяснял ей Стас.

И хотя приходило в голову, что упавшие ядра (величиной с крупное яблоко, а то и с футбольный мяч) в последующие века вполне могли переместиться, так как жители обычно подбирают обработанные камни, и, например, отрытая в прошлом году античная мостовая из белых булыжин за несколько дней была разнесена по домам, чтобы квасить под гнетом капусту, — Алька не смела делать замечаний.

Она вычерчивала по эскизам Оспового зубчатые куртины, площадки башен и лестницы, но на ее чертежах древние

фортификации казались какими-то игрушечными, и прежде чем обводить линии набело, вертя в пальцах рейсфедер, она робко говорила Стасу, что таких пропорций не бывает.

— Не твоего ума дело. Рисуем для дураков, — отвечал он ей на это.

Посмотрев одну из сделанных ею в туши реконструкций, Годовалов раскритиковал все в пух и прах:

— Этого быть не могло! У греков конструкции растут из прямоугольных элементов, у римлян — из арок, из криволинейных поверхностей. Ты везде здесь лепишь римские, а не аттические формы. И чему только учат вас там, в архитектурном!

Находок в этом сезоне было немного. Правда, в храмовом комплексе откопали алтарь, штамп для оттискивания узоров на культовых хлебах и несколько сосудов-курильниц с дырочками в стенках, но все эти предметы не интересовали Оспового. Даже то, что нашли камень с надписью «Не пачкайте святилище», было не в жилу.

Осповой как начальник экспедиции понимал, что финансирование раскопок в следующие лета зависит от достижений текущего года. Поэтому он и дал знать по местным каналам о том, что готов купить что-нибудь из древностей. На сигнал его тут же был отклик. И дня через четыре Осповому сказали, по какому адресу их ждут.

Руководство экспедиции жестоко пресекало всякое общение студентов с местными, справедливо полагая, что информация о находках будет переходить здешней полубандитской братии, от которой можно было ожидать чего угодно, даже и налета. Осповой боялся также, что какие-нибудь золотые вещи, найденные на раскопе, попадут к перекупщикам, которые (он знал это из опыта предыдущих экспедиций) умеют так обработать новичка, что в конце концов укачают его продать им золото, за которым они единственно охотятся, а то и принудят к этому силой.

На торг кроме начальника отправился Годовалов, а Осповой прихватил Альку, взяв с нее обещание не трепаться.

На самой окраине пыльного поселка стоял добротный дом со сверкающей крышей из новой жести. Войдя в калитку, они попали в обширный затененный сад, где абрикосовое дерево простирало ветви над развалом покоящихся на рогожах спелых овощей. Множество лука и чеснока, неправдоподобно крупные помидоры и баклажаны лежали в тазах и двадцатилитровых ведрах.

Ехавшие долго, на автобусах с пересадкой, московские гости несли с собой бутылку водки и после взаимных приветствий и дежурных фраз, которые, тем не менее, служили как бы паролем, приглашены были в дом.

Переднее, довольно захламленное помещение казалось совсем темным. У маленького окошка стоял высокий умывальник в стиле модерн из светлого металла (инкрустация цветным стеклом и фигурный кран с фарфоровым вентиляем). Но под эмалированной раковиной стояло мятое, воняющее ведро, а на старинной, с львиными головками, вешалке висело несвежее полотенце.

Комната, в которую ввел археологов хозяин, тоже поражала контрастами в обстановке. Торговец древностями, как видно, жил один. Колченогий топчан был покрыт новым красным ковром, на нем валялась замусоленная подушка и лежал огромный раскрытый фолиант с латинским шрифтом. Длинный стол без скатерти. Самодельные стеллажи по стенам сплошь уставлены книгами, в том числе старинными, с потускневшим золотом на корешках.

— Я коллекционирую словари, — рассказывал хозяин, пожилой плечистый мужик с умным взглядом. — Вот словарь Венгерова, а это Гранат. Языками интересуюсь. Это словарь Поповых на семи языках, — похвалился он, кладя на стол один за другим увесистые тома. — Хорошо, знаете, в ноябре, когда темнотища кругом, сесть и почитать. Вот, например, — сказал он, наобум открывая страницу, — «мент», у нас — «милиционер», а тут «мята перечная», а еще «ум, разум, мнение», а по-испански-португальски — «лжец». Забавно, читаешь, и время проходит быстрее.

Не обращая внимания на нетерпение гостей, он еще некоторое время разглагольствовал, а потом степенно пригласил их к столу. На одном краю его среди горсток рыболовных крючков стоял большой хрустальный штоф, а на другом, покрытом газетой, лежали горой ломти серого хлеба и располованная, томно благоухающая дыня. Посуда состояла из тарелок с надписью «Общепит» и стекляшек местного завода. Выпили по рюмке.

Поначалу хозяин — звали его Васин — разочаровал приехавших, показав штук двадцать рыболовных грузил, рядовой материал, который в достаточном количестве присутствует во всех здешних раскопках. Но когда Годовалов обратил внима-

ние на изделие с оттиснутой на передней грани буквой «лямбда», Васин гордо сказал, что это коллекция и ничего не продается. Как видно, хотел представиться не просто торговцем, а и любителем старины, человеком с научными вкусами.

Прощупывая друг друга, собеседники вели неспешный разговор о том, какие находки тут были до войны и как изменился нынешний рынок древностей. То, что раньше можно было запросто купить, теперь уже редкость, а в войну, во время оккупации, много всего ушло немцам. Они ведь и раскопки вели, и конфисковали вещи. Сразу, как захватили Крым, вызвали специалистов из Германии для археологических исследований. Правда, уничтожили тоже много всего. В знаменитом склепе Персея устроили дзот, фрески были попорчены, стреляли в них, развлекались. Взорвали здание музея и выпотрошили сокровищницу.

— А сейчас это дело опасное, кругом шпана, и лучше ничего такого дома не держать, — говорил хозяин о своем занятии. — Как только у меня появляется ценная вещь, я стараюсь поскорей ее продать, чтобы спать спокойно.

Но он лукавил, известно было, что дом его набит древностями, а самое ценное, как считали, хранилось где-то у родственницы в селе.

Тут произошло действие, как на пиру в «Сатириконе», когда сначала для розыгрыша принесли какие-то убогие кушанья на подносе, а потом сняли его, и там оказались совсем другие блюда: свиное вымя, и жареный заяц в виде Пегаса, и кабан с корзиночками фиников в зубах, и даже, кажется, соловьиные языки. Так и хозяин, по мере опустошения бутылки все более и более проникаясь уважением к себе самому и собеседникам, начал доставать из углов коробки и укладки, показывая то, что у него есть.

Сначала извлек из-под груды старой одежды один за другим античные глиняные сосуды, по большей части амфоры. Они отличались и по виду, и по размеру — привозные и местные, гладкие и реберчатые. Альку удивило, что все амфоры были целыми, не то что склеенная из черепков керамика в экспозиции музея. Только у одного сосуда был отбит краешек, у самого малого, который Годовалов определил как лекиф из Танаиса,

сказав, что в нем обычно несут масло для заупокойной жертвы. Называя амфоры по местам изготовления и вслух датируя, он порою взглядывал вопросительно на Оспового, а тот согласительным движением век как бы подтверждал возраст каждой.

Синопская — из светлой глины, стройная, широкогорлая; хиосская пятого века до нашей эры, похожая на крутобедрую женщину — как стоит она, уперев кулаки в бока. Была еще гераклеяская, с двустольными ручками, по словам хозяина, выловленная из моря водолазами. Действительно, на красноватых ее стенках виднелись наросты ракушек. Шарообразный сосуд сразу привлек внимание москвичей, но у этой вещи не было никакой привязки — где найдена, откуда она, посудина такой редкой формы?

— Тогда импорт товаров в Город был гораздо больше, чем сейчас, — пошутил Стас, объясняя Альке, что керамической тары, чем, собственно, и являются амфоры (вроде наших бутылок), было привезено неисчислимо много из греческих центров, снабжавших колонии оливковым маслом и вином.

Чем «моложе» датировалась амфора, тем выше у нее были задраны ручки, но легко узнаваемые позднеантичные сосуды сразу же были отвергнуты покупателями. Здесь, в отсутствие подчиненных, Стас держался с Годоваловым просто, на равных, лишь по отношению к хозяину он пытался выглядеть солидно, раза два помянув о себе как о начальнике экспедиции в третьем лице. Цены были небольшие и не зависели от происхождения и возраста вещи. Но Осповой жался.

Тут Васин припер коробку из-под телевизора, набитую кульками с мелкими предметами: лекифы, тарелочки, пиксиды, извлеченные из женских погребений... Показал сосуд для благовоний, бальзамарий из черного стекла. Больше всего оказалось простых, скупо орнаментированных светильников с одним или несколькими рожками. Женская Алькина природа сразу давала себя знать при виде домашней утвари и шкатулок для украшений, но Годовалов и Стас довольно равнодушно оглядывали изделия, на минуту заинтересовавшись только светильником без донца с изображением симметрично стоящих двух гладиаторов.

Уезжали они, увозя чернофигурные килики да несколько монет.

Через день-другой в палатку к начальнику экспедиции притащился загорелый до фиолетовости человек, коротко представившись «От Коляна», и предложил несколько предметов из бронзы: довольно грубые одежные застёжки-фибулы и позеленевший диск с ушком для шнурка, нагрудное девичье зеркальце, которые Стас забраковал.

— Ещё что-нибудь есть? — спросил он, не показывая заинтересованности.

Пришлец — усатый, с воспалёнными глазами — погрузил руки в мешок и извлек оттуда тяжёлую мраморную голову в натуральную величину, со сколом на шее и слегка почерневшую в теменной части. Недолго поторговавшись, Стас спрятал покупку в изголовье своей постели.

— Стекло будете смотреть? — спросил мужик, доставая из кармана что-то вроде кисета. Высыпал на одеяло горсти две разноцветной мелочи: глазчатые бусины, сведенные в короткое ожерелье; полосатые, с масляным блеском кабошоны; яблочной зелени, оббитые по краям пронизи из египетского фаянса, — словом, смесь древних изделий и подделок. Осповой, повисев лицом над пестрой кучкой, сразу взял стеклянную головку мужчины с выпученными глазами, потом прихватил плоского светло-зеленого зайца — у того была петелька на спине. Перебирая вещицы цепкими пальцами, Стас выловил большую каплю из непрозрачного голубого стекла и на ладони поднес к лампочке. Бусина засветилась сапфирово-молочной синью.

— Сколько? — И, услышав цену, полез в карман. Затем к уже оплаченному присовокупил низку граненых грязно-синего цвета просверленных камешков.

Когда продавец ушел, Стас, жадно разглядывая купленное, сказал Альке о стеклянной капле: «Антропей, подвеска в форме фаллоса. Пятый век до нашей эры. Таких две-три в коллекции музея Пушкина. А бусы — тебе. Перенижи на леску и храни, но здесь не носи».

Вообще-то такие сделки были противозаконными, ибо

все, что находили люди в земле, принадлежало государству и должно было быть сданным в городской музей. В определенном смысле глава экспедиции шел на сделку с укрывателями похищенного общественного добра. Покупая утаенное от народа, он успокаивал себя тем, что таким образом спасает вещи, иначе они пропадут втуне, в лучшем случае попадут в частные коллекции. Единственно, что тут было нечестно — это увоз из города экспонатов, которые по справедливости должны оставаться в местном музейном собрании. Но тут Осповому служили примерами античные раскопки немцев и англичан, пополнивших музеи своих стран первоклассными произведениями искусства, которые, как видно, никогда уже не будут возвращены туда, где найдены.

Для консультации в палатку вызван был Годовалов.

— Рим! — хвастался Осповой, держа перед ним в ладонях и поворачивая то так, то эдак только что купленную голову и, повернувшись к Альке, проговорил: — Как видно, срубили с конной статуи, чтоб приставить новую, когда сменился император.

Погладил каменную башку по темени:

— Первый век до!

Юрий Петрович, с ним не согласившись, в раздумье глядел на изъязвленный временем мрамор и тоже обратился к Альке:

— Безбородый, значит, после Александра Македонского. Тот брился, и эта мода долго продержалась. Прическа тоже о многом говорит. Стрижка в подражание Нерону... Не раньше первого века нашей эры!

— Отбой! — вскричал на своем краю Годовалов.

— Сиеста! — важно объявил Осповой.

Алька не знала, куда себя деть. После обеда не работали из-за жары. Кто-то мыл черепки в корытце, кто-то спал, но большинство, собравшись группками под тентом, грызли семечки и зубоскалили.

Сбежав с горы по лестнице, построенной когда-то местным купцом, о чем гласила резная доска на средней площадке, она понеслась по главной улице, затененной акациями и тополями с жестяно-зеленой от засухи листвой.

Здесь, как и в каждом южном городе, как она читала и у Хемингуэя, в третьем часу пополудни все замирало, началось истомное затишье, прекращалась торговля, столовые закрывались до пяти и даже птицы смолкали...

Дошла до центра, откуда лучами расходились улицы. Всюду было безлюдно. Лишь старухи, через каждые тридцать метров сидящие на высоких стульях возле весов, вертели головами, готовые моментально, за три копейки взвесить каждого и вручить квиток «столько-то килограммов и граммов».

Альке не хватало какого-то нового впечатления, взгляд ее метался от магазинных витрин к уличным прилавкам с кустарной одеждой, которые без опасения оставили на время обеденного перерыва продавщицы. Миновав один переулок, другой, третий, Алька кружила по городу, оказавшись вдруг на небольшой площади, где старинные домики образовали трогательный патриархальный хоровод. А потом по ступенчатому всходу снова вернулась в центр, заглядываясь на непроницаемые окна двух- и трехэтажных домов, стены которых окутывал багровеющий плющ. В воздухе пахло — до тошноты сладко — выполотым сохнувшим бурьяном, кучи которого лежали у заборов.

Дойдя до пустыющей детской площадки со ржавыми качелями, неработающим фонтаном и крошечным бассейном,

где плавала среди лиственного сора пластмассовая яркая лодочка, она испытала вдруг такую тоску, что бросилась прочь, влетела в «Гастроном» и стала пить газированную воду стакан за стаканом, не в состоянии унять жажду.

Не было ей успокоения в этом городе. Она изнемогала от одиночества, но в то же время хотела сберечь это одиночество. И уже не могла сидеть в палатке, под нагретым брезентом, не могла находиться в этом скопище почти нагих тел. Хотелось какого-то нового, неопределимого словами ощущения — есть, пить, разговаривать, но в то же время не хотелось ни еды, ни питья, ни разговора — того, как принято есть, пить и говорить у них в экспедиции.

И потащилась снова наверх, на гору, но не по лестнице, а серпантинными улицами. Сначала по ноздреватому асфальту кривого переулка за городским театром, мимо заколоченной церкви; потом вдоль ряда невысоких домов, на карнизах которых со времен войны остались вырывы от снарядов; между невысоких жилистых маслин с бледными листьями; мимо дворишков, примыкающих к отрогам горы, и высоченных подпорных стен, оплетенных виноградными лозами. В стенах виднелись двери камор и сортиров, несло подсыхающими нечистотами. Она вышла на улицу, мощеную истертым до гладкости известняковым околком. По водостоку посередине дороги, куда, как и встарь, хозяйки выливали помой, тек жалкий ручеек мыльной воды, иссыхающий, не достигнув желоба ливневки. Узким проулком взобралась еще выше, чувствуя сквозь подошвы своих кедров мелкие камни мостовой, и очутилась на бетонке, на ее всегда горячих плитах. Колоннада на среднем ярусе горы виднелась издалека, выделяясь светлыми столпами среди пыльной зелени.

Кругом лежали широкими ступенями нежилые древние улицы городища, выявленные при раскопках, которые велись тут уже более ста лет. Ни современных зданий, ни садов...

«Сначала город имел террасную застройку, а теперь на плоских участках мы обнаруживаем регулярную планировку эллинистического периода», — звучали у нее в голове слова Стаса, которые она успела выучить, время от времени

слушая его разъяснения высокопоставленным экскурсантам, приезжему начальству и военным чинам из санатория Минобороны. Любитель вешать лапшу на уши, Осповой вдохновенно пел им о спрятанных в недрах горы статуях и мраморном царском троне на серебряных ножках. Такие же байки он пытался рассказывать и отцам города, систематически отправляясь на прием в горсовет, и уж там обещал, что найдет известные по древним источникам и золотой меч, и золотого коня, которые-де лежат тут со времен Понтийского царства. И намекал, что надо бы еще денег на два-три раскопочных сезона, чтобы все это откопать и тем прославить город. И хотя, Алька видела, верят этим рассказам многие, а некоторые и посмеиваются, за счет таких уловок ему-таки кое-что удавалось выпросить. Бульдозер, например, который за день работы снимает столько грунта, сколько ручными археологическими средствами невозможно было бы переместить и за целый сезон.

Она вспомнила вдруг спор мужа с Юрием Петровичем — трудно было не слышать, так орал Стас. Как поняла Алька, Годовалов противился использованию техники, на что Осповой категорично отвечал, что у него нет времени копать слоями по два штыка в день, что средневековые его не интересуют, и вообще ничего тут нет и быть не может интересного в верхних слоях. Она не до конца понимала, в чем дело, но, судя по мужнину гневу, требование Годовалова вести раскопки планомерно и по методике угрожало аспирантским планам Оспового и значительно отодвигало срок защиты его диссертации.

Огромная желто-зеленая ящерица выскочила из бурьяна и, заметавшись, скрылась среди развалин архаического дома. Алька заглянула в колодезь, глубоченный, но давно уже безводный. Когда расчищали его, было поднято наверх множество сосудов, расколотых и целых. Считается, что найденные сейчас неразбитыми глиняные гидрии когда-то, в древности, просто упустили в колодезь, набирая воду, а цветные осколки — от сосудов, которые разбили специально, принесли их в дар божеству источника. Сверху колодезь был накрыт

ржавой решеткой, чтобы уберечь от падения в него ребятишек, вечно околачивающихся здесь, на приволье, возле археологов. И внезапно Алька вспомнила, как Стас сказал ей об их будущих детях: «Дети будут, когда защитимся», имея в виду, что и она должна стать кандидатом наук и прилично зарабатывать, тогда и можно родить. «Тебе уже двадцать пять, а вы все тянете», — укоряла ее мать. И хотя Алька не чувствовала своего возраста, а выглядела девчонкой, муж, привыкший командовать и повелевать, казалось, стремился как можно дольше держать ее в этом состоянии незрелости.

И она поняла, что не хочет больше той жизни, которой живет. Не хочет этой дурацкой своей роли «Мисс Экспедиция», когда все демонстративно, со слегка ироническим почтением обращаются к ней. Не хочет вечно быть начеку и ловить безмолвные знаки супруга-начальника, подчиняясь коротким его приказам, которые понимает уже с полуслова. Не хочет этой зарядки по утрам, когда он говорит: «Давай подергаемся!» — и надо делать специальные упражнения, потому что у Стаса уже есть диплом каратиста, который он показывает, когда случаются в их доме гости, и белое кимоно, а она тоже не должна отставать. Но когда он командует: «Бей, бей!» — и нужно, стоя на одной ноге, свободными конечностями бить воображаемого противника, ей страшно представить, что бьешь человека ногой! Не хочет она и этой унижительной процедуры взвешивания на особых напольных весах, которые и сюда притащили из Москвы, и слушать упреки мужа, когда иной раз, отметив, что она прибавляет в весе, тот говорит недовольно, что ему толстая не нужна, и велит не есть сладкого. Раньше она уговаривала себя, что все это делается с ее собственного согласия, а голодание укрепляет волю. Но сейчас она думала обо всем этом с отвращением и поняла, что не может больше повиноваться таким, может и разумным, требованиям Оспового, но которые делают ее игрушкой в его руках, — на манер тех марионеток, целую грудку которых нашли позавчера на западном участке. Фрагменты человеческих раскрашенных фигурок, очевидно когда-то скрепленных нитками в суставах, во всяком случае, дырочки для этого

имелись... Но теперь эти персонажи из обожженной глины лежали кучками разрозненных членов: руки, ноги и туловища с выпуклыми животами и точками пупков...

Она пошла, продираясь сквозь высокие сорняки, мимо грота, каменный зев которого был обращен к востоку, вошла в зеленую прохладную тень и побежала дальше, по едва заметной тропинке. И через несколько минут попала на необитаемую возвышенность, увидела гладкие цементные стаканы бункеров, с одной стороны упрятанные в грунт, железные листы в амбразурах окон. Побежала, побежала туда, где было совсем круто, и ноги ее, упираясь в подтесы скалы, упруго скользили. И на зеленой площадке, среди мелколиственной травки, увидела человека, сидящего, прислонившись к каменному выступу, с неизменной сигаретой в руке — седая голова, и шрам на левой щеке, и согнутая спина.

Резко остановившись на повороте тропы, она так и остолбенела, потому что и гон по улицам, и ее метанья по городу, и строптивные, даже изменнические по отношению к Стасу мысли, казалось, вот здесь должны были просто и без усилий с ее стороны навсегда кончиться. При виде этого человека ей стало так легко, как будто все мучившие ее вопросы в один момент разрешались. И, ничего не соображая, она бросилась к нему, встала перед ним на коленях и, протягивая к нему руки, сказала:

— Больше невозможно!

Юрий Петрович осторожно положил ей свои ладони на плечи и из-за ее рыданий и невнятных слов как-то сник и стал еще сутулей, и проговорил вдруг:

— Аля, я тебя люблю. — И тут же добавил: — Но я женат и не могу...

Тут она в плаче стала раскачиваться между его большими ладонями, пахнущими табаком. Он встал, подхватив ее под локти и тоже заставив подняться, и сделался вдруг очень высоким, много выше нее ростом.

Она выгнулась, выпятила вперед губы и ягнячьим движением потянулась к нему. Он наклонился, и в глазах его был какой-то вопрос. Их лица, постояв какое-то мгно-

вение друг против друга, сомкнулись лбами, а потом, как говорится, уста их слиплись, и он захватил ртом ее губы, травянисто-солоноватые, точно ягоды местных диких маслин. Так стояли они несколько минут, совершенно оглушенные происходящим, среди зеленых холмов, на плато, откуда царь Митридат озирает окрестности, ожидая нашествия, на траве, под которой покоился восьмиметровой толщины культурный слой, вмещающий бронзовые зеркала боспорских красавиц, серебряные монеты римских династий, и перержавевшие патроны последней войны... Когда же наступила минута — не насыщения, нет — изнеможения и задыхания, и поцелуй прервался, они сразу вместе внезапно услышали восторженную песню кузнечика над кустиками камнеломки, накаты плещущих на берег волн и то шепелявое шуршание гальки, когда радостно трутся друг о друга гольши гравия.

«Поцелуй — это очень много», — подумал он вдруг. И повторил:

— Аля, я тебя люблю, но я не могу быть счастливым через преступление.

— Мне ничего не надо, — пролепетала она.

— А Осповой? — спросил он так трезво, отрывисто, что она задрожала, и ответила:

— Не могу!

Музей древностей в городе существовал еще с дореволюционных времен. Когда-то его возглавляли по очереди замечательные ученые, знатоки древней истории. Еще и до войны тут был очень сильный научный контингент, но в последние годы музеем командовал бывший замполит, списанный с корабля на берег за пьянство и мордобой. И вся деятельность музея получила другой уклон. Новый директор с первых же дней грозил, что не потерпит той аполитичной обстановки, которая сложилась до сих пор во вверенном ему теперь учреждении культуры. Из директорского кабинета были вынесены бюсты античных философов, пребывавшие там со времен образования музея. Установили новый сейф, основным содержанием которого стали бутылки со спиртным, набор которых постоянно обновлялся. Каждый день к директору шел на прием народ, чтобы решать важные и по большей части совсем не музейные проблемы: установки гаража, протекции в местный педвуз, устройства на должность и даже сватовства.

При новом руководстве в музее как будто утратили интерес к древнему миру. Директора не интересовали раскопки и всякие там находки. Этот работник идеологического фронта сразу же вознамерился разбить каменные фаллосы, сваленные во дворе музея, и если бы его не ткнули носом в инвентарную книгу, этим экспонатам было бы несдобровать. Экспозиция не обновлялась, от населения больше не брали найденного в земле. Не взяли даже мраморную голову льва, выловленную из моря, даже гигантский пифос («Горшок и горшок», — говорил директор), даже и ручную каменную мельницу с жерновами, которую, казалось бы, надо было сразу хватать как хозяйственный инвентарь трудящегося класса. Экскурсии по античной тематике были свернуты, лишь один раз в году пятиклассников из городских школ приводили на гору, к развалинам, и, выстроив на весенней травке рассказывали о древнегреческих городах на террито-

рии Советского Союза. А вообще все внимание теперь отдавалось теме Великой Отечественной войны и подвигу полковоенного восстановительного труда.

Музей был бесплатным, следовало только записаться в книгу посетителей при входе. Но так как желающих осматривать залы было немного, сотрудницы по очереди писали в эту книгу разными почерками выдуманные фамилии и, как нарочно, на ум им приходили одни и те же прозвания, так что людьми, которые там отмечены подписью «Калиниченко», можно было бы заселить полгорода.

В музее те, кто вел экскурсии, существовали отдельной группой, а те, кто числился в научных сотрудниках, никакой наукой не занимались, а просто, притащившись на работу, томились, сидя за столами до пяти вечера, без конца пили чай и беседовали.

В начале года трудились над сочинением индивидуального плана работы, а сдав его в дирекцию, напроць о нем забывали. К концу года, когда надо было сдавать отчет о научно-исследовательской работе, бывало несколько дней запарки. Тогда одни в спазмах паники рождали рассказ о своих свершениях, а другие просто переписывали прошлогодний свой отчет, уверенные, что после того, как текст перепечатают на машинке и положат в папку, никто никогда этого читать не станет.

В штате значилось десятка два смотрителей, которые должны были отвечать за сохранность отдельных участков вверенной музею заповедной территории, однако ставки были по большей части заняты людьми, которые просто жили по соседству с памятником археологии. Считалось, что в случае чего они могут подбежать, но, как правило, предотвратить акты вандализма никто никогда не успевал, а только подписывали соответствующую бумагу. Были и такие сотрудники — обычно девочки, устроенные на теплое местечко по блату, чьи-то дочери и невестки, — которые только числились смотрителями, а на своих объектах никогда не бывали, зарабатывая необходимый для поступления в институт рабочий стаж и на службе появляясь лишь в день зарплаты.

Один раз в году руководство музея проводило производственное собрание, когда в повестке дня стояло обсуждение коллективного договора, и велась речь о насущных проблемах: о протекающей крыше и о том, что сидеть зимой в неотапливаемых помещениях вредно для здоровья. На таком собрании начальство делало разнос персоналу и выговор зрителям за непорядок. После этого, выйдя из зала, какая-нибудь из провинившихся обычно говорила: «Воно мэни нужно!», и о проблеме забывали до следующего года.

Все работающие в музее прекрасно знали, что уволить никого невозможно. Увольнение по статье случалось раз в десять лет, а вспоминалось потом как страшный кошмар еще годов десять. Официально увольняли после долгой борьбы, если человек уж слишком допекал начальство — пьянством или чрезмерно большой инициативностью. Активных, мешающих коллективу спокойно доживать до пенсии и донимающих дирекцию всякими выдумками, обычно выживали, используя систему разнообразных придинок, так что, в конце концов, человек подавал заявление «по собственному желанию». Шибко умные особенно раздражали директора, а когда Горев защитил кандидатскую диссертацию, ненависть руководства достигла такого накала, что организована была целая кампания критики и травли. Состоялось, как рассказывали, общее собрание, и когда Горев, заканчивающий делать новую экспозицию, с возмущением обратился в зале к завхозу: «Дайте хотя бы гвоздей! Как работать? Ничего нет!» — директор на эти его слова о гвоздях сказал: «Запишите в протокол, он выступает против решений двадцать второго съезда партии!». И тут же, на собрании, где особенно рьяной коммунисткой проявилась заведующая отделом ВОВ (так принято было произносить), коллектив выразил коллеге свое политическое недоверие. После этого Горева уволили.

Работали в музее в основном женщины — женщины, уходящие в декрет, матери кормящие и матери, вышедшие из декрета, родительницы первоклассников, бывшие учитель-

ницы и будущие искусствоведы («кустоведаы» — называла их уборщица).

Курьером здесь был смышленный паренек лет восемнадцати, который сразу после десятилетки пытался было поступить в институт, но не попал, не добрал баллов. Призыву в армию парень не подлежал как сын родителей-инвалидов первой группы. Этот мальиь прибился в музей с твердой установкой найти сокровища. С младенчества слышавший рассказы о здешнем золоте, он понимал, что для того чтобы обнаружить клад, нужен научный подход, подозревая, что в музее где-то хранится информация о зарытых монетах, которую бабы скрывают, а сами золота взять не умеют. Он часто сопровождал в походах по окрестностям ежегодно приезжающего сюда Годовалова, быстро выучился по карте ориентироваться на местности и даже сам зарисовывал теперь планы.

Мальчишке присущ был зоологический антисемитизм. Годовалова коробили его высказывания, и после первого же выступления юнца на эту тему, как только они остались с глазу на глаз, он выговорил ему все, что думал по этому поводу. Парень был немало удивлен темой разговора и сказал, что все эти сары ему до лампочки, но музей так набит «французами», что русскому человеку некуда сунуться.

Как сын он был чистое золото, обихаживал и даже баловал своих родителей, у которых были приличные пенсии и тихий нрав. Военный инвалид с женой перебрались сюда, в теплые края, сразу после войны и сейчас владели домишком в пригороде, и — парень очень гордился этим — у них были собственный причал и лодка.

Дождь лупил так сильно, что Алька чувствовала удары струй по лицу, как пощечины, а края ее панамы опали и мешали смотреть. Оказавшись во время внезапного ливня на территории дальних курганов, где не было ни дерева, ни какой-нибудь хибары, чтобы спрятаться, они сначала быстро шагали под дождем, а потом побежали, взявшись за руки, и уже не по той тропе, которая привела их сюда, а напрямик, не разбирая дороги.

Их рюкзаки намокли и отяжелели, потому что лежащие там черепки быстро набирали воду, которую так безудержно изрыгало небо. Но вынуть и оставить ничего было нельзя, ведь несли они осколки уникальных сосудов с ромбическим рисунком времен архаики. Найти нетронутым материал шестого века до нашей эры было невероятной удачей.

По пути приходилось перебираться через грязные ручьи, которые стекали с горы, перекатывая мелкую щебенку. Пришлось разуться, и колко было ступать по взрытой водяным потоком каменистой почве.

Дождь кончился, когда добрались уже до города и попали в центр, и нарядные курортницы, вышедшие погулять по вымытым улицам, шарахались от них, грязных, с всклокоченными волосами, с промоченными мешками за спиной.

Они вошли в гостиничный вестибюль, и Алька, опасливо ступая, оглядела огромное помещение с квадратными колоннами сталинского ампира. Пока ждали, когда дадут ключ от номера, она рассматривала висевшие в простенках панно медной чеканки, смахивающие на здоровенные противни, где изображены были и ражий казак в папахе, с домброй в руках, и в профиль похожая на лань грузинская красавица, и круглолицые бабы со снопами пшеницы.

Дородная женщина-дежурная сидела у лестницы. Она с подозрительностью оглядела Годовалова, хотя каждый день видела его и наверняка запомнила. Потребовав карточку гостя, строго, сварливым голосом спросила: « Кто то з вами?» —

даже взглядом не удостоивая его спутницу, загорелую, с глиной на хлюпающих кедах.

— Студентка, — ответствовал он насупившись, после чего услышал назидание: — В грязной обуви по ковру не ходить! Посторонним можно находиться в гостинице только до одиннадцати часов вечера!

Алька смутилась.

Он долго вел ее по коридорам и наконец привел в свою комнату. Сбросив вымокшую ветровку, она не знала, куда ее деть, но он взял у нее из рук мокрые одежды и увел от окна. И когда безмолвно и даже утишивая дыхание (а ей казалось, все слышат их!), он уложил ее на диван и, неловкий, с резкостью освободившись от прилипшей к телу рубашки, лег возле нее, она, отвечая на его поцелуй и что-то бессвязно приговаривая, все-таки старалась подняться, осторожно отодвигаясь, и просила:

— Не надо. Это пошлость — в гостинице.

И он вдруг подался к ней всем туловищем, властно достал ее грудь из-под трикотажа купальника и, глубоко дыша, припал ртом к соску — лохматый, огромный, точно голодный узник у Рубенса в «Отделюбии римлянки». Она действительно годилась ему в дочери. Она была из того немногочисленного поколения, которое народилось в войну от коротких, всего чаще по ранению побывок после госпиталя, от страсти тех, израненных и усталых мужчин, все-таки вернувшихся живыми.

И после всего того, что произошло между ними, словно зная, о чем он сейчас думает, она спросила:

— А как вас мама называла в детстве? Юрочка?

— Нет, Гарик, — ответил он непонятно.

Когда Алька шла потом на гору, с которой все еще сбегали ручейки дождевой воды, несущие всякий мусор, ошметки полиэтилена и фантики от конфет, она осознавала уже, что кончилась та наивная пора влюбленности, которая наполнена радостью невоплощенных мечтаний, и наступает другая жизнь.

Мальчишки, попавшиеся ей по дороге, возились в жидкой грязи, выискивая монеты, после каждого ливня выносимые

на поверхность. Она и сама как-то однажды нашла серебряную денежку с выпуклым колосом двузернянки, которую Осповой присовокупил к экспедиционным результатам года, объяснив, что когда-то Боспор был крупнейшим поставщиком зерна (пшеницы, проса, ячменя) и в Афины, и в Малую Азию, и в островную Грецию. «Рескупариды!» — крикнул один из ребят, и остальные, как воробышки на корм, слетелись к нему и, наклонив головы, стали разглядывать находку. Среди здешних подростков были такие, для которых сбор и продажа древних денег стали настоящим промыслом. Они так настрополились в этом деле, что довольно точно различали монеты разных династий, узнавая и оболы, и тетрахапки в голубовато-зеленых кругляшах окисленной меди.

Алька замедлила шаг, словно найдя повод задержаться еще на несколько минут и, миновав террасу с деревцами, которые в день тридцатилетия победы высадили здесь матери и вдовы защитников города, попала на широкую площадку лестницы.

Дождь как будто разделил ее судьбу на две части. Пройдя от гостиницы до экспедиционного поселения и преодолев откос, скользкий от раскисшей глины, она словно наверстала те несколько лет жизни, которые, впавшая в бесчувственность, пробыла замужем за Стасом. И вот сегодня, ушедшая утром в местную командировку легкомысленной и как бы несовершенной, потом у порога гостиницы отказавшись от провожания и личного прощанья, а сейчас, на закате, отсчитывая последние ступени на верхнем марше знаменитой лестницы, она возвращалась назад взрослой, отягощенной раздумьями женщиной. Понимая, что наступает время, когда придется лгать, прятаться и притворяться, она еще не знала, что скажет мужу через минуту, войдя в дом, и с какими глазами будет сидеть за ужином среди своих. Ей мерещилось, что каким-то образом произошедшее уже стало известно, и надо так вести себя, чтобы хоть сколько-то оправдаться в том, что случилось.

— Вымокла? — спросил ее, дрожащую в ознобе, стоявший на пороге камералки Стас. — Надо растереться медом.

Она вымылась в дощатой будке под душем, намазала мед равнодушной ладонью на кожу выше груди и легла в постель, свернувшись калачиком на льняной хозяйской простыне, сначала прикидываясь спящей, а потом, и вправду, быстро забывшись дурманным сном, с видениями, которые потом, утром, уже не могла вспомнить.

Как и каждый год, жара очень мешала нормальному течению работ. Тот ливень, который отделил прежнюю жизнь Альки от нынешней, был единственным за все лето. И сейчас на склонах горы снова жухла трава, и над потревоженным наукой городищем гулял горячий ветер, шевеля лохмотьями засыхающих сорняков и поднимая тучи мелкого праха. После того, как у одного из раскопщиков случился солнечный удар, пришлось установить выходной день, но Осповой ворчал, что они не укладываются в нужные сроки.

Алька стала молчаливей и прилежней в работе и пряталась от подружек в палатку, когда те звали ее на море. Она все время ждала разоблачения. Как-то, когда в нитяных белых рукавичках разбирала керамику, а записной экспедиционный циник Илья, все время ерничавший, спросил ее: «Что, на правую руку надела перчатку с левой руки?» — она прямо обмерла: — Знает!

По вечерам на пороге временного своего, известью беленого жилища Алька вязала пончо. Осповой очень поощрял такие хозяйственные занятия, называя это спицетерапией и посмеиваясь, что даже царица Пенелопа из экономии пряла-вязала сама на всю семью. Как геологические пласты свидетельствуют о различных периодах в истории земли, так и петли Алькиного вязанья, — то путаные и затянутые, то аккуратные, пушистые и полные воздуха, — говорили о чередовании разных настроений мастерицы. По мере наращивания цветных рядов от края к центру, по характеру вязки было видно, когда мучилась она печалью, а когда пребывала в беззаботности. Когда же думала о Юрии Петровиче, смятение становилось так велико, что обрывалась нитка. С некоторых пор таких обрывов становилось все больше, и обвязка горловины была вся в узлах.

После того, что случилось, Альке, раньше словно не осознававшей, что она состоит из крови и плоти, легко появляющейся на раскопе в майке до пупа или купальнике, хотелось спрятать, утаить свою телесность. Напяливая на себя выгоревший тренировочный костюм, она надеялась, что станет незаметней и ниже ростом. Ей хотелось вернуться в тот возраст юности и безответственности, когда все за нее решали другие. Избегающая мужского внимания, она уж никак не казалась самой себе привлекательной в старых штанах с пузырями на коленках, но и этот убогий наряд придавал ее поздно оформившейся фигуре какую-то новую стройность. И в облике ее появилось нечто, взволновавшее даже заядлого женоненавистника Илью, который вдруг, проходя мимо нее, проговорил, кривя рот и направляя звук так, что произносимое слышать могла только она сама: «Я тебя лю!», словно и забыв, что у нее есть муж и все такое.

И, запрещая себе это, Алька, тем не менее, все время оглядывалась, выискивая глазами на раскопе человека с пепельно-светлой головой. Волосы у него на затылке сильно отросли. Тогда, в гостинице, глянув в зеркало, перед тем, как выйти с ней из номера, он сказал о себе иронически: «Как бухгалтер», — чтобы скрыть волнение.

Он вновь и вновь возвращался в воображении к тому, что произошло, и чему предшествовало омовенье дождем. И как-то однажды подумал о том, что в античности, чтобы раздеться, достаточно было одного широкого жеста, а теперь чувство стыда, стеснительность превращают обнажение в ряд каких-то суетливых, унижительных движений. Однако он берег в памяти все мгновенья пережитого. Как она, Алька, тогда, словно в бреду, шептала что-то, и он разобрал одно слово, одно только, но такое, что, потрясенный, провалился в небытие. И он видел теперь — не прямо, прямо он смотреть не решался, а боковым зрением — ее силуэт на сером фоне пересохшего суглинка и сладостную округлость бедер, подчеркнутую черным трико. Видел даже тогда, когда отворачивался, видел внутренним зрением и пытался успокоиться размышлением о том, что в девочке

этой — пропорции скульптур Лисиппа (длинное тело и небольшая голова).

Темные несмыаемые круги вокруг глаз делали лицо Годовалова каким-то особенно приметным, оно казалось настороженным, что при медлительности речи вносило в его облик некоторый тревожащий собеседника диссонанс. Он знал об этой своей особенности, и когда однажды Алька как-то слишком долго смотрела на него, не дожидаясь вопроса о том, откуда эти следы на лице у него, объяснил: «Это от дистрофии.» И уточнил многозначительно: «Я ведь тебе рассказывал...»

Он просто называл ее на «ты», как привык называть студенток, она же по-прежнему говорила ему «вы».

«Жарина!» — возглашал Стас, появляясь на гребне раскопа в потрясающей девиц широкополой своей шляпе.

В черте города купанье давно уже было запрещено. Отходы рыбного завода настолько испортили воду в заливе, что влезать в море вообще-то было небезопасно. Правда, местные не обращали внимания на запрет и спокойно плавали, сгяя в воду прямо с высокого волнореза у набережной. Мальчишки, обычно облепывшие пирс, прыгали в волны солдатиком, а дебелие женщины в нижнем белье неторопливо входили в море на мелких местах, осторожно ступая, чтоб не напороться на осколки бутылок. Тот холерный вибрион, которым десятки лет пугала всех эпидемстанция, систематически находя его в пробах морской воды, не проявлялся, и в городе, как было известно, холерой, точно, никто не болел.

Под предлогом жары Алька стала уклоняться от мужниных объятий, а на супружеские свои требования Осповой получал откровенные слова отвораченья, что объяснял себе обычной формулой «С жиру баба бесится», уверенный в своей неотразимости.

Годовалов же думал: «Что со мной делается?» Он изнемогал от нежности. Какая-то странная расслабленность наполняли его дни. Перед тем, как уснуть, он отдавался странным видениям. Алька как будто была рядом, и у него было одно желание, простодушное, почти лишенное плотской

жажды — тереться ртом об ее щеку, абрикосово-смуглую от солнца, угадывая ноздрями дух пересохшей травы, пропитавший ей волосы, и слышать этот сдавленный шепот, это ее «Да, любимый».

Празднование дня археолога происходило в августе, как правило, совпадая с отмечающимся в Городе «Днем миста», и требовало изрядной подготовки. Двое-трое из экспедиционных архонтов во главе со Стасом сочиняли программу, и, сидя по вечерам в камералке, громко хохотали, довольные своими выдумками. Каждый раз (а праздник был ежегодным) представление включало в себя итоговую речь руководителя, а также обряд посвящения в археологи, копирующий древнее священнодействие.

Годовалов тоже поначалу был приглашен в камералку, где за столом, уставленным пивными бутылками, собрались организаторы, но из-за его буквоедства дело не сладилось. Сказал, что получается какой-то винегрет, где Дионисии смешиваются с Элевсинскими мистериями, посвященными Деметре, и так допек Оспового своими замечаниями, что тот облегченно выматерился, когда Годовалов ушел, отказавшись от участия в постановке, но пообещав заняться костюмами и тем внести свою лепту в подготовку мероприятия.

В дни репетиций все: и студенты, и новички-десятиклассники, и ветераны раскопок, отбывающие здесь уже не первый свой сезон, в миру инженеры и физики, и даже кандидаты наук, — будто впадали в детство, ожидая карнавала. К резиновым подошвам «вьетнамок» приторачивали ремешки почти с таким же рвением, как некогда рабы, которым в Риме носить высокую обувь запрещалось, став вольноотпущенниками, стремились поскорее обуться в кожаные сандалии. Мужчинам готовили плащи, мальчикам — гиматии. Девиды шили хитоны, выкрасив лоскуты дешевой хлопчатки акрихином и синькой, и мастерили себе украшения. Весь сценарий был никому неведом и строился таким образом, чтобы выступающие появлялись один за другим, номер за номером, и только Осповой — режиссер, надо признать, отменный — один представлял себе всю грандиозность задуманного.

Торжество начиналось в полдень. Под крики глашатаев археологи, сбившиеся в толпу на самом высоком месте городища, начали спуск по террасам вниз, к колоннаде. Предводительствовал ими сам Осповой в роли царя из рода Ахеменидов: широченный плащ, под который был надет черный его пояс каратиста; кожаный шлем с дубовыми листьями, сделанный Алькой из выворотки старого портфеля, и жезл, выкрашенный бронзовкой. Начальник экспедиции горделиво шествовал, окруженный загорелыми воинами, и местные мальчишки, которым дозволено было присутствовать на празднике, пятились впереди всей кавалькады, пожалуй, и впрямь веря, что это настоящий понтийский царь, жестокий восточный правитель. Сопровождающие повелителя изображали кто греческого гоплита с большим щитом и копьем для дальнего боя, кто восточного полуголого стрелка с луком, кто скифа в колпаке и с мечом-окинаком в руках.

Несколько новых членов экспедиции, из зеленой молодежи, выскочили, было, на площадку верхом на палках, увенчанных бумажными конскими головами. Однако такой выход не был запланирован, и Осповой, грозно шикнув, одним взглядом со сцены эту самодетельность, нарушившую неуместной суетливостью величавое течение праздника.

В свите царя шли жрецы Изиды, они набелили зубной пастой себе губы, и лишенными мимики лицами похожи были на мертвецов. С двумя игрушечными змейками в руках выступала царица Клеопатра. Девушка, изображающая египетскую правительницу, постеснялась открыть грудь, так что из широкого выреза ее платья демонстративно вываливались поролоновые перси с пришитыми к ним аптечными резиновыми сосками. За нею плелась еще пара девочек, которых, как было условлено, обряжал Годовалов: в круглых воротниках-ожерельях, с завитыми волосами, — с вечера пришлось им накрутить волосы на карандаши, и из-за этого нельзя было нормально выспаться. И теперь они парились на солнце и тихонько ныли, забывая, что в самом Древнем Египте во время торжеств всем было гораздо хуже, пото-

му что на головы в париках клали тогда еще и благовонный жир, который плавился на солнце, и неприлично было его отирать. Парни держали за ручки украшенные пестрой тканью носилки, но хотя профессор Верич, институтский начальник Оспового, приехавший из Москвы, как всегда, под конец экспедиции, и изображал знатного гостя в паланкине, носилки эти были без дна, и ноги его сами бежали по глиняным буграм.

Показали себя и приглашенные на пиршество археологи из других мест. Члены пантикапейской экспедиции несли привезенные в дар ножи и щетки-сметки, потрясая ими в воздухе со стройным ревом: «Пантика-пей, Пантика-пой, Панти-копай!» В процессии участвовали и сотрудницы мурзья в длинных туниках.

На площадке среди колонн толпа выстроилась, чтобы выслушать годовой декрет, сочиненный Осповым, в котором упоминались все важные события сезона, и воздавалась похвала тем, кто преуспел в трудах. После каждого речевого периода, когда Стас приостанавливал речь, над горой неслось ликующее «Юо!», а царь царей величественно выпрастывал из-под плаща руку, обнажая свою коричнево-розовую мускулистую грудь.

Проводились спортивные ристания, состоявшие из метания копья, прыжков с места и поднятия тяжестей. Очень скоро выявился самый сильный, местный такелажник Бабичев, который всегда с энтузиазмом участвуя в жизни экспедиции, на раскопе брался передвигать неподъемные камни и безотказно таскал ящики, когда отправляли находки в Москву. Но вот Осповой сделал знак, и все замолчали. Мальчик-виночерпий, смешав в кратере воду и вино, стал наполнять килики, эти кубки двоедонные, как называет их Гомер, и все по очереди подходили, чтобы выпить свою порцию.

Для посвященных, давно уже приобщившихся к археологии, процедура питья была особая. Они собрались у алтаря античного святилища, встав плечом к плечу вокруг серой от лишайников каменной чаши. В нее произведено было возлияние неразбавленным вином, и избранные пили его, мед-

ленно потягивая через соломины, точно комары кровь, пока не осушили огромную чашу до дна, высосав литров шесть вина, красного, терпкого, с местным названием «Струмок».

Следующим актом были показательные раскопки. Монеты и осколки расписной посуды заранее зарыли в землю, а новичкам объяснили, в каком квадрате каждому копать. Скоро те один за другим уже предъявляли свои находки, и Стас торжественно объявил, что теперь они получают статус археолога. Виночерпий поил их, настаивая, чтобы полулитровые килики опорожнялись до дна. Охмелевшие студенты носились по ступенькам архаических улочек, шутовски пристаивая к девчонкам и задирая им юбки. Те верещали, пытаясь сохранить в порядке непрочные наряды. Тем и хорош был праздник, что в этот день полагалось публично делать то, что обычно запрещено или совершается скрытно. Все чего-то ждали, включая музейных матрон, которых как бы бодрило и вдохновляло на смелые мечты то непотребство, которое всегда подразумевалось как финал мероприятия и родило эту эклектическую затею с Дионисиями, оргиастическими празднествами древности.

Тут случилось событие, изменившее традиционную церемонию. Один из первокурсников, не увидев той медной монетки, которую закопали на его участке, в профессиональном возбуждении все еще возился в своей яме, глубже и глубже зарываясь в грунт, и неожиданно, раскрасневшийся от гордости, под удивленные вскрики товарищей, принес и положил к ногам Оспового длинный предмет, посверкивающий кое-где желтым металлом. Осповой, отирая находку от налипшей земли, не показал своей радости, но все поняли, что это и есть событие года, без которого нельзя было бы считать экспедицию удачной. Перед оторопевшей братией предстал инкрустированный золотом стальной меч-ксифос. На клинке его под ржавчиной ясно читался рисунок: охота на львов, мужчины в плащах и ощерившиеся звери. Первый лев мордой вперед мчится к заостренному концу меча, другой бежит и оглядывается, идущая последней львица пятится, страшную пасть обратив к преследователям. Завязался спор,

какого времени оружие, привозное или местное. Профессор Верич доказывал, что мастерами-торевтами здесь всегда были только этнические греки, работавшие для местной знати:

— Если скифское золото, звериный стиль, звери всегда с поджатыми слабыми ногами, а здесь львы тощие, и у них мощные лапы. И одежда охотников, определенно, не скифская. Ведь скифы обычно — в штанах и сапогах, а греков штаны шокировали, греки штанов не признавали. Заказчик меча — стопроцентно, эллин!

Годовалов тоже подержал в ладонях меч, отметив про себя, что при таком объеме он весит немного. Ему пришло на память то место из «Илиады», из двенадцатой песни, где троянцы прорывают осаду, а Гомер сравнивает Гектора со львом, когда, окруженный собаками и ловцами, лев оборачивается, сверкая глазами, и «не дрожит, не бежит, и бесстрашием сам себя губит».

После открытия, которое так всех взбудоражило, почти забыли о ключевом моменте представления, о явлении богини. На вершине горы раздался протяжный крик, и царь, не выпуская находки из ладони, дал свободной рукой отмашку спускаться той группе «артистов», которые на солнышке томились ожиданием, ничего не зная о событиях внизу. Сходя оттуда по изъеденному временем плитняку, два юноши с поднятыми вверх руками вздымали достигающее земли покрывало, и в колыпании его угадывалось, что кто-то движется, спрятавшись за полотном. Вереница девиц в голубых, светло-желтых и белых, со скрепами, хитонах шла следом, неся гирлянды из лопуха, который должен был заменить собой акантовые листья, ведь известно, что и акант, так часто составляющий украшение древних изображений, — тоже всего-навсего южный сорняк.

Процессия дошла до колоннады и остановилась там, где был некогда небольшой бассейн. По легенде, Афродита Апатурийская должна являться из вод, из морской пены, вернее, из смешавшегося с водою семени Урана, когда сын его, Кронос, «страшнейшее из чад», отсек и бросил в море

отцовские гениталии. Жрецы Афродиты, держащие завесу за края, стали медленно опускать ее; из ведер, размалеванных под античные гидрии, полилась вода, и перед публикой предстала Алька, изображающая богиню любви — с уложенными под обруч выгоревшими волосами, надутая и недовольная тем, что пришлось так долго ждать. Под вопли толпы она театрально воздевала кверху руки, но, надо сказать, Афродиты прежних годов были гораздо более талантливыми, как помнилось старичкам.

В момент появления богини Годовалов, боясь выдать себя, отвернулся, но потом снова исподтишка глядел на нее. Под самую грудь подхваченное ярко-красным поясом безрукавное Алькино одеяние от излитой на него воды мгновенно стало прозрачным, так что проступили сквозь марлевку земляничные ее соски.

Афродиту сопровождали флейтистка, голосом изображавшая звуки флейты, и служанка, воскуряющая благовония, которая довольно споро, с одной спички, подожгла сложенные на глиняном блюде сухие пучки тимьяна.

Пока продолжался спектакль, Годовалов сидел на камне, возле стены, оставаясь внутренне отделенным от всех этих забав. В своей обычной одежде, но с непокрытой головой, он на этом карнавале являл вид то ли древнегреческого философа, правда, без бороды, с разметанными над широким лбом седыми волосами, то ли самого Юлия Цезаря — суровое лицо с энергичным носом, сосредоточенный взгляд и выразительные скулы.

Местные мальчишки были изгнаны со двора и дальше наблюдали за происходящим с соседнего пригорка.

На обед подали мидий, которых набрали накануне на дальнем заливе и испекли на костре. И хотя на зубах трещал песок, от обилья вина все пребывали в эйфории. Две девчонки уже сидели на коленях у профессора Верича. После заранее заготовленных тостов, хоть и с цитатами из древних авторов, но зачастую содержащих непристойные намеки на экспедиционный быт, стали рассказывать байки из археологической жизни, а потом обед органично перешел в ужин, хотя многих и не досчитались за столом, потому что, ослабев

от жары и выпивки, народ расплзлся по палаткам. Были спеты обычные песни под гитару, а гости по очереди исполнили свое, и рев припева разносился по холмам, отдаваясь эхом в гроте, и собаки во дворах откликались на шум вопреки лаем.

Такое времяпровождение было всегда тягостным для Годовалова, и он подумал, как все это на самом деле не похоже на древнее пиршество, где было не более девяти человек гостей, у каждого ложе и свой столик с угощением, и никогда не было такой тесноты, разве что при избытке прислуживающих рабов.

Во время застолья случилось непредвиденное. Приехавший из пянджской партии археолог стал вдруг рассказывать, что азиатские мальчики не годны для армии из-за нехватки мяса и работы с детства на хлопке:

— Приходит приказ из райкома, и выгоняют на поля всех женщин и ребят-школьников с четвертого класса. Жара, пестициды и так далее...

— Сволочи! — вдруг сказал Годовалов (все замолчали) и добавил: — Крепостное право!

Осповой, уже порядком набравшийся, взъярился на такую, как он выразился, антисоветчину, рявкнув: «Хватит ныть!». И хотя потом побежали за выскочившим из-за стола гостем и привели под руки, напомнив, что при ссоре, по Пифагору, надлежит до захода солнца примириться, и в конце концов коллеги пожали-таки друг другу руки, но Алька видела, что когда через некоторое время провозгласили тост за здоровье начальника экспедиции, обиженный не выпил вина, а она знала, что для восточного человека — это серьезно. Выпад же Годовалова Стас как будто проигнорировал, сказал ему только негромко, на «ты»: «Ты меня не доводи!» («Не доводи, начальничек!» — просили доходяги нарядчика, когда на разводе их били, выпихивая за вахту, на работу, хотя и было понятно, что эти дистрофики до рабочей зоны не дойдут...)

Действие алкоголя и умиротворяющая тишина крымского вечера, нарушаемая лишь мирными звуками неторопливой

южной жизни, разнежили публику. Годовалов флегматично слушал, как струя воды из колонки, обрушиваясь в ведро, заставляет жестянку оптимистически звенеть; как ритмично стучит клепальный пресс в портовом доке; как внезапно прерывается оркестровая трескотня цикад, едва кто-то выберется из-за стола и идет по траве до ветру.

Город постепенно погружался во тьму, и лишь оконные стекла дальних пятиэтажек сияли, вызолоченные докрасна последним отсветом солнца. Листья на деревьях сделались неразличимы, и маслины стали совсем косматыми, а ряд колючих кустов дерезы вдоль дороги превратился в серый полукруглый вал.

Начальник экспедиции обратился к пирующим, продирижировав довольно невнятным «Эвое!», чтобы их взбодрить, но разговор еле теплился. Вспомнили историю Ифигении, алтарь которой был здесь, в Тавриде: как Агамемнон велел принести ее, свою дочь, в жертву Артемиде, выпрашивая попутного ветра для отплытия в Трою за Еленой, женой брата. И Алька громко спросила, впервые за весь день обращаясь к Годовалову:

— Разве она не могла упросить отца, чтоб ее пощадили?

Тут Осповой взглянул на часы и скомандовал, и все поднялись из-за стола. Несколько ребят ухарски запели под гитару. Археологи словно очнулись от дремоты, выбежали из углов, выкатились из палаток и прыжками, обгоняя престарелых гостей, устремились на верхнее плато горы.

Вдруг загрохотало. Небо, по южному черно-синее, осветили вспышки, выпятились плотными массами облака, и пошло кружиться вверху коричневое месиво, как будто титанической дланью взболтали тьму. Городской фейерверк, грянувший в десять вечера, освещая небесную бездну взрывами оранжевых и белых огней, превратил гору в подобие молниями исходящего Олимпа, потому что из города стреляли как раз в сторону возвышенности.

Пьяненькие девчонки прыгали возле самого обрыва, встретив первые залпы салюта визгом притворного ужаса, а парни принялись смело обнимать всех подряд, словом, рас-

пустили руки, уже ничего не стесняясь в те секунды, когда между залпами наступала темнота.

Все сбились в плотную толпу, топчась на плоском каменном пятачке, а потом начали двигаться круговым хороводом под регулярно нарастающие раскаты салюта, сначала медленно, из-за тесноты прижимаясь друг к другу и как будто стремясь слиться в единое тело. Именно в этот момент проявлялись таимые до последнего дня симпатии, и самые робкие слепились, наконец, в любовные пары. Потом движение сделалось много быстрее, и танцующие, раскачиваясь, отжимали в сторону, к краю площадки тех, что были неповоротливы или не подчинялись общему ритму.

Срамная, первобытно-бесстыдная песня гремела над горой. Вопли хмельного ликованья и не сдерживаемой более похоти сливались с улюлюканьем, свистом и хулиганскими выкриками. И Годовалов, остановившись неподалеку, безучастно наблюдал, как все, точно сумасшедшие, с хохотом скачут и кружатся в групповом экстазе все ускоряющейся пляски, как будто стихия дионисийства испокон веков и до сих пор буйствовала в этих местах.

Когда же Стас, уже сбросивший царские причиндалы, обнаженный до пояса, подскочил к Альке, которая одна стояла столбом на белеющем выступе скалы, и вжался в нее сзади, властно обояв ей бедра и смыкая свои ладони внизу ее живота, Годовалов бросился бегом со двора, заметался по безлюдной улице (как ни странно, никто из местных не вышел смотреть салют) и побежал вниз по заросшему бурьяном склону, в ярости хватаясь за стебли сорняков и не обращая внимания на колючки, вонзающиеся в кожу, — чтобы только не видеть хозяйских этих, супружеских объятий.

Море, ритмично шумящее, вблизи которого все остальное: деревья, дорога, здания и даже гора, — делалось как будто меньше в размерах и значении, ночное море било водой о бетонные пирамиды, цепями прикованные к опорам набережной. Берег был пуст, и лишь время от времени ярко освещался сполохами салюта.

Хотя ветер с моря и остудил ему лицо, ревность жгла Годовалова изнутри, и он задыхался. Спуск с горы был совершен так стремительно, точно он слышал над собой не раскаты фейерверка, а настоящую стрельбу. И бежал как под перекрестным огнем, с тем ощущением, какое знал на войне: что стреляют именно по нему самому. Но там бежать надо было, чтобы уцелеть, а сейчас ему хотелось выскочить из самого себя. Тогда, выпрыгнув из траншеи и перелетая простреливаемую полосу, он на ходу выискивал глазами ту воронку, то углубление, куда можно залечь, схорониться в момент разрыва следующего снаряда. А сейчас сцена, которой он не мог вынести, стояла у него перед глазами, и, не разбирая дороги, он бежал к набережной, как раз в ту сторону, откуда палила пушка, навстречу огненным залпам. И, обрываясь с крутизны и в отчаянии повторяя «Как она может!», вдруг всем существом своим, и умом, и приморенной, как казалось ему до сих пор, не способной уже на чувства душой, и каждою клеткою плоти, он ощутил эту извечную трагическую связь любви и смерти. И понял, что готов убить Оспового, и еще — что хочет умереть.

Он несся вдоль набережной, по окраине приморского парка, откуда слышались визги и музыка, и выкатился к самой воде. Последние вспышки праздничной пальбы освещали море так ярко, что даже издали становились видны пузырьки воздуха в пене на гребнях водяных всхолмий. Пытаясь отвлечься усилием разума от того, что было так мучительно для него, он старался поднять в памяти все, что читал о дионисийстве. И хотя мысли мешались у него в голове, силли-

ся выстроить фразы внутренней речи таким образом, будто Алька могла его слышать.

Шагая по хрусткому песку и топча каблуками грязные от водорослей и обессиленные уже здесь волны, он тщился утихомирить в себе гнев, снова и снова возвращаясь к только что виденному. Его одновременно отвращал и завораживал примитивный эротизм праздника. Он понимал, что в этой сегодняшней пародии на Дионисии проявляются не просто пошлость и похабство, а какие-то глубинные свойства человеческой природы. «Но к Альке-то это все не может иметь отношения!» — уговаривал он сам себя. Ему надо было увести ее еще до начала всех этих хороводов! Надо было ей объяснить...

Объяснить, что праздник этот зародился когда-то в древности и имел характер массового психоза, который охватывал античные города, когда женщины, в том числе матери семейств, бросали все и стаями бежали в горы на звук низкотонной флейты. Растрепанные волосы, оленья шкура на плечах, жезлы, увитые плющом, но под листьями — троежальная пика, которую они пускали в ход, попадись им по дороге рабыня или чужестранец... Чего же они хотели, вертяться в диких плясках, носясь по зарослям и, в полном смысле этого слова, отдаваясь первому встречному? Чего вообще хочет женщина? Быть может, — пытался он повернуть свои размышления в другое русло, — оно, помешательство это, было наследием более ранней культуры, вроде критских женских радений, когда женщины специально доводили себя до иступления, о чем смутно написано у древних?

Эта догадка не уняла в нем негодования, потому что он вспомнил вдруг снова обращенные к Альке, плотоядные взгляды Оспового, откровенные, самодовольные... Да, хозяин, захочет и возьмет!

Фривольные речи за столом, пьяная похвальба начальников и бесстыдство заключительного танца, когда все уже были на грани, — все это сейчас до тошноты отравляло ему память, хотя какое ему дело до них до всех... А распущенность такого рода в древности и вообще не порицалась,

считалось, что эти оргии в честь Диониса должны принести урожай полям и виноградникам, — словно бы разъяснял он кому-то. — И женщины зазывали тогда Диониса: «Приди, бык-бык!», и ждали его в образе скотины, и статуи быков из бронзы воздвигали тогда в городах... А те вызолоченные монстры-быки, эта скульптура на крышах павильонов ВДНХ, может быть, тоже — доживший до наших дней образ того самца-производителя...

Он должен был бы Альке рассказать об ужасном, присущем этому культу духе кровавого разгула. Ведь центральным моментом такого празднества было ловля и убиение дикого животного, насыщение его свежей кровью, когда вакханки, — страшно себе это представить! — заживо пожирали козлят... Менада Скопаса, — вот что всплыло вдруг в памяти. Женщина с обломанными руками и ногами, но как бы продолжающая кружиться в вихревой пляске, когда желанье любви и оплодотворения превращается в жажду убивать...

Потом он вспомнил, что, согласно мифу, Дионис был растерзан своими же спутницами, боготворящими его менадами, и его вдруг осенило что, скорей всего, обряд этот восходит к тем архаическим временам, когда приняты были человеческие жертвоприношения, и в древнем ритуале погибал приносимый в жертву, разрываемый на куски человек! Пленник это был или раб? Или, как написано в одной дореволюционной статье, это был жрец Диониса, отождествляемый с самим богом? И, значит, совершалось коллективное убийство и, весьма вероятно, что в те дикие времена матриархата, которые и до сих пор так темны для науки, кровью не только животной упивались участницы действия! Сказано же, что доходило до растерзания женщинами своих же детей, первенцев своих! Ведь для рода, живущего земледельным женским трудом, младенцы-сыновья в будущем — лишние едоки...

И тут ему пришло в голову, что дионисийские оргии начались задолго до того, как в Греции стали сажать виноград и Дионис сделался богом виноделия. И дым от сжиганья смолы и конопли, и питье какого-то дурманящего варева, и вопли, и блуждающий взгляд, и то, что буквально «белая пена

струилась из неистовых уст на шафрановые хитоны», — все говорит о том, что было это не просто опьянение от вина, а какая-то наркотическая болезнь. Безумие, которое считалось безумием священным, богоодержимостью... И, как видно, ничто не дает таких радостей, какие дает распутство, когда, как и было сегодня, человек сбрасывает с себя гнет приличий и людских запретов! Но ведь она, Алька, совсем другая! Казалось, что другая, — мучил он сам себя, представляя, что там будет дальше... Впереди ночь!

Ведь изображение мужского детородного органа, этот главный символ Диониса, как он знал по археологическим находкам, когда-то был и среди девических украшений! Был, впрочем, и на уличных столбах-гермах, и в виде глиняных светильников... И большие фаллосы из известняка, которые нынешний директор музея гноит на заднем дворе, тоже тех времен... И снова видел он в воображении Оспового, полуголого, с атлетической грудью... И отчаянно, не щадя себя, повторял: «Конечно, что я для нее? Я — старый пень, а тот — муж, начальник, в своем праве...»

Он вдруг подумал, что состояние, в которое впадает человек при совокуплении, сродни сильному опьянению, безумию и даже смерти. Этот оскал страсти, почти хищный, почти устрашающий, этот одновременно волнующий, беззащитный и отвратительный для постороннего вид, какой имеют и мужчина и женщина в алкогольном одурении или в минуты соития... И такое состояние приобретает для человека ни с чем не соизмеримую ценность, как бы превращая винопитие и половой акт в священнодействие. Да, то, что он с Алькой пережил, было забвением себя, было на пределе самой жизни... Однако для него впервые это все стало, действительно, свято! Он больше не мог представить себе, что желание избывается просто как физиологический процесс, слишком многое ему открылось за эти дни. Но он забыл, кто он такой, сколько ему лет, потому что во время их встреч она никогда не говорила о муже. А муж — вот он! Первый человек в экспедиции и вообще... И он, Годовалов, выглядит в этой истории глупо, выглядит посмешищем... Неужели все так и

кончится? Неужели никогда больше не будет между ними уже ничего?

«Надо наукой заниматься», — произнес он про себя, сясь спокойно рассуждать. В нем, в культе Диониса, изначально включавшем в обряд половые отношения, было и явное пренебрежение условностями, и жестокость, и вседозволенность. Этот бунт женщин, принимающий крайние формы в своем демонстративном безумии и разврате, бунт жен, которыми после появления наследника пренебрегают мужья... И они, женщины, превращаемые браком в нечто вроде домашней утвари как будто мстят мужскому полу, мстят мужчинам, оставляющим их ради проституток, ради порно, ради кичащихся своею образованностью гетер... Разумеется, это стало опасным тогда для общественного порядка. Недаром обузданье этих проявлений сделалось в свое время государственной проблемой, а так как попытки отрезвлять безумствующих ни к чему не приводили, и пришлось официально установить в греческих полисах эти торжества, Дионисии, в которых оргии были вмещены в установленные формы, в праздники, открытые для всех. Для многих — единственный источник положительных эмоций, в том числе возможность есть мясо после того, как от жертвенных животных жрецы отделяют малость, чтобы положить на алтарь. И Годовалов заметил себе, что нашему простому советскому человеку, который имеет счастье съесть кусок говядины далеко не каждый день, понятна притягательность таких пиров.

Какой жалкой потугой представить древнюю фаллофорию был со всеми его скабрзностями нынешний спектакль, и в малой мере бессильный отразить тот подлинный обряд, который служил освящению совокупленья... И дифирамбы Дионису, и разыгрывание священного брака его с супругой архонта басилевса, когда во время зрелища, где люди были участниками, а боги зрителями, самая уважаемая матрона при всем честном народе торжественно садилась на бутафорский гигантский фаллос... А в пляске, ритмом близкой половому акту, все, и стар, и млад, доходили до счастливого самозабвения... Именно неистовство, исступление жизни придавало

в древности этим действиям религиозную форму, хотя, как можно догадаться, у кого-то и тогда это безумие было просто актерством, как и жесты страсти, только что разыгранные на экспедиционном празднике. Однако имитировать такой порыв и этот экстаз человеку почему-то хочется. И глиняные марионетки, трофеи Оспового, так потешающие сейчас публику, — с дырами в угловатых головках, через которые пропускались нитки, привязывавшие к хрупкому тельцу ноги и то, что между ног, — были не просто куклами для забавы, но атрибутами магического представления. Приводились в движение жрецами, и созерцание того, как дергаются фигурки, тогда, определенно, не вызывало никакого смеха. Это в позднее римское время пришло понимание женско-мужских отношений как чего-то вульгарного, а вакхические игры свелись в конце концов к пьяным безобразиям, вроде тех, что описаны Петронием.

Он миновал выходящий к морю детский городок с огромным «чертовым» колесом, которое зловеще торчало на безлюдном берегу. Аттракцион этот, в строительство которого немало, как видно, было вбухано денег, никогда не работал. Как говорили, из-за ошибки в проекте колесо при вращении могло упасть.

Казалось, совсем забыв о событиях сегодняшнего вечера, он остановился и, поворотив к морю лицо, глубоко вдыхал йодный воздух. Крутая бесшумная волна, внезапно навалилась, залила его почти до колен, и он, остолбенев над оголившейся затем песчаной отмелью, с щемящей болью в груди, вдруг сказал сам себе вслух: «Все! Хватит! Не по Сеньке шапка!», решив, что все кончено, надо задавить в себе эту блажь и не трогать чужой жизни.

Ему как будто стало легче, и он старался думать совсем о другом, о той меланхолической ноте в культе Диониса, которая породила и печаль, и просветленность лиц, и эту мину безнадежной покорности судьбе в изображениях эпохи эллинизма. Главный акт дионисийского обряда, убийство бога, как будто навечно запечатлелся в той маске скорби, которая всегда связана с вожделем. «Угрюмый, тусклый огонь желанья», — вспомнилось ему сейчас, вспомнилось, как показывали в запас-

нике музея большую чашу с фигурным рядом по окружности: ползущие на коленях женщины глядят снизу на распаленных, со вздыбленными членами стоящих над ними сатиров... Лица женщин сосредоточены и уж никак не веселы...

Из своего опыта войны и долгого воздержания знал он это неотступное стремление. Там, на передовой, где все угнетены близостью смерти, среди тех, кто мерз в окопах, женщина была сестрой, и неприкосновенность ее подразумевалась. В краткие часы передышки между обстрелами мысли его, воображение молодого здорового мужчины, случалось, было занято нецеломудренными видениями. Не принято тогда было говорить о такой своей солдатской обделенности, хотя шутки на эту тему звучали постоянно... Те, что сидели в простреливаемых траншеях, рыли землю и прошли пешком сотни километров, бывало, все четыре года войны не знали женщин. Но в то же время война высвобождает инстинкты... Чем дальше в тыл, тем циничней проявлялось отношение к женщине. Когда призваны были на фронт в качестве радисток и санитарок женщины до двадцати пяти лет, — а немало было и девчонок, рвавшихся в действующую армию, — кое-кто решил, было, что только для того их и присылают, а пренебрежительное название «ппж» (походно-полевая жена) оставалось привычным и после войны.

В лагере, где все плотское ограничивается лишь заботой дожить до окончания срока, казалось, что ничего подобного и в голову не могло прийти. Ничто тогда не зажигало в нем мужского начала. Только иногда ночью в бараке он звал безмолвно: «Вита, Вита!»... Невеста его, оставшаяся в Ленинграде и не отвечавшая на письма, непонятное ее молчание... Но тут ему вдруг вспомнилась одна блатнячка, лицо ее с крупными синими точками татуировки на выщипанных бровях, с очерченным наколкой же пунцовым здоровым ртом, лагерная девка...

Он задумался о том, что же при всей пошлости происходившего на празднике роднит это беганье, и крики в темноте, и непристойные телодвижения, которые так увлекли всю экспедицию, с теми, до потери ума, плясками, с теми

ритуальными безумствами, экзотические подробности которых никогда уже, по-видимому, и не узнать. Ведь лишь потому и стали известны некоторые детали вакханалий, что ранние христиане в посланиях своих порицали эти греховные игрища. А до нашего времени отзвук того, древнего сумасшествия докатился названиями половых извращений.

Ему пришло на ум, что, как и теперь, в те далекие времена людей томила потребность в сильных переживаниях. Во время оргии одинокий человек был со всеми, со многими, отождествляя себя со всей этой человеческой общностью, под покровительством чего-то иррационального. И нынешние молодые атеисты, как и язычники с их примитивной религией, мучаются взысканием, может быть, некоего внеродственного братства и тех экстатических состояний, которые, хоть и по-особому, но все же знало его поколение, фанатически приверженное революции, этой новой вере, как он понимал теперь, — какому-то новому язычеству. И показная распущенность этих безбожников: и полных мускульной силы студентов-землекопов, и зрелых разочарованных мужчин, его коллег-археологов, — это тяготение к темному и животному (отприродному!) в себе и в мире, как и у людей древности, вероятно, было искаженной потребностью чего-то мистического. Искали единения с высшей силой, а впадали в экстаз порока и беснования...

Не чувствуя усталости, он быстро и почти не замечая хлюпанья воды в обуви, прошагал несколько километров вдоль диких пляжей, и море равнодушно таскало туда-сюда окатанную гальку, и гремящий вал обломков то сдвигался за отбегающей волной вниз, то снова рос в высоту у берега.

Море, эта родная для греков, дружественная стихия, водный тракт, который некогда связывал каждое черноморское поселение со всем античным миром, величественно и громко дышало. И его шум, в котором различались даже всплески от скачков отдельных камней, как-то умиротворял Годовалова, успокаивая то мозговое напряжение, которое разламывало ему изнутри черепную коробку. Годовалов постепенно остыл, впав в состояние ипохондрии, и тащился по берегу, с трудом передвигая ноги.

Он вышел туда, где нет никаких домов, и только маяк на мысе, раздолбанный до основания в войну, но снова высоко отстроенный, ворочает свои зеркала. И, глядя на плети водяных растений, колышимые волной почти у самых его ступней, и совсем отвлекаясь от прежних мыслей, он подумал о том, как свободно выходили когда-то в море греки на своих триерах и проходили тот морской путь, который теперь нам начисто заказан. Во всяком случае, стоит отплыть на даже и зарегистрированной лодке чуть дальше от берега, пересечь какую-то, ничем не означенную границу, как тут же тебя загребут — береговая милиция на моторке или катер пограничников. Получалось, что связь Причерноморья с Грецией в те далекие времена была гораздо естественнее и доступнее, чем в нынешние.

Он и не мечтал побывать в Греции, увидеть то, о чем читал. Можно было, конечно, пробиться в специальную поездку, но чтобы тебе выдали заграничный паспорт, пришлось бы проходить процедуру так называемого утверждения характеристики, а потом идти в райком с этой бумагой, удостоверяющей: «политически грамотен, морально устойчив, идейно выдержан». И там перед лицом ветеранов КПСС и партийных сытых теток выдержать некий экзамен, когда могут задать вопрос и из текущей политики, и о личной жизни, и изгаляются над каждым, кого тянет поглядеть за границу.

Зная все это, он не решался на такой шаг, для него всякие проверки были небезопасны.

Для Альки настали дни такого счастья и жизненной полноты, которых она от судьбы своей и не ждала.

На другой день после праздника, в знойный послеобеденный час, когда никто носа не высовывал из-под навеса, она ушла бродить по окрестностям, но спустившись на нижнюю террасу, встретила вдруг Годовалова, пришедшего сюда по другой лестнице, хотя они ни о чем не договаривались. Он увидел ее, и сразу же то, что мучило его, что не давало ему уснуть ночью, и упреки его ей за все, и ревность его мгновенно рассеялись.

Потом они шли вдвоем по знакомым улочкам, которых она не узнавала, так преображалось все от одного присутствия человека, которого любишь. На извилистую дорогу наивными окошками глядели особнячки, невысокие, но на удивление точно выдержанные в стиле классицизма, правда, похолодачки и выбеленные с синькой. Показывая, как увязаны лестницы и улицы девятнадцатого века с трассами античных стен, Юрий Петрович что-то говорил, но над горой витал запах кориандра, который сводил Альку с ума.

— Пласты античности доходят до нескольких метров, а средневековый слой совсем тонок, сплошная зола, — выводя ее снова на раскоп, рассказывал Годовалов и только руками разводил. — Что за народ такой тут прошел — ничего после него не осталось, никаких вещей, одни скелеты... Все унесли с собой неведомо куда.

Улицы античного города, подрезавшие горизонтально склон возвышенности, были не шире двух метров. Они соединялись между собой короткими крутыми переулками. Если расставить ноги, — вот такой ширины был порой этот переулочек с черепяной вымосткой. Альку поражало, как невелики были внутри древнего поселения «усадыбы»: дом площадью не больше нынешней однокомнатной квартиры и занимающий почти половину земельного владения двор, выложенный известняковыми плитами.

— Помещения под кровлей только для ночлега, — говорил ей Годовалов. — Вся жизнь — на площадях и стадионах.

По бытовым следам читал он особенности древнего жителя, когда зерно ссыпали в пифосы или ямы, выдолбленные в скале, и запасы здесь хранились такие, что Боспор кормил пол-Греции; когда сюда везли морем масло, вино, украшения, лампы и вазы; когда в храмах курился благовонный фимиам, и эта восточная провинция роскошью превосходила метрополию. А для спасения от уличного зловония, у каждого имелся алабастр, сосуд для ароматических веществ, который можно было подвешивать на шею или на стену.

Чего-то из того, о чем он говорил, томящаяся от солнечного света Алька до конца и не разумела, не разделяя его волнения из-за подобных вещей, слишком давно все это было.

Они пересекли дворик, как видно, некогда окруженный колоннадой, и Юрий Петрович объяснял, что города, основанные здесь приплывшими на кораблях жителями разных греческих полисов, хотя и обретали скоро полную независимость, но продолжали жить по законам своей родины. Освобождая ее от избыточного населения, давая прибежище изгнанникам, образованный на новом месте город-двойник сохранял и особенности государственного устройства, и обычаи, и религиозные традиции. До сих пор жил здесь дух Древней Греции, именно Греции... Хотя и осталась от римского периода циклопическая кладка, и вылезала из откоса холма перерубленная керамическая труба водопровода, жизнь этой территории и после завоевания Римом, и после включения в Понтийское царство сохраняла черты древнегреческой культуры.

Обломки цветной штукатурки пестрели здесь и там в отвалах. Альке сложно было и вообразить те времена, когда знать строила себе здесь дома, украшенные мрамором, мозаиками и стенными росписями, а высокие медные статуи служили громоотводами; когда граждан из Причерноморья приглашали в Грецию на празднество Великих Панафиней... И сами они принимали здесь у себя гостей, в том числе жриц, воспитанных в элевсинских храмах...

Тут ей и было рассказано о склепе с женскими фигурами: — Само подземелье, наверно, тайное храмовое помещение, но самое интересное, что в пещере этой на стенах как будто зафиксированы правила ритуала и даже, я думаю, заключительный момент Элевсинских мистерий.

Алька узнала, что участие в таинстве, посвященном Деметре, требовало длительной подготовки, поста и особого торжественного настроения. Тогда запрещено было записывать словами последовательность религиозных процедур, наверно, поэтому все и было нарисовано на известняке как руководство боспорским жрецам на случай, если непосредственная связь с метрополией прервется. А Годовалов, увлекаясь темой, рассказывал дальше, что в главной подземной картине это все — осенние радости мистерий, упоение живой жизнью после приобщения к тайне, после встречи со сверхчеловеческим. Это не оргия, не пляска вакханок и вакхантов, посвященная божествам размножения, а плавный, целомудренный танец, в котором участвуют одни женщины. Должно быть, это реальные участницы мистического действия и та губастая плясунья-девочка среди взрослых подруг, которая всем своим видом выделяется среди типичных гречанок, — прибывшая в храм особого положения девушка, возможно, даже царского рода. О том, как похожа девочка с фрески на Альку, Годовалов ей не сказал.

На одном старом квадрате раскопок, которые вели тут еще до войны, вырос шиповник, единственный высокий куст на целом склоне. Он стоял, ошестинив колючки, с торчащими сверху краснеющими ягодами. Возле шиповника, пригнувшись, они поцеловались и пошли вдоль каменных желобов, по которым в дождь так же, как две с лишним тысячи лет назад, бежит вода, отводимая с террасы на террасу к подножию горы, туда, где виднеются в брошенной траншее гипокаусты древнегреческих бань.

Они уже не могли обойтись друг без друга, и теперь каждый день ухитрялись тайком, порознь сбежать вниз, чтобы потом встретиться в условленном пункте. В жаркие часы обеденного перерыва, когда члены экспедиции спали или

проводили время в тени на дворе базы, они устремлялись к развалинам восточного склона и, опьяненные новизной ощущений, безмолвно сидели рядом на каменном обрыве, сцепившись руками, но скоро нашлось немало мест, чтобы уединиться.

Они прятались в гроте, где всегда было прохладно и старое кострище на полу взметало облачка пепла, когда они бросались друг к другу. Сидели на корточках висок к виску в полутемном блиндаже с серыми холодными стенками. Обнимались среди руин базилики на берегу, один угол которой уже съеден был наступающим морем, обмениваясь поцелуями над каменной купелью с изображением лилии. Как в колыбель, ложились они под солнцем на сухое дно заброшенного античного бассейна, на теплые, изъязвленные камни, и Годовалов спрашивал ее голосом, тускнеющим от желания: «Тебе нравится в нимфее?» Странно, что никто их ни разу не застал.

Отношения с Алькой давали то ощущение родства, которого ему так не хватало, ведь по возрасту, он вполне мог быть ей отцом. Но самыми потрясающими для обоих были те минуты, когда он на миг отнимал от ее рта свои губы и произносил какие-то слова — неразборчиво, как ребенок, едва научившийся говорить.

«Я тебя хочу. Ты меня любишь?» — это она научилась различать. Но было и другое, когда он энергично шептал, словно в каком-то забытии, клятвы и уговоры. И среди фраз, которые она понимала («Ты будешь со мной? Мы вместе?»), вдруг слышала: «Ты меня похоронишь!» Он вообще часто думал о смерти и, вопреки неприличию упоминать эту тему публично, не избегал таких разговоров, и в окружении Альки был единственным человеком, который умереть не боялся.

В эти часы после полудня, забывая о том, что одновременное отсутствие обоих на обеде может их выдать, и как будто вычеркнув из памяти все жизненные обязательства, кроме своей любви, обессиленные поцелуями, они дремали на ложе из вялого бурьяна, в тени древней стены, где ряды каменных блоков перемежаются красными полосами византийской

плинфы. И он снова думал о связи любви и смерти и о том, что опасность подстегивает вожделение. И знал теперь эти мгновенья торжества, связанные с воспроизведением жизни, когда сплетаются инстинкт поглотить другого человека во всем его естестве и стремление отдать всего себя. Он знал, что, когда наступает в единении двух людей это наибольшее напряжение бытия, то в наслаждении, лишаящем рассудка, когда человек на несколько мгновений становится совершенно бессилён, есть некое подобие кончины. И это временное помрачение разума роднит любовный экстаз и смерть. Мы не говорим «безумно иду» или «безумно работаю»... Но говорим «безумно люблю», «безумно боюсь», «безумно ревную». «Безумная радость» и выражение «умереть от счастья», безусловно, точны.

Именно здесь, на пустынных склонах, где только невзрачные, в цвет выжженной травы, легкомысленные бабочки были свидетелями этого их упоения друг другом, хотелось откровенно говорить обо всем и каждому перед другим себя выказать.

Когда она задала вопрос, страшно ли на войне, он отвечал:

— Нет, все было бытом, даже смерть. Наверно, страшно десанникам прыгать с парашютом, но я не прыгал.

Действительно, когда он был там, на передовой, он почти не осознавал опасности. Постоянно находиться под огнём, двигаясь в сети траншей, для него стало привычным делом. При службе в пехоте он никогда не имел при себе практически никаких документов. Это придавало ему тогда спокойствие узаконенной безмянности. Когда же до ранения он был в танковом полку, в нагрудном кармане куртки у него лежали красноармейская книжка и капсула-медальон, маленькая, завинчивающаяся трубочка из эбонита, а там — бумажка с его фамилией. Тогда он носил с собой и кое-какие личные бумаги, но потом они пропали. Лишь после войны он услышал, что в германской армии у каждого солдата был опознавательный знак, именной жетон. Говорили, что если солдат погибал, жетон переламывали пополам, одна поло-

винка отсылалась родным, а другая уходила с погибшим в могилу.

Вообще-то у Альки было представление о фронтовиках, о пришедших с войны, как о людях, особо мужественных...

— Считается, — говорил он ей на это, — что с войны приходят выносливые, возмужавшие мужчины. Да, может быть, и так... Но чаще — усталые, более неуравновешенные, более уязвимые, чем те, что не воевали, а зачастую — и тяжелые неврастеники... При этом, пойми, те, что попали на войну мальчишками, так и задержались в развитии на уровне семнадцати лет. Вернувшись, не были достаточно зрелыми, медленно привыкали, в житейском плане зачастую оказываясь наивнее тех, кто по возрасту был моложе и не воевал. Опыт был боевой, военный, общительность — особого рода, непригодная для обычной жизни.

И добавил, набывчившись:

— Когда мы вернулись, мы были никому не нужны. У многих не было жилья, а значит, и прописки, а без прописки не устроишься на работу. Все давно занято было теми, кто ни на какой войне не был... Даже празднование Дня победы Сталин отменил, это уже при Брежневке стали снова его отмечать.

Он любил пересказывать ей то, что читал, что запомнил из древних авторов, и в невежестве своем она только кивала головой, испытывая радость не столько от того, о чем он говорил, сколько от звука его голоса, особой доверительной интонации и самого произнесения слов.

— По Фукидиду известно, — волнуясь, говорил он, — какие длинные речи произносят военачальники перед войсками, чтобы «возбудить к битве». В «Илиаде» и у Ксенофонта — целые страницы! Громким голосом, скача на коне мимо выстроенных воинов. Потому и длинные, наверно, что надо было непрерывно говорить на протяжении всего этого войскового строя. Ничего подобного у нас не было, — снова сбивался Годовалов на свое. — Случалось, и матом поднимали в атаку. А зимой, перед наступлением, перед боем, тем более, давали водку. С войны многие пришли алкоголиками. Не

все, конечно! Зимой, в холод положены были, как известно, «наркомовские» сто грамм. От ста граммов особенно не сопьешься. Другое дело — командиры рот, командиры батальонов. У них, тем более у комбата — связной, ординарец, во фляге у которого всегда есть что-то в запасе. На роту, скажем, отпускают человек на сто, а в живых, хорошо, если половина останется. Так что фляжка редко у какого ординарца была пустой. Спивались не на войне, а потом, потому что появлялась зависимость! Уцелев на войне, многие из-за этого погибли после войны. Все это далеко не так просто, как кое-кому теперь представляется...

В те же дни состоялся у них с Алькой очень серьезный разговор, Годовалов пересказал ей то, что удалось, несмотря на глушилки, услышать по «Свободе». Алька жадно его слушала.

Годовалов говорил о войне и о Сталине, как легко тот присваивал чужие заслуги, а за проигрыши свои никогда не отвечал, как сыграл на патриотизме в войну:

— Чего стоит один только этот его призыв вдохновляться примером наших великих предков! И Александра Невского вспомнили, и Дмитрия Донского, и Минина с Пожарским... Тут и русские исторические традиции пригодились. Первым делом восстановил в армии прежние воинские звания, командиры стали офицерами, красноармейцы солдатами, упразднили комиссаров, новую форму ввели по образцу дореволюционной армии. Я сам все это видел, сам переобмундировался в сорок третьем. Тогда же вдруг признали церковь. Здесь очень помогло то, что Сталин в семинарии учился когда-то. Из лагерей извлекли последних архиереев, еще не убитых, которые имели право выбирать на патриаршество... Понимал, сволочь такая, что без веры не выстоять в войне, тут же сориентировался, когда приперло! Да и как можно было политэкономии идеологией сделать! Вот, Карфаген, например, тоже был одержим одними экономическими идеями. Изготавливали на продажу идолов для других верований. Очень цинично — платят и будем делать, потому что выгодно! Но, распространяя изображения чужих богов по всему

свету, они тем сам укрепляли враждебные Карфагену религии... И Карфаген был разрушен...

Годовалова давно занимало: почему не было за все это время попыток устранить Сталина физически, просто убить? Народ не смог породить из себя мстителей, подобных тираноборцам древнего мира. Здесь была полная покорность, согласие осужденных на принятие смерти, иногда чуть ли не со словами «Да здравствует!...». «Гуталин», как звали Сталина в лагерях, вовсе не был отыгранной фигурой и до сих пор. Переломав столько человеческих судеб, он остался в жизни каждого советского человека, и остался не только в памяти, а как будто и в самой природе, в психологической сущности подвластных ему, что, казалось, и теперь еще в людях не было изжито.

Он думал и о той истовой преданности, о той почти истерической любви к вождю, которую порой отмечал как раз в детях «врагов народа». Тот самый человек, волей которого погублены были отец и мать, нередко вызывал в сыновьях и дочерях репрессированных какой-то восторг преклонения. Уверенные в невиновности родителей и объясняющие их осуждение ошибкой, а то и происками врага, те, как правило, не связывали посадок именно со Сталиным. Когда кругом насилие, то у человека вырабатывается защитный рефлекс — подчиниться силе добровольно. И порою Сталин, этот великан истории, как называли его, отождествлялся с родным отцом. Более того, как самый сильный — с Богом-отцом! И к нему возникала искренняя сыновняя привязанность, религиозная верность.

Обычно он звонил домой Жанне часов в семь, возвращаясь с раскопа, когда на почте никого не было. По виноватому тону, который вдруг появился у него в голосе, она, жена его, почувствовала, что с ним что-то происходит.

Жанна, фронтовая медсестра, демобилизовавшись, сравнительно быстро излечилась от того психического напряжения, которое выматывало ее фронтовых подруг много лет и после войны.

Ее поражало, как цинично и несправедливо порой относятся к ним, вернувшимся с войны девушкам, как опозлены представления людей о женщине на войне, о фронтовых связях, хотя в официальном плане уважение к женщинам, прошедшим фронт, неизменно демонстрировалось. Жанну возмущало, что какая-нибудь сволочь, всю войну просидев в тылу, в шутку называет награду «За боевые заслуги» (которую давали не за просто так, а за непосредственное участие в боях) медалью «За половые услуги», если ею награждена женщина. И с годами многие из по-настоящему прошедших войну женщин стали скрывать свое военное прошлое, не признавались, что были на фронте, и даже медали свои фронтовые прятали, а одна, как говорят, даже зарыла их в землю, и такой случай был. Но в глубине души и Жанна, и ее однополчанки, хотели они этого или не хотели, все еще жили теми воспоминаниями. Для многих из них теперешняя жизнь, казалось, была лишена жизненной остроты, к которой они вынужденно привыкли на фронте. Долго еще после того, как война закончилась, они будто и не могли существовать без нее, без войны... Как признавалась одна из подруг Жанны, сейчас, на шестом десятке лет, только футбол возвращал ей отчасти то ощущение азарта и дерзости, которые знала она там, на войне. И ходила на стадион, ходила смотреть футбольные матчи.

Жанне однажды пришло в голову, что женщина не так ведет себя на войне, как мужчина. Мешает некий животный

запрет, потому что нельзя убивать той, кому предназначено рожать человеков. Одна ее знакомая, которой довелось пройти войну в женском авиаполку, говорила ей, что на вылете она просто действовала по приказу. Бомбить, просто бомбить квадрат, место на карте, просто строчить из пулемета по машине, по самолету — это можно. Другое дело — стрелять или бомбить, видя живую цель...

Жанне в свое время было удивительно узнать, что там, на войне, обычными болезнями почти никто не болел. Правда, у многих, если не у всех, был хронический насморк, распухший нос, воспаленные глаза, но все это было так, пустяки. Это потом, после войны повалились — от ран, от усталости...

Она не понимала, почему все эти больные и перекалеченные люди, инвалиды давно окончившейся войны, все еще, — сначала дважды за год, а теперь раз в году, — должны были проходить переосвидетельствование. Это относилось даже к тем, кто был без руки или без ноги, кто лишился глаза. Однажды на очередной комиссии ей случилось услышать: «Что, рука не отросла?» — спрашивал один другой с усмешкой. «Уже отрастает понемногу», — отвечал тот, что был без руки. Жанне казалось порой, что жизнь на войне в человеческих проявлениях была куда нормальнее, чем та, которую она видела теперь.

Сам Годовалов, получив вторую группу инвалидности после госпиталя в сорок пятом, так ни разу и не проходил потом ВТЭК, отказываясь от этого всячески. В университете не принято было объявлять о своих ранениях, потом, в лагере, это никак не учитывалось, а дальше судьба так повернула, что любых комиссий он избегал, боясь привлечь к себе внимание.

Долго еще после демобилизации, стараясь забыть все, что испытал, стремился он уйти от тех кошмаров, которые будили его по ночам, от внезапно одолевавших его слуховых галлюцинаций, когда вой орудий, с войны запечатленный в мозг, разрывал ему барабанные перепонки...

Он думал почему-то, что чтение древних авторов отвлечет от всего этого. Однако и в «Илиаде», которую взял он в би-

блиотеке и читал песнь за песнью, чтобы стереть из памяти все пережитое на фронте, снова вычитывалось то самое, чего не хотел он помнить. Кровь, смерть, борьба самолюбий и эта особая раздражительность в человеческом общении. Это соперничество предводителей в стане греков-союзников, эти гневные укорительные монологи и эти мужские словопрения, которых насмотрелся он и на своей войне...

Провоевавший четыре года, читал он о последних днях осады Трои, а видел свое. Как отдают приказ, и дрожь одолевает всех в преддверии сраженья, как «непрестанно, толпа за толпою, данаев фаланги в бой устремляются», и поверх текста, перед глазами его, возникал угрюмый строй солдат в серых тяжелых шинелях... «Столько народа идущего в груди имеет ли голос?». И он вспоминал, как двигались они зимой по дороге — молча, с отрешенными лицами, не делая ни одного лишнего движения и даже не стряхивая снега, так что на плечах у каждого были белые нетающие горки. И в другом месте поэмы, в описании битвы, будто слыша со страниц «победные крики и смертные стоны воев губящих и гибнущих», — он повторял сам себе: «Правда, правда!».

И здесь, в «Илиаде», воспеваящей войну, хотя рассказанное и происходило задолго до дней самого автора, Годовалов поражен был не только разнообразием смертельных ощущений, но и точностью их воспроизведения в слове слепым аэдом. Копье, воткнувшись в плечо, протыкает насквозь все туловище, даже пузырь над лобком; стрела вонзается между глаз, и умирающий чувствует ее и во рту; дротик поражает в пах, так что отказывают ноги и тело сводит судорога... Он старался вникнуть в подробности тех древнейших сражений, где использовалось примитивное оружие: медножальные пики, топоры и пращи... Но там, где Гомер разворачивает картину побоища и с велеречивой горечью описывает финал героев той войны, которым «проткнули утробу» или тело «близ десного сосца», — будто видел своих товарищей, раненных в живот и в грудь. И те «кровавые туки», которые, казалось ему, струятся со страниц «Илиады», хорошо знал сам, из своей жизни... Так, будь то где-то в поле, прямо на земле,

или в палатке брезентовой, лежали раненые... Одни еще не-обработанные, а другие — с толсто обмотанными головами, как еще там, на передовой, забинтовали их девчонки из медсанроты.

Все совпадало: и жестокость, и грабеж побежденных, когда «за ноги тащат» поверженного врага, «чтобы латы со-влечь». Однако, в гомеровом повествовании, в поэме, где вся заваруха произошла из-за женщины — из-за Елены, из-за ревности ее мужа, спартанского царя Менелая — и тысячи людей погибли, согласно легенде, из-за «одной жены» и «ложы срама», автор был как-то снисходителен к своей героине. Ибо все, считали греки, предначертано роком... Но, уже по-марксистски подкованный, Годовалов знал, что Троянская война на самом деле велась за торговые пути, за важное в стратегическом отношении место. И уж, конечно, не потому, что Зевс решил, будто людей на земле расплодилось слишком много, как в духе какого-нибудь Мальтуса говорится о том в поэме... Просто-напросто Троя, это яблоко раздора между Востоком и Западом, была ключевым портом для выхода к Черному морю, рынкам сбыта и хлебным степям.

Но было нечто такое в древнем эпосе, что хватает за сердце. Прощание Гектора и Андромахи, например, когда их маленький сын напуган боевым нарядом отца-полководца, блеском оружия, «гребнем космато-власатым, закачавшимся сверху шелома»...

Сжившись с героями «Илиады» и «Одиссеи», он до-слеживал их судьбы, судьбы их детей в пьесах Еврипида и Софокла, и неожиданно для себя открыл, что так же, как у нас после войны, когда вернувшиеся тешили себя надеж-дой, что все позади, что наступает другая, новая жизнь, оказалось, что проблемы только начинаются. Война разру-шала семьи, хотя об этом и не принято было говорить. И жены не все были, как Пенелопа, не все так верно ждали своих мужей, и не все мужья были на войне верны своим женам. Случалось, что у кого-то складывались там отноше-ния с другой женщиной, и в прежнюю семью человек уже не возвращался. Так как люди в войну годами не виделись,

они переставали понимать друг друга, и супружеская жизнь, жизнь семьи разваливалась. Годовалов и сам видел, как завязывались на фронте романы. И не один раз убеждался он потом, насколько крепка фронтовая любовь.

Так, как он знал эту войну, лучше б ему не знать ее! Опыт, полученный тогда, не мог иметь применения в новой его жизни, но, тем не менее, он и до сих пор еще внутренне не успокоился, постоянно возвращаясь к пережитому, и ему надо было выговориться. С Жанной не имело смысла об этом говорить, ей и так это все было известно.

Он рассказывал Альке то, о чем никто его не спрашивал, потому что никто ни о чем об этом не хотел знать (такие воспоминания только раздражали окружающих). Что когда они отступали в первые дни после нападения и шли группы наших солдат, уже потерявших свои части, то немецкие войска двигались по параллельным дорогам... А командиры наши шли в одной колонне с рядовыми, как простые солдаты, и никто не брал на себя ответственности, не командовал людьми, ждали приказа, а его не было... Что под огнем у всех солдат одинаковое выражение лица... Что при артподготовке такой стоит грохот, что люди не слышат друг друга и объясняются жестами... Что Берлин солдаты называли Бёрлин до того, как пришли в него... Что все они были одеты в истрепанные, затертые и прожженные цыгарками телогрейки... Что после победы, в том же Берлине у наших солдат очень легко начинались связи с немками и, как рассказывали, переспав с женщиной, можно было вдруг услышать от нее удивительное и неожиданное: «Данке шон!» или даже «Шон данк!»

— Их принуждали? — спросила Алька.

— Было и это, война есть война. Было все, и изнасилования, думаю я, конечно же, были, но сам я этого не видел, чаще все-таки по взаимному согласию. Ведь мы пришли как победители, а к победителям у женщин особая тяга, и они часто не скрывали, что сами хотят этого. Что говорить, много там народилось детей от наших, как и на Украине — от немцев!

Но дальше распространяться он не хотел, берег ее от того, чего не мог забыть сам. Нельзя этого рассказывать! Говорят,

что это была война артиллерии, война огня... А он помнил и то, как прорываются танки, — белые танки в черном от копоти снегу, — идут по людям, и танк весь в крови, куски, отонки человеческой плоти на броне...

— Раны израстают, — говорил он ей, стараясь переменить направление разговора, — если поранена часть мышцы, а кость не задета, вырвана только мякоть, с годами все зарастает, — медленно, постепенно, — рубцуются, но шрам остается. Тяжелее всего контузия, это огромное сжатие всех внутренних органов, это никогда не изживается, последствия на всю жизнь.

— В госпиталях, — рассказывал он, — морфия не жалели, кололи обезболивающее, многие к этому привыкли, и потом уже требовали укола.

И вспомнил случай в поликлинике после войны:

— Сижу в кабинете врача, вдруг вламывается человек с криком: «Скорее!» Врач просит подождать, он занят, он принимает, но у того руки ходят ходуном, страшно возбужден, и требует срочно выписать ему морфий. Странно, что мучения физические можно выдержать, мы, мужики, и не такое терпели, а психологическая зависимость — природа ее неизвестна — остается непреодолимой, невозможно от нее освободиться. Но война, она — тоже наркотик! Когда в руках оружие, мужчина ощущает себя мощным как никогда. Это ни с чем не сравнишь, эту обретенную вдруг силу, хотя сила эта — кажущаяся. А то состояние, в котором человек живет на войне, не отступает так быстро и после войны. Из него не так просто выйти! Неужели ты думаешь, что те, которые стреляли и убивали, вернулись с войны нормальными?

И, прерывая сам себя, Годовалов сказал: — Не слушай, хочется это забыть!

У Альки замкнулось дыхание...

А он продолжал: — В то же время бытует представление, — что если кто перевоевал войну, был на фронте, то такой человек ничего не боится, этакая бесчувственная дубина. А многие, когда вернулись, не умели иной раз по-настоящему

и постоять за себя. Ты пойми, — говорил он ей, — с войны пришли люди, которые разное помнят, люди, у которых разный опыт и разная психология. В траншеях, «на передке» — это первый эшелон. Неделя, месяц, а потом тех, кто уцелел, отводят. А кто-то и не участвовал ни в каких боях, застрелывал в запасных полках, во втором и в третьем эшелонах, там тоже нужны были люди. Война, это такая штука, что за каких-нибудь десять-двадцать километров от передовой все по-другому — лес, тишина, стрекочут кузнечики...

Для нее это все было странно и неожиданно.

— Поколение двадцатого-двадцать первого года рождения, — рассказывал Годовалов, — было выбито практически все. Одни погибли в боях, в окружении, другие попали в плен. Тех, кто с двадцать четвертого, двадцать пятого, уцелело гораздо больше. По сути, у каждого из нас была своя война...

Его не оставляла мысль, что страна эта обречена и обречена уже давно, еще с тех пор, как в первую мировую самых здоровых и крепких бросили в окопы, погнали на смерть. И урон этот уже никогда больше не восполнится. А скольких еще пожрала гражданская война, когда сложившаяся за столетия, многочисленная нация истребляла сама себя... И финская, позорная, на которой столько выморозили, столько положили молодых... Он знал, что таких людей, какие погибли на этой, на последней войне, уже не будет, не будет никогда!

По-видимому, что-то сходное произошло и там, в Греции, после Троянской войны. На войну уходили самые доблестные. Одни были убиты, другие просто не добрались, не доплыли до дому, умерли по дороге. Возвращение из-под Илиона затянулось более чем на десятилетие, и там, на их родине, это привело к большим переменам.

— Если бы мальчики нашего поколения вернулись с войны, страна была бы сейчас другой, — сказал он как-то.

Однажды, удрав от своих, в воскресный утренний час, когда все спали до полудня, Алька и Годовалов, как уже повелось, пошли с верхней площадки горы вниз по лестничным спускам, соединяющим параллельные участки эспланады.

Выступы скалы, впадины в земле от вырытых в войну окопов и траншей, заплывшие землею, но до сих пор видимые воронки от бомб, пожухлая трава, котлованы археологических раскопок, в ходе которых переместили с места на место сотни кубометров грунта, — все это лежало сейчас перед ними.

Жилые постройки и сараи располагались вдоль улиц-террас, торцами примыкая к подпорным стенкам вышележащих уступов горы. Сверху глядя, казалось, что один дом построен на крыше другого.

Дома здесь никогда не ремонтировали. Люди жили в строениях с обшарпанными стенами, крыши текли, но сами жильцы ничего не делали, а только писали жалобы в горсовет. Если бы они и решились своими силами что-то сотворить, хотя бы, например, наняв кровельщиков на свои средства, им этого не позволили бы. И рабочие без приказа начальства не имели права вести ремонт. Постройки же эти подлежали сносу только достигнув определенного процента износа, так что люди терпели сырость и гнилой запах, надеясь, что вот-вот их выселят из аварийного помещения и дадут отдельную квартиру в новостройке. И лишь Осповой уверял, что народ отсюда выезжать не хочет, а парни в случае сноса родных жилищ «в ножи пойдут». Он весьма преувеличивал привязанность к своим развалахам здешних жителей, которые зимами вечно мерзли в продуваемых ветром домах из ракушечника и устали от хлопот о топливе, о машине угля, которую каждая семья должна была сама для себя выбить.

Сейчас во дворах, увитых плетью винограда, стояли жаровни — железные противни на ножках — и хозяйки жарили

хамсу, обваливая в муке мелкую рыбешку и переговариваясь громкими голосами, потому что соседние дворы были один над другим в разных уровнях развертывающихся по спирали старинных улиц.

Кое-где над переулками нависали известняковые выступы, бесформенные и грозящие обвалом, это были остатки римских укреплений, угловые каменные бастионы.

Они вошли в маленькую церковку на горе, где было лишь несколько женщин, но, несмотря ни на что, серьезно совершалась служба.

Переходя от дверей к алтарной выгородке, Годовалов задел лампадку, и масло потекло ему на голову. Это было обыкновенное вазелиновое масло, но женщина, как видно, храмовая служительница, подбежала к нему со словами:

— Не стирай, это елей на голову Аарона, благодать Божия!

И в православном богослужении жил до сих пор греческий мир с его обрядами и театральными представлениями. Порядок и стиль службы, эти литургийные входы и выходы, жесты и возгласы, которые пришли из древнегреческой трагедии...

«Радуйся, невесто невестная!» — тянули старухи слабыми голосами, уверенно выводя мелодию и обращаясь к деве Марии, как шепотом пояснил Альке Годовалов.

Когда они вышли, отстояв до конца обедни, но, единственные из присутствующих на литургии, не подошедшие причаститься, Юрий Петрович неожиданно заговорил о Гомере:

— Греков объединяла не власть правителя (города были самостоятельными) и даже не язык (часто жители отдельных городов говорили на разных диалектах), а Гомер, который соединил дорийское и ионийское наречия в эпосе, ставшем общегреческим. Слепец этот дал ту патриотическую версию истории, которая объединила славным прошлым Афины и Лакедемон, ведь Троянская война сплотила всех европейских греков против Востока. У людей большое уважение к таким историко-мифическим писаниям, хочется почувствовать себя в родстве с соплеменниками-героями, полноправной личностью в массе правоверных.

И, чтобы развлечь загрустившую Альку, прочел ей стихи:

— Семь спорят городов о дедушке Гомере. В них милостыню он просил у каждой двери.

— В гимназиях, — продолжал он, — велели заучивать стихи об исторических событиях, такая тогда была форма обучения. Гомера и в Греции, и в колониях знали наизусть все, огромные тексты. У нас народ стремится на вечера поэзии и туристской песни, и в те времена тоже центром притяжения был рапсод, сольный певец. Ты посмотри на лица, когда наши поют под гитару! Тогда, на протяжении веков, так же пели Гомера, как у нас Окуджаву. Кто Окуджаву поет, тот свой.

— Но Окуджаву теперь не поют, — вставила Алька и спросила:

— А в Москве вы ходите в церковь?

— В Москве почти все, что служат в церкви, служат и в другом ведомстве. И списки подают, кто ходит в храм.

И продолжал снова:

— Нельзя, невозможно жить в полном безверии. Да, логику породил языческий мир. Она создана — до чуда. И только то нелогичное, что есть в поведении Христа и в его проповеди любви, отменившей «Око за око, зуб за зуб, рану за рану», и придает жизни такую страсть и привлекательность. Даже атеисты могут ощутить потустороннее, но только мистически. Материализм как наука отнимает возможность познать Бога разумом.

И вдруг добавил со смехом:

— А государство наше воспитало материалистов, которые почти всего материального лишены — приличной одежды, частного домовладения, земельного надела.

Придя в гостиницу, в одноместный номер Годовалова, они угнездились на диване и, переговариваясь шепотом, провели там целый час.

Он спрашивал: «Ты меня любишь?» — и хотя в эти минуты и не приходило ему на память, что это вопрос из Евангелия, но дух той книги освящал и этот их простой разговор. И когда она отвечала свое «Да!», у нее перехва-

тывало дыхание, и она произносила это «Да-а-а» не на выдохе, а на вдохе, так что возглас затухал, ибо грудь изнутри так наполнилась чувством, что раздвигались ребра, и голосовые связки больше воздуха не впускали, а сердце словно бы останавливалось.

Не склонная прежде к сентиментальности, она вдруг чувствовала сладость любовного говора, из губ ее вылетали слова, над которыми она раньше посмеялась бы. Выражения, казавшиеся стертыми, обретали вдруг остроту, и она самозабвенно произносила «Ты — моя радость!», сплошные цитаты, чуть ли не из апостола Павла, из его посланий к единоверцу Тимофею. И уж совсем расплавившись от нежности, она обращала к нему улыбающееся лицо:

— Зоренька!

Где прочла? Она не помнила.

Как видно, в раннем детстве, во младенчестве закладывается все это. Ум, взрослея и набираясь новых впечатлений, отбрасывает сначала такие, не содержащие информации речи, но где-то внутри остается сама интонация любви, сберегаемая в ожидании объекта привязанности. И уж когда придет час, выплескивается большими страстями, со всем набором улыбок и ужимок, и присловий, услышанных когда-то от любящих мамок-нянек. Потом, воспроизводя в памяти то, что она говорила, Годовалов раздумался о том, как просто передается в народе из поколения в поколение этот язык чувств. Чтобы детей зачинать в умилении, а не только движением плотского инстинкта... Как важно, чтобы и в потомство перелились эти фразы и традиционные жесты приязни, пусть даже и демонстративные...

И теперь, казалось Альке, на всю жизнь предана она была этой необходимости служить родному человеку, отдавая себя всю. Они говорили и не могли наговориться. Все было интересно, и впервые она вспоминала вслух разные мелочи из детства, проговаривая и то, что было незначительно. Как когда-то, например, родители читали полученный на один день журнал с романом «Не хлебом единым», читали всю ночь вслух по очереди, и Алька, лежа на своей раскладушке,

все слышала... А он рассказал, что, еще до войны прочтя «На западном фронте без перемен», как-то не прочувствовал той книги, но на войне потом вспоминал.

Она целовала его в левый висок, потому что там был чуть видный шрам, и целовала его в правый висок, чтобы правому виску не было обидно. Она шептала что-то ему на ухо, щеко-ча струйками своего дыхания и ощущая ртом полукружье его ушной раковины. И ей хотелось почти бессловесно, какими-то нечленораздельными звуками выразить свое с ним родство. Она любила у него все: любила верхнюю его губу, потому что та была шершава, и нижнюю его губу, потому что от табака она была на вкус как лепесток грубой болгарской розы, любила не только его лицо и глаза, но даже и ту песчинку в уголке глаза, слезную точку.

Она просила: «Ляг на меня всей тяжестью», и знала уже, что женщине очень трудно проявиться в любви из-за роли заведомо пассивной и только в мелких движениях да словесных похвалах и можно себя выразить. Она касалась пальцами этих всегда выбритых до гладкости скуластых его щек и испытывала благоговение, даже просто пришивая к вороту его сорочки оторвавшуюся пуговицу. А когда он внезапно заболел и на раскоп не явился, Алька, преодолев страх, сама прибежала тайком в угловой его номер. И, сидя на краю койки и согревая ладонями его неподвижные пальцы, вдруг запела тоненьким голоском, одновременно жалобным и чуть-чуть дурашливым, как пела когда-то артистка Бабанова в детской радиопередаче: «Ручки твои — самые нежные, глазки твои — самые зоркие, ах, пальчики тонкие, царапать нельзя», сама иронизируя над неуместной своей растроганностью.

Илья, экспедиционный остряк, раздражал Альку издевательским цитированием классики и шутками сомнительного свойства. Пародируя комсомольские песни, он, бывало, вдруг обращался к какому-нибудь студенту: «Ты комсомолец? Да? Давай не расставаться никогда!» И, обняв бедного парнишку за шею, таскал того по двору, не обращая внимания на жесты сопротивления. Илья в экспедиции был на птичьих правах, попав сюда хлопотами каких-то своих знакомых, но сразу же стал заметен среди других участников раскопок своей независимостью.

Профессор Верич Илью недолюбливал за его дерзкий язык. Даже если Илья находил монеты, — а он на этот счет был очень удачлив, и немало принес их, побродив по плантажу после дождя, когда денежки вымывает ливень из земли, и столбики глины стоят точно грибы с зелеными шляпками, — Верич ценности его трофеев не признавал, хоть и забирал их в собственность института. В особенную же немилость впал этот парень после того, как произошла история с пифосом. Огромный пифос, найденный на восточном раскопе, описали и сфотографировали, однако музей брать его отказывался и в Москву везти находку не собирались. Верич велел выломать клеймо, а когда посудину разбили и, чтобы скрыть осколки, стали их втаптывать в грунт, Илья орал, что за такое надо дисквалифицировать.

Женоненавистник, он то и дело порицал слабый пол за пороки, доставалось и женщинам античного времени. Экспедиционных девочек задирали и намеренно обижали, а Альку с некоторых пор, непонятно почему, изводил стихом из Вознесенского:

— Витя с Галочкой, как винтик с гаечкой.

Новички заворуженно слушали Ильевы объяснения, что те древнегреческие мифы, которые проходили они в пятом классе, — не совсем сказки.

— Например, — говорил он, — по легенде, на остров Крит ежегодно привозили по семь юношей и девушек из лучших

семейств Греции на пожрание Минотавр. Это означает, что Афины когда-то платили дань Криту, а на острове совершались человеческие жертвоприношения.

Однако, когда Илья, ухмыляясь, заявил, что чудовище это, Минотавр, появился на свет, потому что жена критского царя согрешила с быком, Годовалов почти серьезно вступился за Пасифаю. И напомнил, что царь Минос сам пожадничал принести этого самого быка в жертву богам, за что и был ими наказан: жена его по наущению свыше в быка влюбилась и понесла от него.

Несмотря на свои двадцать пять лет, Илья никакого института не кончил, хотя учился то в одном, то в другом. В университет же на исторический не мог поступить, не проходил по пятому пункту. Он любил поговорить с Годоваловым и спускался с ним вместе чуть ли не каждый день после работы в город. Обличающий всех и вся, в разговорах этих он всегда нападал на христианство, хотя и иудаизму тоже от него доставалось:

— Евреи зазнались в своем единобожии, слишком демонстрировали высокомерие и отдельность, за это и наказаны отношением к ним всех других народов.

И махал руками на любые доводы и возражения.

Доморощенное нищестанство Ильи вызывало протест Годовалова, но парня невозможно было остановить. Жестикуюлируя и не выбирая слов, он клеймил христианство, эту религию рабов, которая, по его мнению, ослабила людей:

— Ничего нормального не ценят. Здоровый эгоизм заменили сплошь какими-то выдумками: грех, угрызения совести, дьявольское искушение... Аскетизм возвели в добродетель, и хвалят одно только страдание. Ради загробного существования оболгали все естественное: секс, мужскую силу, плотские радости, а удовольствие ханжески подают как преступление. Все время в состоянии какого-то психоза! За Христом ведь тащились несчастные, придурки, прокаженные, — вели бешеноватых, несли расслабленных... В иудейский храм уродов и калек не пускали, а Христос и его церковь этих всех пригнали...

— И в христианстве священнослужителем не может стать человек с видимым физическим недостатком — сказал ему Годовалов, вспомнив по этому поводу, что говорил ему в лагере один заключенный, тот, который, как было известно о нем, когда на следствии давали ему подписывать протокол допроса, вместо подписи ставил «Все клевета!». Этот бывший священник объяснял Годовалову: «Сталин учился в семинарии, но рукоположен быть не мог, у него ведь шесть пальцев на ноге, признак антихриста».

Илья считал, правильно в учебнике написано, именно христианство стало основой эксплуатации человека человеком, признавая неравенство людей и призывая низы весь темперамент направить на труд.

— Что не нужно лишнего труда, — отвечал ему на это Годовалов, — и язычники это понимали, во всяком случае, древние греки. Они были не дурнее нас. Абсурдность нашего мира с этим нашим общественно полезным, обязательным для всех трудом посрамлена целесообразностью мира древнегреческого, когда, как говорится, довольствовались малым и не делали лишних телодвижений. Рим, тот насаждал неудержимую роскошь — при дармовом рабском труде, — а христиане знали: если бы все трудились, этот мир, природа давно были бы уже разрушены. Постоянно трудиться надо было только над своей душой. Но то, что считается идеализмом, было таким мощным импульсом для великих дел в древности... Люди приносили жертвы богам и верили, что те помогут им, и трудности преодолевали невероятные.

— У вас боги — какие-то торгаши, — ворчал Илья. — Дашь — помогают, не дашь — не помогают. «Ты — мне, я — тебе»...

Годовалова ему, однако, не удавалось сбить:

— Те боги пожирали плоть жертвенных животных, требовали возлияний вином и кровью, а тут появляется Христос, человек, который себя принес в жертву за людей! Вам кажется, что это христианство привносит драматизм в жизнь, в противоположность языческому радостному мироощущению, но вы ошибаетесь! — гнул тот свое. — По нашим школь-

ническим впечатлениям, древние греки — счастливые, здоровые люди. Золотой век, жизнь на лоне природы, гармония во всем... На самом деле, я думаю, душевный склад древнего человека был довольно мрачен, как это можно видеть и из пьес. Людям свойственны были скорбь и ощущение беззащитности при постоянной угрозе смерти. Языческие боги злы! Общение же с ними только через жертвоприношение. При этом нужно помнить, что иудейский единый бог есть бог именно ответственности и справедливости. «Глаз за глаз, руку за руку, рану за рану». Кстати, и Великая французская революция, и революции семнадцатого года обещали справедливость как раз в этом духе. Христианский же бог — бог милости, бог доброты... То, что Бог добр, было открытием! И даже самые слабые, отдавшись идее Христа, ощущали себя непобедимыми... — произнес Годовалов, а сам вспоминал лагерь и западных украинцев, лица этих людей после голодной недели в карцере за отказ работать в день церковного праздника, светящиеся их лица...

Самому Годовалову, по сути, не надо было ни чудес, ни даже свидетельств о посмертном воскресении Христа. Он предался бы ему и за одну лишь эту идею самопожертвования...

— Но почему именно христианство, почему не буддизм, например? — петушился Илья.

— Христианская этика активна, а буддизм созерцателен, — пояснил Годовалов. — Исторические условия тогда были таковы, что одними медитациями нельзя было спастись, надо было все время действовать, помогать друг другу, стать духовным братством, стать общиной.

— В позднеримское время, — продолжал он, — богатство и экономическая устойчивость привели не к благоденствию, как можно было бы ожидать, а к духовному кризису. Огромная империя, ощущение мирового владычества, полно рабов, свободным работать не надо, есть время для размышлений. И люди стали предаваться раздумьям, думали о будущем и видели, что их ждет неминуемая смерть, то есть все больше думали как раз о смерти. А старые боги уже не отве-

чали их упованиям. И вот тут римляне, которые не выносят печали, потому что издревле их кодекс «Сила и бодрость!», не смогли одолеть уныния. Того уныния, той угнетенности духа и сознания (депрессии, как сказали бы сейчас), какие только в наше время и можно себе представить, потому что и у нас сейчас то же самое, тоска и безнадега...

По словам Годовалова, в ту пору мир настолько был проникнут мизантропией, что людям доставляло удовольствие само зрелище насильственного умерщвления, будь то травля христиан дикими зверями, спектакль, по ходу которого по-настоящему казнили приговоренных к смерти, или гладиаторский бой с сотнями участников. Причем ради острых ощущений в гладиаторы тогда пошли и свободные, и даже женщины...

— Заметьте, — говорил Годовалов, — в древнегреческой трагедии никогда не сцене не изображали убийства, об этом можно было только рассказывать, а римляне упивались именно тем, как людей убивают. С какого-то времени уже не щадили ни своей, ни чужой жизни. И в этот момент как раз и должен был прийти кто-то с проповедью любви и всепрощения, обозначив новые ценности, иначе бы этот мир вообще погиб. Христианство дало то, чего людям страшно не хватало, ту истину, что наибольшая ценность — именно любовь.

— А, — оживился Илья, — признаете, что это все политика, все спланировано, все люди выдумали!

— Там тоже планируют, — улыбнулся Годовалов, указав пальцем на голубое небо. — Но кто не верит — тот не верит.

И вдруг сказал о том, что у советского человека, принципиально от помощи свыше отказавшегося, довольно скоро появился-таки бог, языческий идол — Сталин, которого считали добрым, всезнающим, справедливым, одним словом, схема та же, что в самых примитивных верованиях. Все как всегда, ведь причисляли же к богам и римских императоров, и их жен. Нерон, например, убив свою жену, со свойственным ему цинизмом сразу же обожествил ее. Однако тогда это носило формальный характер. Вообще же это восточная черта, культ правителей...

— Но, — добавил Годовалов, — тот мистический восторг, который вызывал в людях Сталин, сумев возродить идею обожествления государственной власти, — вот что ужасно, полная подмена Бога! Я вам один случай расскажу. Я работал в стройбригаде, коровники строили. Ребята в бригаде в основном молодые. Лето выдалось гнилое, сплошь дожди. Спали в сарае, все вместе, и я их страшно донимал своим кашлем. Счетоводка совхозная пригласила к себе в дом, мол, ночуй в сенях, пожалела. Жила она с внучкой, и каждый вечер, так у них было заведено, хозяйка чешет девочке волосы и под лампочкой бьет вшей. И чтобы девчонка не ерзала, пересказывает ей то, что помнит, байки всякие, то, что когда-то в школе учила, легенду о Данко, «Песню о Соколе»... И в один день слышу я из-за перегородки: «Братья и сестры! ... К вам обращаюсь я, друзья мои!», шпарит наизусть речь Сталина, с которой в самый безнадежный момент войны тот обратился к народу. И такое уже через тридцать лет после войны! Так что все это сидит очень глубоко!

Илья, про культ личности знавший не столько из школьного урока, сколько от родных, хлебнувших горя в эпоху космополитизма, на эту тему не спорил. Заговорили снова. Об атеизме. В свое время солагерник Годовалова, бывший священник, объяснял, что когда от Бога отказались, сам ад прямо тут у нас и наступил со всеми его подробностями, еще средневековым предсказанными. «Адстрой» — называл он все эти стройки коммунизма, на которые тысячами гнали заключенных.

— Атеизм — это иллюзия самостоятельности, свободы, — сказал Годовалов. — Свободы прежде всего от христианской морали. Нет бога — и человека ничто не сдерживает, только страх — ареста, ссылки, увольнения с работы. Утрата заповедей гораздо страшней собственно атеизма.

— У нас есть моральный кодекс строителя коммунизма, — съязвил Илья.

— Да, много было шуток, когда его опубликовали, — отозвался Годовалов, — хотя, на первый взгляд, все это в тоне ветхозаветных заповедей.

— «Не вари козленка в молоке матери его?» — пытался острить Илья, но Годовалов не обращал внимания на его насмешки.

— На самом деле, нормы эти, конечно же, большевиками были извращены, — продолжал он. — Моисеевы заповеди (декалог) родились примерно во времена Троянской войны. У греков тогда все происходит еще по произволу богов, а у израильтян — уже нравственные правила, уже завет, договор с Богом. Христианство распространилось в Римской империи и разрушило ее, а привел к новой вере именно эллинизм с присущим ему вниманием к человеческой личности, через Элевсинские мистерии, через Платоновы представления о душе. Ценою гибели Христа и невероятных трудов его учеников-апостолов и была отвоевана у смерти ее монополия на человека. Идея воскресения и вечной жизни — одна из самых значительных, духоподъемных идей во все времена сознательного существования человечества. Ведь до этого все религии были — религии смерти!

И, обращаясь к сегодняшним дням, уже сам Годовалов наступал на собеседника с риторическими своими вопросами:

— А вас не удивляет, что, когда речь идет о вечных ценностях, здесь к этому относятся несерьезно? Это весьма показательно: у нас любая моральная истина относительна, а то и смешна!

И стал говорить о том, что и образ ада — еще из дохристианской древности, из мифов о подземном Аиде, из египетских описаний загробного мира:

— Испокон веков предполагалось после смерти возмездие за грехи, в том числе и казни загробные, но люди, отрицая теперь вечную жизнь, исключают таким образом саму идею обязательного воздаяния. У нас наказание подразумевается лишь здесь и теперь, лишь в этой жизни. При этом, — добавил он, — кара только извне, и, как правило, кара государственная. А внутренний суд, понятие совести — сейчас это всего-навсего литературные термины, в жизни эти слова практически и не произносятся.

Эту тираду, которую ни от кого другого Илья, конечно же, слушать не стал бы, Годовалов, изумив собеседника самой задушевностью тона, закончил словами «Помните, на кресте Спаситель сказал разбойнику, проявившему к нему сочувствие: "Ныне же будешь со мною в раю"»...

— А вы, что, верите во все эти сказки — в этот рай-ад? Верите, что на том свете будет эта проверка на грешность, и всякие черти станут вас жарить на сковородке? — спросил Илья.

— Понятно, что не так примитивно это мне представляется, но то, что можно вдруг увидеть свои грехи, осознать все и ужаснуться — вот наказание! Ведь и в христианских источниках состояние пребывающего в аду описано не извне, как зрелище, а изнутри, как боль, «мука вечная». Это не вечная жизнь, хотя бы и в страдании, но мука вечной смерти. Но, говорят, Бог не только справедлив, но и милостив...

Илья, задиристо перебивая эти речи, с горечью спрашивал Годовалова:

— Если есть ваш справедливый бог, то почему столько людей погибло в немецких концлагерях, в том числе дети?

Илья в свое время отлежал месяц в психиатрической больнице, получил белый билет, и призыв в армию ему не грозил. Встречая потом изредка сотоварищей по психушке, он расспрашивал о больных, которых уже оттуда не выпускали: «Ломоносов жив? А как Наполеон?» В том, что Илья — вполне нормальный, Годовалов не сомневался. В разговорах же тот предъявлял претензии и к русской интеллигенции в лице Годовалова:

— Интеллигенты! Органная музыка, Бах и Брейгель, «Охотники на снегу» и все такое, и вроде все искупается, все прилично, достойно. А вы знаете, что в классе ребенка бьют, потому что он еврей? Я в школе боялся в уборную ходить, я удерживался... Все поёте о человеколюбии, о равенстве...

Как видно, ту детскую обиду невозможно было забыть.

Тем не менее, Илья не отставал от Годовалова, и тот, не испытывая недоверия к этому парню, открыто высказывался при нем обо всем.

Он рассказывал Илье и Альке о неофициальных своих разысканиях, о зачинателе здешних археологических раскопок, о Матэ, в девятнадцатом веке сделавшем так много для античной археологии.

— Я представляю себе этого старика-француза, — говорил Годовалов, — то есть сначала он не был старик, — и несколько лет он, будучи работником портового ведомства, по собственному почину ведет раскопки, разрешили ему. И потом всю жизнь здесь... Работает в любую погоду: и в жару, и в стужу ноябрьскую, сутками в сырых траншеях, вода по колено. Обо всех находках докладывает чиновникам здешним, официально признанным ученым, сделавшимся тогда известными в Европе как раз своими трудами о древностях этого края, то есть в немалой степени благодаря этому человеку. Те — начальники, а он всегда впереди и всегда на подхвате. Шлет сигналы наверх, организует археологические работы, делает планы. Он и основал здешний музей, собственную коллекцию древностей отдав городу. В какие-то годы выхлопотал ассигнования на раскопки с условием поставлять в Петербург найденные ценности. Пашет с утра до ночи, но хотя он очень удачлив (раскопал у подошвы горы курган, набитый золотом), вдруг что-то произошло у него в жизни. Оклеветали его или еще почему-то, но отношение к нему в городе резко изменилось, и его отстранили и от руководства музеем, и от раскопок, а незадолго до смерти он оказался совершенно один и в нищете.

— Бумаги его после смерти пропали, — продолжал Годовалов, — в том числе сводная карта археологических находок, ей цены нет, но те, что ее забрали, по-видимому, не осознавали, что это такое. Считается, что все утрачено, но в музее, в свертках, которые десятилетиями не разворачивал никто, лежат, — я видел, — его дневниковые записи. Я такое горькое одно его письмо нашел там, письмо в Петербург, не отправленное вовремя, потому что, видимо, в ту пору у него не было денег даже на почтовую марку. Пишет, что он голодает, нет никакой пищи, кроме куска дурного хлеба; что не на что купить свечей, и он сидит в темноте по вечерам; что нет одежды, в какой прилично показаться на глаза людям;

что не может себе позволить даже самого дешевого табаку, не говоря уже о чае и сахаре. А если вспомнить, сколько он добыл и отдал музею, сколько вещей переправил в столицу: все это золото и бесценная расписная керамика... Что мы сетуем на судьбу, жалуемся на недостаточное финансирование и отсутствие удобств! Вот как люди жили, вот как работали и как служили науке!

Позднее, оставшись с Алькой вдвоем, Годовалов успел рассказать ей о том, что карта, составленная Матэ, вовсе не утеряна, а просто лежит в библиотеке, можно сказать, в открытом доступе, что он уже поработал с планом и хочет проверить на днях захоронение одного богатого воина, обнаруженное им еще в прошлом году.

И снова вернувшись к прежнему разговору, сказал:

— Там, в письме этом — точно предостережение какое, старик пишет, что от поисков сокровищ отказался, что ему претит эта алчность, этот аппетит к золоту, из-за чего потревожили столько мертвецов, и хотя были они язычниками, его мучает совесть, потому что он способствовал ограблению могил.

С некоторых пор Илья стал вести себя с Алькой странно. Обычной своей расхлябанной походкой подходя к ней, вдруг вытягивался в струнку и, стараясь, чтобы никто не слышал, выворачивая толстые губы, спрашивал, расцветив улыбкой усатое лицо: «Ты меня лю?» — шепотом, с обезьянистой ужимкой беззащитности.

Вообще с представителями сильного пола что-то случилось. Раньше никому Алька была как будто неинтересна. И вдруг как-то все зажглись и стали виться вокруг нее — словно она медом намазана. Проявилась к ней тяга у всех ребят. Осповой ревновал, но гордился.

Однажды Илья всунул ей в руку записку с просьбой прийти вечером в грот. Она отказалась было, но, боясь, что он все знает и расскажет Стасу, приплелась к гроту, чтобы уговорить его молчать, но он не сказал ни слова о Годовалове, а только все пытался ее обнять и трагически захохотал, увидев ее испуг. Он как будто совершенно игнорировал тот факт, что она замужем.

Отбыв заключение, Годовалов думал связаться с профессором Велецким, чтобы пристроиться в археологическую экспедицию, но сразу же его выслали в Красноярский край. До окончания высылки он не дотерпел, ушел из поселка, а оставалось до перемен, как потом оказалось, совсем немного. Из-за этого побега ему потом долгие годы нельзя было и надеяться, что попадет куда-нибудь на постоянную службу — с такими-то документами! Тогда, после двухмесячного, с пересадками и задержками в пути, железнодорожного путешествия из Сибири он решил найти Жанну, единственного из прошлой его жизни человека в Москве. Однако, несмотря на то, что после встречи с нею он как будто укрылся в безопасном месте, настоящая работа, достаточная для прокорма, у него была далеко не всегда. Он грузил и копал, устраиваясь туда, куда можно было наняться ненадолго и где не спрашивали паспорта. А когда, благодаря авантюризму Жанны, была оформлена, наконец, московская прописка, опять решил выйти на Велецкого, надеясь получить работу хотя бы на летний сезон, но узнал, что незадолго до этого профессор умер.

То золото, которое обнаружили они в сорок седьмом, когда студентом был он в Городе на раскопках, по-видимому, так и лежало нетронутое. Ни слухов, ни публикаций о том, что усыпальница найдена, до него не дошло, и сомнительным казалось, что в случае открытия комплекса с таким большим объемом предметов и монет это осталось бы без внимания ученых и вне контроля госорганов.

Лет тридцать уже, с тех послевоенных пор, когда ликвидировали в подземельях и старых горных выработках сложенные там боеприпасы — наши и оставшиеся от немцев — никто здешними склепами официально не занимался. Усыпальницы с росписью на стенах, неизменно воспроизводимые в учебниках по истории искусства, сделались недоступными, во всяком случае, никто в музее не знал или не

признавался, что знает, где они находятся. Например, где знаменитый склеп с пигмеями и журавлями? По дореволюционным изданиям Годовалов знал эти местные сюжеты, эти комические картинки, в свое время срисованные со стены в подземелье. Пигмей с палицей — темный, голый, а журавль пестро-серый, с черной головой, выше человека и клювом кусает его за подбородок. Или человечек лежит на спине и отбрыкивается ногами от огромной, распутившей крылья птицы. И тогда, после войны, в пору, когда он еще работал здесь у Велецкого, Годовалов видел это все в натуре.

В шестидесятом, после того как милиция провела крупную облаву и были уничтожены находящиеся в катакомбах притоны, где и зимой можно было жить, все входы в коридоры и старые штольни замуровали, и о древнем некрополе вообще никто больше не говорил. Единственное место, куда водили экскурсии, был склеп Персея, катастрофически быстро разрушающийся из-за того, что при строительстве соседних пятиэтажек бетонные их фундаменты перекрыли естественный сток подземных вод, и теперь накапливающаяся в склепе вода размывала уникальные фрески.

Сохранить это было трудно, да никто и не желал тратить деньги на поддержку всего того, что директор музея искренне считал мракобесием и дореволюционной ерундой. Поэтому была принята версия, что попасть в некрополь невозможно, что немцы в свое время обвалили все взрывами, выкуривая из катакомб ушедших под землю солдат наших, которые не успели отойти, когда враг захватил город.

Найдя в прошлом году неожиданно для себя самого карту подземных ходов, составленную стариком Матэ, Годовалов и не собирался искать золото, не до того ему было. Однако его интересовало, помечена ли на плане та большая усыпальница, которую показал ему когда-то Велецкий.

На план Годовалов наткнулся случайно, роясь в куче спитых книг, которые были свалены в музейной библиотеке за стеллажами.

Библиотека, сложившаяся за десятилетия существования музея, сохранялась, в основном, благодаря энтузиазму за-

ведущей. Фолианты знаменитых исследователей Боспора, эти огромные неподъемные книги, не были востребованы годами. Девочки-экскурсоводки, сочинявшие тексты экскурсий, пользовались примитивными брошюрами. Книги, изданные в начале шестидесятых, независимо от того, были ли это учебники или труды по истории древнего мира, читателям не выдавали, потому что их предисловия и послесловия изобиловали цитатами из речей отправленного в отставку Хрущева. Уничтожать же эту литературу, как было предписано, библиотекарь, все-таки не стала.

На одной старой папке, валяющейся среди таких книг, была надпись «Табачное дело в Крыму», а в папке лежал сверху список фабрик с фамилиями прежних владельцев: Месаксуди, Стамболи, Майтоп, — и Годовалов, завязав уже было тесемки, вдруг остановился. Что-то заставило его посмотреть все бумаги.

Карта имела название «Феодосия, уездный город Таврической губернии», там значился Митридатов холм, и Годовалов отметил про себя, что знаменитое имя Ахеменидов осталось в топонимике нескольких городов Крыма. Но, взглянув на карту внимательнее, понял, что очертания населенного пункта ему знакомы, сразу узнал план Города и, всматриваясь в контуры ландшафта, догадался, что улицы и переулки переименованы, а на синем фоне моря с надписью «Понт Евксинский» береговая линия обозначена совсем не там, как оно было сейчас.

В той части плана, где начертана была гора — с подробностями рельефа и топографическими отметками высоты над уровнем моря — вились еще какие-то линии, создававшие сетку с клетками-ячейками разной площади, которые группировались в круговые лабиринты. Черными треугольничками нанесены были на карту некие меты, в экспликации обозначенные «Табачное товарищество». «Что за ерунда, — подумал он сначала, — табачные лавки, что ли?» Разглядывая на карте квартал за кварталом и соотнося чертеж с известной ему планировкой Города, он смекнул вдруг, что некоторые треугольники стоят на плане там, где располагаются входы

в катакомбы. Таким же значком был помечен и участок, на котором, как он знал, есть колодец с подземной галереей, использовавшийся с древних времен, чтобы брать воду во время вражеской осады.

Внимательно изучая чертеж, он различил, что нынешнее название города на карте сделано было позднее и вмонтировано на место прежней надписи. Тогда ему стало понятно, что это и есть утраченная, девятнадцатого века, карта Города с разметкой ходов подземного некрополя, о которой столько он слышал. Говорили, что план либо увезли немцы, либо похитила местная банда, чтобы таскать из-под земли сокровища, а он, оказывается, лежал на виду. А ведь мог уйти со старыми бумагами в макулатуру...

Несколько стрелок на чертеже вели куда-то к центру горы, по образующим линиям горного кряжа, и Годовалов уразумел, что таким образом обозначаются переходы из одного замкнутого подземного лабиринта в другой.

Находка эта могла облегчить поиски гробницы, подход к которой знал один Велецкий. В свое время попали они туда из какого-то погреба, но частный дом тот, должно быть, не сохранился, да и многое с тех пор изменилось в городе...

Скалькировав найденный чертеж, он начал изучать подземные маршруты, спускался в катакомбы не раз и не два, существенно откорректировав план, на котором теперь появилось немало новых точек, хотя некоторые означенные там склепы были, по-видимому, обрушены. В прошлом сезоне он прочесал несколько ходов некрополя, и одна из стрелок привела его к тому помещению с кладом монет, куда в этом году он все не мог попасть. Но это был совсем не тот склеп, с расписными сосудами и военным мужским инвентарем (щит, чешуйчатый панцирь, поножи-кнemiды и навалом — золотые бляхи), который когда-то, взяв с него обещание молчать, показал ему Велецкий, — а гораздо более бедное захоронение. В институте Годовалов не спешил объявлять о своем открытии, но профессиональный долг заставлял его потрудиться и хотя бы зафиксировать найденные предметы.

На этот раз он серьезно экипировался и взял с собой куртку, зная, что под землей здесь всегда, и зимой и летом, градусов двенадцать. Выйдя из гостиницы затемно, так что пришлось потревожить дежурную, которая недовольно зыркая на него, отперла наружную дверь, быстро дошел до заброшенного дома на повороте дороги, возле беззаконной свалки, где начинался подземный ход. Раздвигая колючие кусты и ощупывая метр за метром камни подпорной стены, нашел наконец ему одному ведомый лаз, вломился в узкий проход между глыбами фундамента и устремился вниз по наклонному полу, ведущему куда-то в гнилую темень.

Он перемещался вперед с закрытыми глазами, довольно быстро, хоть и задевал неуклюжими плечами стены подземелья. Пахло сухой глиной, мгновенно впитывающей влагу его дыхания. Ему легко было двигаться нагнувшись, потому что выучка пригибаться и прятать голову была у него еще с войны, когда часами пробирался он по ходам сообщения первой линии из одного подразделения в другое, понимая, что, если распрямится и обнаружит себя, ему тут же снесут башку. Так что тело его помнило ту закрепленную с молодых лет шноровку быстро передвигаться на полусогнутых... Потому как из-за своего высокого роста он, можно сказать, многие месяцы войны пробыл в согбенном состоянии. Там, в траншее, и спал, скрючившись, лишь изредка устраиваясь на ночь в блиндажике комбата. И сам тогда, как, впрочем, многие бойцы на передовой — зябнувшие, прячущие самокрутку в рукав телогрейки — выглядел сутулым и даже почти горбатым. Да и потом немало времени провел он под землей, когда был этапирован на Воркуту и вкалывал в забое, сначала по двенадцать, а потом по десять часов в сутки, и тоже, как правило — согнувшись в три погибели.

Уверенно двигаясь в подземелье, чертя карандашиком на плане повороты своего пути и хорошо ориентируясь по сторонам света, он исследовал доступные ходы, куда, как видно, никто не заглядывал с прошлого века.

Достигнув усыпальницы, он несколько минут пробыл не двигаясь. Белый длинный костяк и ржавое копьё без древка,

и глиняный небольшой сосуд рядом... Передохнув, он разложил крафтбумагу на возвышении каменного ложа и установил рядом стеариновую свечу. От недостатка кислорода свеча горела тускло, хвостик пламени едва был виден. Когда же, буквально на две секунды, он зажигал фонарь, чтобы взглянуть на очередной, вынутый из сосуда предмет, то боковым зрением видел совсем близко от себя то, что осталось от железного шлема. «Шлем дыроокий», — вспомнилось ему, а потом что-то еще из «Записок о гальской войне»... Как римляне стали специально делать метательные копья таким образом, чтобы, проткнув щит противника, те ломались, и галлы не могли бы бросать копья обратно, в римлян, как они это делали раньше...

Место, куда из сосуда выкладывал он одну за другой монеты, почти не освещалось, но и мгновенного взгляда ему хватало, чтобы определить, что большинство из них принадлежат времени Митридата Евпатора. Хорошо узнаваемый профиль его на аверсе и характерный кружок — веночек из плюща — на тыльной стороне монеты...

Прочувшись в университете совсем недолго (не кончил и второго курса, как его забрали), он успел пройти, собственно, лишь историю древнего мира, правда, у профессорско-античников еще дореволюционной закваски, но ни в коем случае не считал себя специалистом в нумизматике. Однако, водя по металлу указательным чутким пальцем, он по весу и еще каким-то другим признакам узнавал среди монет не только тетрагалки, но и тетрадрахмы, и статеры, и даже перечекаленные боспорские оболы с орлом-Аполлоном на молнии.

Схватив холодный кругляшок и покрыв его страничкой из тетради, штриховал бумагу простым, с мягким грифелем карандашом, стараясь зафиксировать все мелочи рельефа. Потом переворачивал монету и делал эстамп оборотной стороны, втирая угольную чернь подушечкой большого пальца. Листочек отправлялся в планшет, который он повесил на груди, а монета — в коробку. Достав из сосуда следующий экземпляр, снова и снова проделывал все операции по снятию

отпечатка до тех пор, когда от усталости не способен стал разбирать ни букв, ни изображений, лишь осязанием отличая золото от бронзы, которая была холодней на ощупь и как будто кислотовато пахла. Так обработал он весь клад, почти не отдыхая и прерывая свое занятие только тогда, когда свечка догорала, надо было ставить другую, новую, и можно было перекурить.

Чтобы выбраться поскорее, он решил идти назад самым кратким маршрутом и двигался по темным коридорам, почти не сверяясь с картой. Неожиданно вдруг посветлело. Задрав голову, он увидел высоко над собой клочок знойного неба. Как оказалось, он пробыл под землей почти десять часов, потому что время здесь течет совсем не так, как на поверхности, а все жизненные процессы на глубине замедляются вдвое, о чем он мог бы и знать по своей работе в шахте. Двинулся дальше и тут же остановился, наткнувшись на дверь, обитую оцинкованным железом. Он толкнул ее, потом потянул на себя, взявшись за ручку. Дверь не подавалась.

По ржавым скобам вскарабкавшись наверх, Годовалов вылез из полуоткрытого люка и, отдышавшись, попытался понять, где находится. Не узнавая местности, зашагал по склону вниз, прочь от заасфальтированного поля, как вдруг услышал остервенелый лай собак. К нему бежали. Он без разговоров подчинился молодому матросу, препроводившему его в дежурку береговой части. Правильно, что он не взял с собой на поверхность ни одной монеты, лишь их оттиски на бумаге, но то, что план вместе с планшетом сразу отобрали — это было серьезно, при такой улике можно пришить человеку если не диверсию, то уж точно шпионаж.

— Как вы тут оказались? Место работы, должность, — начал его допрашивать дежурный офицер.

— Московский педагогический институт. Преподаватель.

— Что преподаете? — с сомнением спросил дежурный, косясь на его перемазанную глиной одежду.

— Практику археологических раскопок.

— Сейчас проверим, — сказал офицер, набирая номер телефона.

Переговорив с кем-то, объявил спокойно:

— Останетесь здесь до выяснения.

— И что он туда полез! — бушевал Осповой, когда прибежавший из музея мальчишка сказал о задержании Годовалова и попросил срочно связаться с директором. — Этого еще не хватало!

Осповой уехал в город, а вернувшись, с возмущением рассказывал Альке, что Годовалов пойман в запретной зоне и, чтобы этого идиота освободить, ему, руководителю экспедиции, пришлось оправдываться перед начальством. И если бы директор музея и Васин не сумели по своим каналам все уладить, не поздоровилось бы и ему, Осповому, отвечающему головой за каждого оформленного члена экспедиции.

— Он у меня в печенках сидит, скорбец этот! — выходил из себя Осповой. — Все не по нем, от всего морду воротит, а сам в такое дело вдряпался и меня впутал! Пришлось две бутылки водки ставить, выкупать его!

И Осповой, который один из всей экспедиции не знал, что происходит с его женой, вдруг почувствовал всем естественном, как ненавидит ассистента Годовалова. Да, без него трудно было бы обойтись, много он везет, освобождая начальника и от необходимости писать отчеты, и от нудных занятий, хотя за археологическую практику студентов и капают дополнительные деньги на экспедицию, но своим занудством так уже всех допек, что это пора кончать.

Что же касается замечания относительно невеселого вида Годовалова, то и это было правдой. Действительно, лицо его носило черты какой-то застарелой грусти. Есть физиономии, на которых как будто запечатлено вечное страдание. Так, у императора Пупиена, правившего всего ничего, дней сто, и вместе со своим соправителем убитого преторианцами, при жизни было прозвище Скорбный из-за печального облика, который, как можно судить по скульптурному портрету, был присущ ему даже и в момент торжества, когда, собственно, и сделали его изваяние.

Замечали, что у Годовалова, даже когда он смеется, всегда какой-то настороженный, тревожный взгляд, и что он ино-

гда закрывает глаза во время разговора. У него было то совершенно особое выражение, тот притушенный свет глаз, по которому бывшие зэки всегда узнают друг друга. Одним словом, он все больше раздражал Оспового, и Стас всерьдцах сказал при Альке, что этого типа в экспедицию больше не возьмет.

Во дворе у Васина собралась целая компания: Годовалов, привлеченный хозяином посмотреть коллекцию глиняных изделий, Алька, которую практичный Осповой отрядил за дармовым чесноком, и продавщица винного магазина Францевна. Когда поздоровались, дородная Францевна заулыбалась Годовалову:

— Дак я ж вас помню, вы после войны тут глинице копали.

Как оказалось, Васин служил в одном из совминовских санаториев, чем и объяснялось наличие в его хозяйстве двадцатилитровых пожарных ведер.

Францевна, явившаяся с бутылкой «Столичной», которую тут же откупорили и уважили, пришла за овощами, намереваясь, как она говорила, завтра, в выходной, сделать на зиму закатку помидоров. Она выбирала из груды плодов те, что помельче, и могли бы пролезть целиком в горло трехлитровой банки, и рассказывала о войне. О том, что линия фронта проходила аж целых полгода по центру города... О том, как наши отступающие части переправлялись через пролив... О первой и второй оккупации... О том, как в сорок втором под землю, в катакомбы, ушло десять тысяч наших солдат, военных людей, и тысяч пять населения со скарбом и малыми детьми... Как немцы травили их газом, и там, в темноте, без воды, в холоде, почти все они погибли (выжили только те, что попали в плен)... О том, как всех евреев собрали на площадь, всех евреев и всех караимов — караимы ведь исповедовали иудаизм — но среди караимов оказались крымчаки, несколько десятков семей. Евреев расстреляли, а крымчаки содержались в сараях возле старого карьера, пока учитель здешний, Гурджи, собирал документы и доказательства, что крымчаки — это отдельный народ, язычники и мусульмане. Высадившийся десант на какое-то время выбил немцев, тем крымчаки спаслись, но когда немцы снова взяли город, крымчаков тоже уничтожали беспощадно, по-

тому как считалось, что крымчаки — смесь евреев и татар. Определяли же их национальность не только по паспорту, но и по форме ушей.

Многое знавший о немецком характере Годовалов сказал:

— То, что немцы принимали во внимание документы, — это очень на них похоже. Они — буквалисты. Очень дисциплинированы, вся жизнь их настолько регламентирована, так размерена, словно это не люди, а механизмы какие-то.

— Я думаю, они только искали предлога, чтобы убивать, — сказала Алька.

— Нет, немцы не были зверьми, — не согласился Годовалов, — но они очень послушны приказам, любым. Немец сражается храбро, до последнего, но только обезоружат, — тут же подчиняется. После войны, после капитуляции сразу прекратили сопротивление, не было ни одного выстрела, ни одной диверсии... Не то, что в Польше.

— Почему? — спросила Алька.

— Ты не знаешь, а вы, — обратился он к Васину, — конечно, знаете, как все было. Война на самом деле началась тогда, когда в сентябре тридцать девятого Гитлер взял Варшаву. А мы тоже решили не упустить своего, и Красная Армия через две недели ударила по Польше с тыла. А когда присоединили Западную Украину, многих «панов» погнали в Сибирь. Но когда Гитлер Европу всю свалил и на восток пошел, мы с поляками действовали вместе, и с сорок четвертого в составе одного из фронтов наших выступала и армия Войска Польского.

— Когда в Варшаве началось восстание, — продолжал Годовалов, — наши части стояли на другом берегу Вислы, в предместье Варшавы, Праге, так называлось это предместье. Немцы подавили восстание, разрушили город, но мы не пришли полякам на помощь, потому что не было такого приказа. Этого невозможно простить! Но Сталин считал, что восстание инспирировано из Лондона эмигрантским польским правительством. Мы, наша дивизия, подошли к Варшаве за неделю до того, как началось наступление, закончившееся нашим выходом на Одер. Помню, что противоположный берег Вислы оттуда, из предместья, в котором мы

стояли, казался низким, потому что вся Варшава была в руинах, все дома лежали, все костелы были разрушены...

— Они и тут весь город порушили, — вставила Францевна свое слово о немцах, а Васин уточнил:

— То так говорится «немцы», много здесь было и румын, и они потом первыми сдавались в плен.

Обняв Годовалова за плечи, Васин увел гостя в дом, в комнату, о существовании которой во время прошлого визита тот и не догадывался. Тут немало было всего навалено. Васин показывал глиняные изделия: лунный бог (карлик на петухе), маски, изображающие бородатого Диониса, — и, несмотря на то, что был навеселе, неуклонно гнул свое, все старался выпытать, имеют ли какую-нибудь ценность эти вещи, и если да, то какова истинная стоимость каждой. Но Годовалов уклонялся от роли оценщика.

Это было собрание коропластики из характерной для здешних мест ярко-оранжевой глины. Терракоты, изготовлявшиеся как приношение богам, образами сходны были с аттической скульптурой. Деметра в калафе, Афродита, вышедшая из воды и выжимающая волосы, Эрот на быке и Эрот на дельфине — все эти создания из святилищ и погребений, по-своему выразительные и сделанные довольно тонко, представляли исключительный интерес, но только для музейщиков. Так Годовалов и сказал хозяину, любуясь статуэткой, изображающей момент боспорской девической игры: проигравшая несет свою подругу на спине.

Довольный консультацией, Васин, держа в руке статуэтку Кибелы с выразительной грудью и ухмыльнувшись: «Цыцстая какая!» — многозначительно намекнул Годовалову, что с того причитается, потому что для его вызволения из «Морфлота», чтоб не раздували историю, пришлось выйти на очень больших людей (подразумевалось, что они отдыхают у Васина в санатории).

В порыве откровенности Васин даже достал из кармана и показал гостю фигурку сфинкса из желтого металла:

— Вот, продают отцовское наследство. Государству не продашь, а чтобы золото поделить, их же, такие вещи, ру-

бят на части, — и, любуясь крылатым существом с женской головкой, признался. — Жалко его на зубы, но покупателя нет!

Снова выводя Годовалова во двор, хозяин доверительно обратился к нему:

— Петровичу, вы из самой Москвы?

— Из самой Москвы.

— А с Леонидом Ильичем не доводилось встречаться?

— Нет, не доводилось, — ответил Годовалов бесстрастно.

— У нас говорят, сильно пьет человек...

И, понизив голос до такой степени, чтобы ни Алька, ни Францевна, занятые перебиранием овощей, не могли его услышать, Васин добавил:

— Болтают даже, что самого-то подменили, а действует подставная фигура.

— Вот уж нет! — не в тон ему отозвался Годовалов. — Сам на месте!

Но ему тут же пришло в голову, что в этом персонаже, над косноязычием которого потешается вся страна, и который, по анекдоту, домой в подпитии приходит на бровях, действительно есть нечто сомнительное. Во всяком случае, бытовало же такое представление, что Брежнев давно не способен править, хотя практически бессмертен: время от времени подшивают ему сердечный шведский стимулятор — и порядок.

Васин снова пригласил всех к столу — допивать. Алька водки не пила, Годовалов тоже хотел было отказаться, но приходилось соблюдать обычай, и ему все-таки налили. Пригубив из рюмки, Францевна пела свое:

— Ругают ее, проклятую, а без нее нельзя, за водку дерутся города. В конце месяца, хоть убейся, надо, чтоб завезли, иначе пятого числа на зарплату не будет денег.

— То так, — подтвердил Васин. — Магазины пустые, покупать нечего, только за водяру и можно гроши взять.

— Так запретили ж по выходным продавать! — возмущалась Францевна, — Это же жидкий хлеб, люди аж трясутся, так им надо, они ж без этого не могут. По воскресеньям я ж

запираюсь в доме: и домой ко мне идут, и под окнами стоят, просят...

— А вам их не жалко? — не выдержала Алька, правда, не решившись сказать: «А вам не совестно их спаивать?». Но Францевна, как оказалось, поняла вопрос по существу и со снисходительной улыбкой покачала головой:

— За два восемьдесят семь можно человека осчастливить так, что он и смеется, и песни спивает, а жалко его тогда, когда ему продать нельзя. А у меня план, и я ж его делаю в последние два дня месяца.

— На Францевне вся экономика у нас держится, это самый, можно сказать, главный человек в городе, — проговорил Васин, поглаживая ее по плотной спине.

— Сами костки, — застенчиво отозвалась продавщица на эту его ласку.

— Как страшно! — говорила на обратном пути Алька, впервые узнавшая про «водочные» деньги...

Пока они шли по дороге, Годовалов молчал. Правду сказать, он был несколько обеспокоен тем, что Францевна его узнала. Теперь он тоже ее вспомнил. Когда сразу после отмены продуктовых карточек, они прибыли сюда с Велецким, эта женщина доставала им муку для экспедиции. Как будто спохватившись и продолжая беседу, которая началась за столом у Васина, он пытался что-то объяснить Альке:

— В России всегда так было, что алкоголь — из основных товаров, но тут не только в экономике дело, и не в нынешнем строе. Это связано, может быть, с особенностями национального характера. Не случайно нам свойственно такое наплевательское отношение не только к своему дому, своему хозяйству, но и к своему здоровью, к себе самим. Жизнь русского человека как будто всегда — на износ, на извод... Одни гробят себя водкой или беспутной жизнью, а другие убиваются на работе...

И неожиданно стал говорить нечто странное, о чем никогда нигде Алька не читала и не слышала. Что у нас в самой натуре заложены и постоянная тревожность, и вечное ожидание чего-то трагического, и даже нечто вроде одержимо-

сти смертью... Что наша пресловутая жертвенность — это не только готовность, но и желание погибнуть... Что перед революцией пятого года была, например, прямо какая-то эпидемия самоубийств, вызванная не столько тягостью российского существования, сколько неспособностью многих здесь к жизни вообще, и что в глазах других это стремление уйти из жизни нередко представлялось как бы героическим самоотречением...

«Этим очень пользовались большевики», — подумал он про себя и напомнил Альке слова революционной песни: «И как один умрем в борьбе за это!» И пока они на остановке ждали автобуса, продолжал в том же духе: что праздниками у нас сейчас назначены дни дореволюционных расстрелов, а пионеры-герои — это все убитые или замученные врагами дети. Поражали не только серьезность тона, но и сам старорежимный словарь. И то, что Годовалов говорил, казалось Альке совершенно диким. Как Россия была внезапно охвачена каким-то особым духовным взысканием; как всерьез ждали — ни много ни мало — Страшного суда, а после него чуть ли не Царствия Господнего через смерть и посмертное воздаяние; что это якобы и привело к особой новой вере, к вере в коммунизм, в царство справедливости и возможность рая на земле для праведных и честно трудящихся... Что сначала революция началась как религиозное движение, и люди, испокон веков приученные к мысли о неизбежности страданий, готовы были умереть ради счастья других, а спасать предполагалось не только своих, но и все народы земли... Как затем, когда атеистическое учение возобладало, человек остался открытым смерти, не боясь гибели, но уже лишившись надежды на божескую защиту и вечную жизнь...

Алька только в недоумении пожимала плечами и, когда подошел автобус, была рада, что наконец-то прервался этот неожиданный для нее разговор. Между тем Годовалов все не мог успокоиться, и, хотя пока они ехали, молчал, но думал о том, что его-то поколение как раз очень ценило саму жизнь. И вспомнил тот салют в Берлине... Как неожиданно, без всякого предупреждения вдруг началась стрельба, и они (не-

делю уже не воевали) выскочили, ничего не понимая, на улицу. А страшно перепуганные немцы, попрятались в подвалы. Били зенитки, строчили автоматы, казалось, жахали из всех орудий, но лишь потом стало известно, что холостыми. А тогда под слепящими посверками пуль он, на минуту решив, что война продолжается, начинается снова, понял вдруг, как хочется ему жить...

Когда они с Алькой вышли из автобуса, он снова заговорил, обращаясь к ней:

— Если нам кажется, что кто-то в пьянках и непотребстве ищет удовольствия, — это только до некоторой степени верно. Да, люди истошно трудятся, а результата почти не видят, потому что большая часть всего не предназначена для бытового использования. Еды нормальной невозможно достать... Тогда деньги тратятся на водку. Тут результат мгновенный, и никого не удивляет выражение «напиться до полу-смерти». Да, водка убивает. А ведь подсознательно человек и ищет этого. И чтобы его сохранить от самоубийства, дана боль, физическая боль, преграда слишком легкому уходу из жизни. Человек страшится боли, даже если нет понятия о самоубийстве как о великом грехе, и остается жив. Но постепенное отравление алкоголем, эта смерть — смерть почти без боли...

Алька не умела ему возразить, но и согласиться со всеми этими чудовищными идеями не могла. Но тут у подножия горы они увидели ребят из экспедиции и, наскоро распрощавшись с Годоваловым, она со своей авоськой чеснока отправилась наверх, на базу в веселой их компании.

Когда Алька, озираясь, пробиралась к гроту, множество колючих растений царапало ей ноги. Кое-где на земле торщился зеленый ворс свежей травы, виднелись трилистники отцветшего клевера и белые шапки тысячелистника. Одуванчик, ободренный недавним дождем, новыми ростками пробивал почву. Мелькали то тут, то там пятилепестковые розовые гвоздички. Голубые цветки цикория словно висели в воздухе, и крупные и круглые, как зеленые ежи, соцветия безымянного растения качались все разом под полярным ветром. А сама полынь, выцветшая до белесости, с терпким духом, занимала и северные, и восточные необозримые склоны холма. Конский щавель уже закоричневел, головешками торча среди других растений. Юрий Петрович как-то сказал, что в лагере отваром конского щавеля лечились от дизентерии.

У Альки все ее существо, все ее тело жило как будто одним выражением любви. И хотя они теперь нечасто оказывались наедине, но и на виду у других, когда он глядел на нее, она, словно отвечая на его безмолвный вопрос, поднимала сияющие глаза с недвижными ресницами, и долго, не скрываясь, смотрела ему в лицо, и каждый взгляд ее говорил «да!» — одним мгновенным сужением зрачков.

— Как же ты мне дорога! — шептал он ей в полутьме грота, сдерживая голос. И как-то резко, слишком сильно ее обнимая, с трепетом спрашивал:

— Милая, тебе хорошо со мной?

И однажды в гостинице, в сумерках, сказал виновато:

— Ты, наверное, ничего не чувствуешь, никогда не протонешь...

Она не догадывалась, о чем он говорит. А он продолжал свое, странное:

— Почему дано человеку такое в земной жизни? Может быть, это для того, чтобы у него был опыт блаженства...

И сбивчиво объяснял, что чувственная, воплощенная любовь дарована людям, возможно, как намек, как напомина-

ние о вечном райском наслаждении, как отблеск его в утрумстве жизни. Она слушала и думала, что понимает. Но потом, когда, обняв ее, он говорил: «Иди ко мне!», — она уже знала, о чем это.

Необъяснимое слияние их душ выражалось и в том, что из поэзии помнили они одни и те же строки. Обычно он не позволял себе вслух читать стихи, разумея, что такое, даже и к месту, цитирование раздражает людей, во всяком случае, обращает на себя внимание некоей ненормальностью, но если Алька была рядом, этот зажим губ у него пропадал. Алька же часто, когда они оставались одни, вдохновенно, с почти пионерским восторгом, вдруг начинала читать наизусть Лермонтова или раннего Пастернака, а он присоединял хрипловатый, тусклый свой голос и, постепенно оживляясь, дочитывал стихотворение вместе с ней, звук в звук, достигая альтовой звонкости. И от такого единогласия хотелось обняться — не движением плотской страсти, а по-иному, так, как обнимаются бывшие однополчане, когда, разбросанные после войны по разным местам, встретятся случайно и кидаются друг к другу, радуясь за другого, что он жив. Это было потрясающе ново для нее — обнять и долго ощущать сквозь одежду телесное тепло родного человека. Без всякого раздумья лишнюю минуту такого объятия променяла бы она на целые куски жизни, будь там хоть что, даже поездка в Париж.

Порою, когда он пытался вспомнить какие-нибудь давние события, у него случалась задержка речи. Объяснял ей, что это последствия контузии. Имена-фамилии известных людей нередко вообще не мог вспомнить, и тогда, приостанавливаясь и досадуя на свою непамятливость, глядел перед собой ширящимися от усилий глазами. И тут получалось невероятное: Алька за него произносила нужные слова, потому что он, как она считала, телепатически передавал в ее сознание то, что сам силился и не мог назвать.

Если во время своих дальних хождений вдвоем они видели где-нибудь у степной дороги братскую могилу или стелу в память Великой Отечественной, он подходил и читал фами-

лии, не объясняя, кого ищет. Куда бы ни бросала его жизнь, всюду, где встречался ему на пути памятник войне, он не мог спокойно пройти мимо. И говорил Альке: «Сколько я похоронил парней, которые были лучше меня!»

Как-то подошли к гранитному столпу, а это оказался монумент героям гражданской, но на этот раз он не стал смотреть имен и пробормотал только: «Они сами себя поубивали».

Когда же однажды остановились возле бетонного, с жестяной красной звездочкой, обелиска, Годовалов вдруг на минуту остолбенел и стоял с растерянным лицом, потому что опять вспомнил... Вспомнил палатку медсанбата... Как открывает он глаза, поднимается, садится в исподнем на топчане; как, еще не пришедший в себя после наркоза, шарит руками; как потом передает кому-то свою кожаную, ободранную по углам планшетку, где вместе с фотографией матери и временным удостоверением о награждении лежит та главная для него бумага, в которой им самим записаны имена и отчества родных... Но тут у него заклинило память, и он опять никак не мог вспомнить, кому он все это отдал. Алька, внимательно глядя ему в лицо и тоже проникаясь его напряжением, словно учуяв неожиданный здесь, посреди чистого поля, дух больницы, запах риванола и карболки, вдруг сказала: «Лалазаров!», назвав фамилию его однополчанина-танкиста. У нее было, видно, какое-то особое чувствилище, чтобы угадывать его мысли.

— Лалазаров! — обрадовался он. — Да, точно, Лалазарову отдал!

В эти дни они оба не могли скрыть счастливого вида, и кое-кого это явно возмущало. Стас, по-видимому, начал о чем-то догадываться, а через некоторое время ему на все открыли глаза, и у них с Алькой произошла сцена, во время которой ей нечего было сказать в свое оправдание, да он и не стал бы слушать. Когда муж ругал ее, она металась по комнате от одной стены к другой. Но он не дал ей выбежать и заставил выслушать все, что думает о ней, об ее измене, о Годовалове, о том, какой это позор. И он, этот всегдашний предводитель, этот каратист-чемпион то в ожесточенном

возбуждении грозил, что отомстит, то спрашивал с тоскливой серьезностью: «Ну что я в тебе нашёл? Что в тебе такое, что невозможно отстать?» — то трагическим голосом говорил, что у него никого уже больше не будет, а воздержание вредно для здоровья.

Обличения, которые услышала Алька от Стаса, на этот раз не прошли бесследно. Она все запомнила и вдруг стала мучиться сомнениями. Вдруг стала думать, что, действительно, весь ее роман получился случайно. Что, привыкнув к суровому обращению Оспового, когда сама откликнулась на «Альку», а мужа звала «Корифей», она слишком всерьез приняла на свой счет слово «милая», с которым по привычке Годовалов обращался, видимо, практически ко всем... Что у нее, у дуры, сердце разгорелось по недоразумению, по ошибке... Для него и официантка в столовой милая, и старуха, торгующая цветами у почты, милая, и собачонка, которая бежит за ними с горы до здания с вывеской «Клуб глухих», тоже милая... Но потом Алька стала говорить самой себе, что услышала ведь от него и другое, особенное и обращенное к ней одной. А думая о том, что было уже между ними, сказала себе, что без него и жить теперь не может, что любит навсегда...

Алька по-прежнему ночевала в палатке у девочек, но больше Стас не затевал с ней никаких разговоров, всем своим видом показывая окружающим, что ничего не происходит, и, по утрам, здороваясь, как всегда, первым протягивал руку Годовалову.

Встречи в гостинице стали совсем редки. Надо сказать, что кроме вины перед Стасом, у Альки были и другие терзания. Правду сказать, она мучилась и от того, что составило бы счастье любой нормальной женщины: едва прикоснувшись к ней, возлюбленный испытывал такой прилив мужской силы, что это Альку пугало. Ей казалось, что она возбуждает в нем низменные порывы. Радоваться надо было, а она отталкивала любящего ее человека и соглашалась на его уговоры лишь после долгих просьб и даже некоторой борьбы.

Он любил на нее смотреть. Удивляло, как преобразается ее лицо в такие минуты. Эта мраморная гладкость щек и та

целомудренно доверчивая улыбка, которая окрашивает спелой яркостью ее обычно сомкнутые губы... И он начинал неистово целовать эту ее по-девчачьи приподнятую верхнюю губу, этот ее розовый рот, набухающий нежностью, точно бутон педона. Но ей почему-то требовалась темнота, а поскольку все это случалось только днем, она прятала лицо от света и была всегда с закрытыми глазами. Порою перед расставанием он просил у нее прощения за свою жадность.

Однако что-то и в ней медленно происходило. Она сама себя спрашивала, например, почему меняется мироощущение после такого события, этих слов, этого трения друг о друга, и вдруг задумалась о том, что чисто физиологически люди соединяются в любви все-таки странным образом...

Альку настораживало, что иногда из груди его исторгается вдруг высокая нота, словно протяженный, почти жалобный стон, обнаруживая вдруг незащитность этого силача и солдата. Во всяком случае, когда он объяснял, что не все осколки извлечены из легких, она относилась к его словам с недоверием. И если она вдруг слышала этот звук, ей было удивительно, что у него, волевого, басовитого человека, внутри есть такая пищалка.

В одно из воскресений, когда у археологов сделали выходной, вся московская орава, за исключением Оспового, готовившегося к отъезду, отправилась на пляж. Добирались долго и попали наконец на песчаную косу между двумя морями, на отмель, намытую силою ветра, здешнего, зимою совершенно беспощадного норд-оста, который годами сдвигает в море прибрежные наносы.

Доставленные сюда на катере, чтобы несколько часов подряд купаться и жариться на солнце, все разбрелись кто куда по длинной полосе пляжа, где лежали темным валом вынесенные в непогоду на сушу водоросли, теперь гниющие под зноем и крепко, как-то по аптечному пахнущие.

Прилюдно быть рядом они теперь опасались. Алька слонялась по берегу, вышагивая поперек неширокой косы, от одного ее края к другому и удивляясь, насколько различаются и растительностью, и рельефом, и даже цветом воды побе-

режья Черного и Азовского морей, здесь сведенные совсем близко и лежащие по сторонам косы в виду Города,

— «Это взгорье, двоёморье и в Пелидов край врата», — неслышно бормотал в это время Годовалов, который, не сняв белой своей рубахи, сидел в одиночестве на каменном мысе, выдающемся в море темной глыбой. Здесь была родина Ахилла и могила его на одном из островов, где когда-то стоял жертвенник. Опыняла тишина: ни шума транспорта, ни базарного говора, ни надоедливой радиотрансляции, — всего того, что составляет звуковой фон городского существования и так раздражает слух. Сюда доносился порой лишь визг девчонок, которых ребята в шутку топили в море, да слышался над зацветшей водой Азовского, взболтанного недавним штормом моря, писк многочисленных чаек, точно детские испуганные вскрикивания. По берегу, как будто совсем не боясь людей, ходили вразвалку толстые неряшливые птицы с желтыми широкими клювами. Время от времени они, закидывая назад голову, истошно и довольно противно вопили. Эти птицы сами рыбу не ловили, а отнимали ее у чаек, будучи гораздо крупнее и сильнее обижаемых ими белокрылых добытчиц.

Годовалов следил за Алькой, с тревогой глядя ей вслед, когда она в своем купальнике брела в сторону черноморского берега косы, более крутого по сравнению с азовским, но такого скупого в расцветке и совершенно пустынного.

Кое-где видела Алька белые гольши-камни, да изредка мелькали в прозрачной воде вырванные из донного грунта красные кустики филлофлоры. Там же, где поднималась и снова откатывалась подгоняемая ветром седоголовая плотная волна, вообще не было, казалось, ни растений, ни рыб, и Алька, наплававшись на глубине, долго потом бродила вдоль берега, выбирая из песка пустые раковинки моллюсков, одинарные желтоватые их створки, до стерильности отмытые морем.

Как только Алька скрылась из виду, для Годовалова все словно бы переменялось. Солнце нещадно палило, изнуря полуденным своим свечением, и он уже не мог поднять веки от мозговой тяжести. Что же с ними дальше-то будет? Он пытал-

ся успокоиться, утишить свои предчувствия. Но сердце вдруг резануло, застопорилось дыхание, и он зажмурился от боли. А когда открыл глаза, увидел вдруг, что на него с гневными криками летят черные чайки, готовые выклевать ему глаза...

«Начинается!» — подумал он с содроганием, потому что и в прошлый раз именно с появления черных птиц начался у него приступ, та мука наоборотного зрения, когда все белое превращается в черное... Но Алька уже шла к нему, шагала скоро, снова возвращаясь к азовской окраине косы, и чайки, эти страшные эриннии, повернулись в полете все вдруг и снова стали белыми, улетая прочь, в синеву морского простора. И сердце отпустило...

Она шла, издали улыбаясь ему и, дойдя по косе до моря, в древности называемого Меотидой, входила в прогретую полуднем, искрящуюся воду, в заросли изумрудно-зеленой морской травы, дающей приют всякой живности: и морским конькам, и крабам, и рыбам разным... И человек, который был ей так дорог, не смея приблизиться, только смотрел, как она черпает воду ладонью и, смеясь, бросает на себя серебриющуюся влагу, потому что из-за мелководности здесь невозможно было не только погрузиться по грудь, но даже войти в воду по пояс. И видел, как отраженные от поверхности моря солнечные блики подсвечивают снизу ее ноги и черный шелк купальника, и как блестят редкие брызги на ее выгоревших за лето, хвостом по спине распущенных волосах. И она сама, ощущая, что у нее и руки, и открытые плечи, и тот овальный участок кожи в вырезе трикотажа, где внизу почти видно раздвоение груди, пересыщены солнцем, стояла, словно в лучах любви коконе света. А бесшумные плоские волны старого моря, омывая оконечность скалы, на которой застыла одинокая фигура мужчины, которому Алька была предназначена, обдавали теплом ей ноги. И, не боясь ее движений, потому что она ступала по дну очень медленно, стайка мальков, похожих при взгляде сверху на полупрозрачные палочки, вилась возле нее в воде, и рыбы детеныши клевали пальцы ее ног своими смелыми носами.

В плане музейной работы предусматривалась лекция, в порядке общественной нагрузки ежегодно проводимая кем-нибудь из московской экспедиции.

Годовалов с корбочкой слайдов в руке вошел в зал, где уже сидели сотрудники музея, которых удалось согнать, несмотря на отговорки занятостью, — женщины из хозяйственной части, младший обслуживающий персонал, а также специалистка по крымскому подполью, старший научный сотрудник. Те, кого раньше обязательно заинтересовала бы такая лекция: и античники, и медиевисты, — почти все уже уволились из музея. Лишь две девочки, заочницы педагогического института, сидели в первом ряду с блокнотами. Из членов экспедиции, которые тоже должны были слушать лекцию, явились только Алька да Илья, с некоторых пор навязывающий ей свою опеку. Пока спускались с горы, он проговорился, что экспедиция не придет, объявили лектору бойкот, но за что, он сам не знает. Алька похолодела.

Годовалов начал рассказ, Илья же, выключив свет, чтобы можно было проецировать на экран снимки, и подсев к Альке, в темноте вдруг взял ее за руку. Однако Алькины пальцы оставались безжизненными, и через несколько секунд ее ладонь выскользнула, не отзываясь на его рукопожатие.

Показав несколько слайдов, Годовалов сказал, что красота — одна из основных идей античного мира, и маленькая Греция задала эстетические нормы для всей Европы на тысячелетия. Он говорил о технике стенописи, как об этом сказано у Витрувия:

— Делали штукатурный толстый намет, а потом налагали слои грунта, сначала с крупным песчаным наполнителем, а потом все более тонкие, со все более мелкими частицами песка и дробленого камня, и последний, под краску, — с мраморной пудрой. Было предписание применять лишь трехлетнюю проквашенную известь. Фреска — это живопись минеральными красками по свежему непросохшему грунту.

Краска вяжется тем лучше, чем объемней слой штукатурки, а когда употребляют краску зеленую малахитовую или синюю из молотой египетской смальты, в связующее надо добавлять клей. Со временем на фреске образуется кристаллический налет, который не только скрепляет краски, но и придает поверхности благородный блеск.

— Что изъ такое? — переговаривались уборщицы в темноте.

— В античности, — продолжал Годовалов, — единственной целью искусства и почти единственным объектом при обучении рисованию было человеческое тело. Античная фреска — это идеальные образы, это письмо по образцам. Чтобы достигнуть в нем умености, не учили писать с натуры, а заставляли непрерывно упражняться в изображении типических форм. Поэтому основные очертания фигур накрепко внедрялись в память художника на всю жизнь. Такая выучка дает способность очень быстро, за два-три дня, пока не высох грунт-текториум, написать огромную картину с людьми, драпировками, оружием. Античные живописцы не зависели от натурщика, с юности они усваивали канонический рисунок и уверенный контур, а их ремесленные навыки были так прочны, что они могли писать, как говорится, с закрытыми глазами. Эту уверенную беглость кисти мы можем найти и здесь, в боспорских фресках.

— Вот сцена пира, — щелкнул он задвижкой проектора, — мужчины, мальчик-слуга, танцовщицы и музыкантши...

— А почему мужики все голые? — грубо хмыкнул кто-то в зале.

— А чтобы соблазнять, — ответили на это со смешком.

— От живописи той поры вообще мало что осталось, но из текстов древности, из описаний — а умение описать статую или картину было необходимым элементом подготовки в ораторских школах — мы можем узнать...

Пытаясь сохранить внимание зала и все более одушевляясь, Годовалов стал приводить отрывки из Петрония и Плиния, красноречиво расхваливая утраченные композиции древнегреческой живописи, настолько реалистичной, что, когда, например, лошадей проводили мимо картины

Апеллеса, они приветственно ржали при виде конских изображений, птицы слетались клевать виноград, написанный Зевксисом, а созерцание одной из работ Протогена навредило на зрителей ужас: столь выразительно переданы были морщины на лице человека.

Света не включали, на экране чередовались картинки, и в темноте кто-то спал, кто-то шептался, но, увлеченный темой, Годовалов как будто и не слышал вздохов: «Когда же это кончится?». Возбуждаясь все больше, он продолжал свой рассказ о том, что живопись эта очень ценилась и в римское время, а за творения эти платили суммы, равные состояниям целых городов. Хотя сами римляне заниматься и искусством, и ремеслом считали зазорным, утверждая, что достойным мужчины занятием являются только политика и война...

— Поэтому все ремесленники, все художники в эпоху Древнего Рима, как правило, — этнические греки, — объяснял докладчик.

— Когда Август изъял «Афродиту, являющуюся из вод», — продолжал он, — то за это сложил с города остаток причитавшейся с него дани. Римляне в своих грабительских походах захватили и статуи, и стенные картины. Когда при Нероне произошел знаменитый пожар, уничтоживший большую часть Рима, это был погребальный костер античного искусства. Позднее многое погибло при взятии города готами, а потом христиане уничтожили оставшееся, считая изображения богов языческими идолами, а статуи богинь — воплощением в камне и бронзе известных блудниц.

Алька слушала с жадным интересом, Илья тоже явно реагировал, однако девчонки-заочницы смылись, воспользовавшись темнотой, а музейные сотрудницы терпели все это с недоумением, что так человек распинается, так переживает из-за какой-то ерунды.

— Ивановна, я тебя на базаре видела, — послышался голос откуда-то из заднего ряда.

— Я огурцы соленные продавала, — откликнулась женщина, оборачиваясь. И они продолжали переговариваться:

— Чего ж так рано?

— Да когда свекруха умерла, и ее обмывали, вода попала в подпол, прямо в бочку. Не пропадать же добру!

— Ой, боже ж мой! — вздохнул кто-то в темноте, громко зевая.

И тогда Годовалов попросил включить свет и, обращаясь в основном к Илье и Альке, поспешно стал рассказывать о серии фресок, найденных им в некрополе:

— Изображено там посвящение боспорской девушки в здешний какой-то культ. Сначала она в одиночестве. Приходят силены и звери, ей сообщают о предстоящих страданиях и смерти, что приводит ее в ужас. Являются Дионис и Кора. Смерть заменяют бичеванием. Посвящаемую раздевают, и две женщины плетью наносят ей удары...

— Инициация девственниц, — голос Ильи перекрыл шушуканье в зале.

А Годовалов продолжал:

— Потом появляются менады, держащие в руках змей, которые их не жалят.

— Чистый Фрейд, — выкрикнул Илья.

Но лектор не отвечал на его реплики.

— Боспорянку обвивают покрывалом, а потом она изображена в экстатической пляске. Но есть еще одна композиция, и она явно связана с мистериями богини земледелия Деметры, которая, по преданию, и научила людей культуре хлеба, — еще громче рассказывал Годовалов. — Мистерии, во время которых приносят жертвы богам, просуществовали до раннего христианства как обряд, где формально воспроизводится архаический, малопонятный, но узаконенный традицией ритуал. Жители Причерноморья отправлялись в Аттику на такие торжества, но мистерии происходили и тут, на окраине античного мира, о чем мы можем судить по некоторым вещам и надписям, найденным здесь. Так вот, в катакомбах здешних на одной фреске изображен, возможно, финал подобного таинства. Движущиеся в танце женщины, а среди них — молодая особа в белом, по-видимому прибывшая из Греции жрица. Там, в Элевсине, пригороде Афин, где

и зародились мистерии, такая жрица получала сакральные предметы и везла их сюда, чтобы в самый главный момент их смогли увидеть посвящаемые, когда после всех испытаний попадают они в ярко освещенное помещение, где стоят курильницы, испускающие пьянящий аромат и звучит прекрасная музыка...

— Можно вопрос? — раздался голос Ильи. — Что же такое там показывали при огнях и благовониях?

— «О том ни расспросов делать не должен никто, ни ответа давать на расспросы...» — процитировал Годовалов из Гомерова гимна Деметре. — Для древних это было достижение особых состояний, откровение некоей тайны. Мы об этих мистериях ничего не знаем, потому что был запрет на разглашение ритуальных фактов, известных только посвященным. Эсхила судили за то, что он, унаследовав право участвовать в элевсинских действиях, не повиновался обету молчания и представил сцену из них в своей пьесе. Каждый посвященный увозил домой сосуд, на котором изображен какой-нибудь момент этого сакрального события. И сосуды эти, в том числе привозные аттические вазы, очень интересные по сюжету росписей, потом никогда не использовались в быту. Хранились как священные предметы и теперь, через тысячелетия, обнаруживаются здесь в могилах своих владельцев. Они должны были сопровождать хозяина и в потусторонний мир как пропуск в послесмертие с избавлением от рокового Аида.

Дверь открылась, и в зал вошел директор музея, а с ним высокая красивая женщина в белой блузке.

— Вот хорошо, коллектив в сборе, — сказал тот. — Сейчас я вас со всеми познакомлю. Это — ваш новый директор Виктория Георгиевна, — представил он сидящим в зале свою спутницу.

И, не обращая внимания на Годовалова, застывшего на полуслове, стал одну за другою поднимать с места присутствующих здесь сотрудниц, называя их по фамилиям.

— Мы, кажется, помешали? — произнесла новоприбывшая, обращаясь к Годовалову, а он, смешавшись, проговорил:

— Я уже практически закончил...

Илья, кивнув лектору: «Мы ждем на улице», — повел Альку вон из душного зала. Народ, оживившись новостью, минуту подождал, не скажет ли еще чего-нибудь начальство, и повалил к выходу. О том, что директор музея идет на повышение, поговаривали уже давно, и вот теперь он, не скрывая радости, передавал дела.

— Товарищ из Москвы, — представил он Годовалова новому директору и тут же отвлекся и выбежал в соседнюю комнату, потому что его звали к телефону.

— Гарик, ты? — тихо, неуверенно проговорила вдруг Виктория Георгиевна, ошеломленно глядя в лицо Годовалову.

— Здравствуй! — сказал Годовалов. — Не ожидал тебя здесь встретить.

— Перевели из Ленинграда, — задыхаясь, объясняла она. — Это все так неожиданно... Где ты, что ты?

— Как видишь, — ответил он тусклым голосом, словно не замечая ее волнения. — В экспедиции у Оспового.

— Надо встретиться! — сказала она с жаром. — Ты где живешь? В городе?

— В гостинице, — сказал он.

Прежний директор появился в зале и шел к ним между рядами.

— В семь часов, в вестибюле, — прошептала она поспешно, и ее увели показывать музей.

— Спасибо, коллега, — сказала Годовалову подошедшая к нему в опустевшем зале старший научный сотрудник советского отдела, — очень интересно, но надо было подчеркнуть, что все это, все эти обряды и праздники устраивались для того, чтобы отвлечь трудящихся от классовой борьбы!

Виктории Георгиевне, приехавшей в Город, чтобы принять на себя должность директора музея, выделили временно комнату в общежитии, объяснив, что в квартире, которая ей отведена, пока идет ремонт. Так как она еще только два дня назад сдала документы на прописку, у нее не было талонов на продукты. Попытка пообедать в ресторане встретила

неожиданное препятствие. Швейцар, оглядев ее с ног до головы, сказал: «Женщин в брюках не пускаем». С трудом она уговорила впустить ее.

В городе началась борьба за нравственность, по ночам милиция вылавливала девиц, слоняющихся по набережной, а в «Доме рыбака» устраивали проверки на предмет присутствия в номерах посторонних. Поэтому, когда в семь часов Виктория Георгиевна пришла в гостиницу и уселась в кресло возле входа, к ней подскочила дежурная: «Женщина, вы кого ждете? Мужчину?». «За кого вы меня принимаете?», — возмутилась новая директриса музея, но вошедшая в раж блюстительница морали уже не могла остановиться: «Совсем обнагтели! Нельзя здесь сидеть! Ни одной, ни с подружкой!»

Годовалов, бегом спустившись по лестнице в вестибюль, подошел, отодвинул плечом разбушевавшуюся дежурную, схватил Викторю под руку и вывел из гостиницы — красную, трясущуюся от оскорбления. «Не обращай внимания», — только и сказал он ей, и они пошли к набережной.

Вдоль низкого парапета, через который время от времени плескала на асфальт волна, прогуливалась у моря праздная публика.

Из порта доносились скрежет и приглушенные вздохи какой-то большой машины, те самые звуки, которые во все время его пребывания тут страшно донимали Годовалова. Он слышал их ночами у себя в номере, потому что док находился рядом, прямо напротив гостиницы, а работы там велись круглосуточно.

В молчании дошли они до конца набережной и повернули назад. Он равнодушно смотрел на море, она же не поднимала глаз.

— Вот мы и встретились, — вполголоса, как-то виновато, наконец, заговорила Виктория Георгиевна. — Как же я ждала этого! Как ждала! А ты обо мне думал?

— Что ж, — произнес он, не отвечая на ее вопрос, — вижу, у тебя все в порядке. Доктор наук, а теперь и директор музея...

— Мне нужно так много тебе рассказать, — продолжала она нервно, — но сейчас даже и поговорить по-человечески негде.

— О чем же говорить? — спросил он тоскливо, глядя куда-то мимо нее, щурясь и почти закрывая глаза.

— Гарик, я тебя люблю, — сказала она так громко, что на них стали оглядываться. — Я тебя разыскивала.

— Что же ты не любила меня, когда я был на каторге? — отозвался он с мукой в голосе. — Ни одного письма! Нам разрешалось посылать сначала два письма в год, а потом без ограничений, но мне уже некому было писать... Я все ждал, а потом узнал: ты замуж вышла, у тебя дочь. Быстро же ты отказалась от меня!

— Дочь — твоя дочь, — истерически проговорила она. — Неужели не хочешь увидеть?

Но он ничего не ответил на это, а потом сказал, запинаясь:

— Я женат и незачем нам встречаться! Но предательства твоего не забыл! — припечатал он жестко.

— Что ты знаешь! — закричала она, и слезы крупными каплями побежали у нее по щекам, падая на блузку и отскакивая от шелка на груди.

Она остановилась, и народ обтекал их с обеих сторон, замедляя движение и даже приостанавливаясь, потому что она плакала.

— Что я могла сделать? Мы с тобой и расписаны не были... Но ты не знаешь, как это — остаться одной, когда пора родить и выгоняют из университета...

И добавила сдавленно, с какой-то хрипотой в гортани:

— Он меня спас, и я уже была связана.

— Кто — он? — спросил Годовалов.

— Ты его знаешь. Это профессор Велецкий, и мы все Велецкие теперь. Очень порядочный человек.

— Он ведь умер! — открывшимся впервые за все это время, своим голосом произнес Годовалов.

Ближняя вода, налезая широкими языками на берег, была, точно деготь, блестяще непрозрачной. Дальше до горизонта лежала желтая, словно позолоченная, неподвижная

поверхность. Но чугунные сваи причала, около которых застоялась голубая масляная пленка, иногда как будто вздрагивали, точно от каких-то подземных или подводных толчков, а на самом деле оттого, что мчащиеся вдоль горизонта тучи время от времени на мгновение затемняли диск погружающегося в море солнца.

Долго молчали.

Он искоса взглянул на нее. Собранные в строгую прическу ее волосы, сколько он помнил, всегда такие рыжие, и сейчас были яркими почти до красноты, но в прямом проборе, посередине головы он заметил непрокрашенную, по-вдовьи серую седину.

— Я очень изменилась? — спросила она.

— Нет, все веснушки на месте, — пошутил он некстати, впервые за весь этот вечер улыбнувшись.

Они медленно добрались до ее общежития и встали у лестницы.

— Может быть, зайдешь? — робко предложила она. — Я тебя чаем напою. Правда, у меня ничего нет, еще не прикрепили к магазину.

— Не стоит, — сказал он, будучи не в состоянии извлечь из себя никакого чувства.

— Мы свидимся еще? Я тебе все расскажу... Он знал, — заговорила она о своем муже, — что я давала запросы о тебе, но везде значилось «выбыл». А он помнил тебя и ценил.

— Спасибо.

Похолодало, и она ежилась от ветра ли, от озноба, и спросила:

— Ты вспоминал меня?

— Да, Вита, да, — сказал он с болью.

И тут, не стесняясь никого, не обращая внимания на пэтэушников, высыпавших с папиросами на крыльцо общаги, она обняла его и по-сестрински поцеловала в щеку.

— Мы увидимся?

— До свидания! — кивнул он ей на прощанье, ничего не обещая.

Возвращаясь к себе, он погрузился в воспоминания о Ленинграде: университет, исторический факультет, куда он

вернулся, еще не сменив военного обмундирования на штатскую одежду; стихия новых дружб и знакомств, вечеринки и первомайская демонстрация, после которой пиروвали большой компанией. И Вита — такая заметная и своей внешностью, и своей общественной активностью. И он сам, вступивший в партию на фронте, полный надежд и проектов, хотя и чувствующий себя каким-то уже старым среди невоевавших сокурсников, когда его все еще мучили картины войны, которые пытался он избыть, погружаясь в «Илиаду» и платоновы «Диалоги».

С Витой они стали настолько близки, что решено уже было летом расписаться вопреки тому, что тогда это считалось мещанством, и браки не обязательно было оформлять. Однако его забрали прямо в университете, во время зимней сессии. Он сдал последний экзамен, вышел из аудитории, а его уже ждали.

Когда его ввели в камеру, затошнило от запаха немытого человеческого тела, но к этому смраду перенаселенного людьми места, где в нос тебе шибает мочой и хлоркой, он быстро привык, благодаря появившейся у него притупленности обоняния.

В то лето, когда должна была начаться их с Витой семейная жизнь, он оказался в совсем другом месте. Вечно голодный, с обритой головой под шапкой-блином и кровавой коростой на затылке, изжаленный огненно-кусачими слепнями, похожими на треугольных хрустких бабочек, он уже знал законы тюрьмы и «феню». В тюрьме он еще хорохорился, но в лагере — сначала на общих работах, а потом на угледобыче, — пришлось сменить характер.

Когда он в первый свой день в шахте, словно пытаясь забыть, вкалывал, что называется, с полной отдачей, один старый лагерник сказал ему: «Так вы долго не протянете. Здесь умирает именно тот, кто честно работает. Надо силы беречь. Лучше не доест, чем переработать. Кое-когда просто на гарантийке отсидитесь». И наука эта, преподанная человеком, еще незнакомым с ним близко — в лагере ведь в бараке поначалу не бывает известно, кто кто — действительно, спасла его.

Годовалов не сразу поверил, что может быть такое решение — срочно убить всех, кто знает настоящую историю возвышения Сталина, знает, как ничтожна была роль его в революции. Не сразу стало понятно и то, что многочасовой тяжелый труд заключенных лишь отчасти служит целям государственной пользы, а прежде всего есть способ массового уничтожения тех, в ком остались эти представления старого мира, эта христианская закваска. Сталину нужно было, чтобы все они умерли, и можно было бы начать все с нуля, из людей без памяти вырастить поколение совершенно другое.

В сорок девятом, в год семидесятилетия вождя, когда ждали амнистии, Годовалов из нормального человека уже окончательно превратился в эка. Ватные стеганые брюки и бушлат второго срока, номер на спине и над коленом, четко написанный белой масляной краской... Он к тому времени уже был убежден, что без «туфты», без обмана здесь не выжить. Но постоянная бессовестная лживость лагерного существования выедала ему душу.

В жилой, в лагерной зоне надо ладить с уголовниками и с надзирателем, а в рабочей зоне — с бугром, с бригадиром, закрывающим наряды, от этого зависели и размер хлебной пайки, и жиры, и мясной приварок. И главная забота здесь была — еда. Если она есть, есть добавка к казенной норме, надо ее уберечь, сбиться в компанию, приготовить, съесть в тепле. В лагере еда — это не просто пища, это все, больше ведь никаких радостей в лагере нет. От супа-таратуха, от перловой каши по всему телу теплота, сладко и даже хмельно — до сопливости, до сантиментов!

В то время, когда его срок подходил к концу, за пять без малого лет, полагавшихся пятьдесятвосемьюшнику с десятым пунктом, он многое успел пережить. И этапирование в лагерь, и сшибку с уголовниками, и дистрофию от хронического недоедания, от перерасхода сил... Но потом чудом, через перекомиссовку он попал в оздоровительный пункт, куда зачисляли на две недели молодых, в принципе годных к физическому труду доходяжных ребят; и вырвался из доходяг, потому что после ОП в шахту больше не вернулся. А

в пятьдесят третьем, после смерти Сталина, при всем ужесточении режима в лагерях улучшились условия содержания заключенных.

Чем ближе было окончание срока, тем тревожней тогда задавался он вопросом о том, что с ним будет дальше. Ему светила «вечная ссылка» по нигде не опубликованному указу. На его глазах люди, уже отбывшие наказание по пятьдесят восьмой и освобожденные из заключения, снова загремели в лагерь по прежней статье, причем повторникам, случалось, иногда назначали срок по десять-пятнадцать лет, а иногда и двадцать пять!

Сегодняшняя встреча в музее подействовала на него угнетающе. Во-первых, он верил не всему, что рассказала Виктория, а во-вторых, не годен он был уже ни для выяснения старых, ни тем более для новых отношений, потому что лагерь был не только там, откуда он вышел двадцать лет назад, лагерь был в нем самом. Вечным ожиданием несчастий, угнетенностью душевной и недоверием ко всем («Кроме Жанны», — поправил он сам себя)... Лагерь был теперь везде, жизнь на воле тоже вся была пропитана психологией зоны. Все идеалы оказались лагерным подлым трепом опошлены, все понятия опрIMITивлены, все благородные побуждения осмеяны. Унижено и изгязнено стало то, что было раньше святым, и, прежде всего, злобно и с особой изощренностью опоганено все связанное с женщиной и деторождением. Лагерь воплотился и в самом языке, изменив мышление даже и тех людей, которые заключения смогли избежать, а к системе исправительно-трудовых лагерей и вообще не имели никакого отношения. Блатной жаргон и термины казенных формуляров ИТЛ распространились на все сферы жизни, в немалой мере определяя теперь направление и строй мыслей человека.

Он так разволновался от воспоминаний, что в гостинице ему стало совсем худо. Раздававшиеся из порта удары металла о металл он ощущал так остро, точно били прямо ему по голове, и даже когда механизм ненадолго останавливали, он, испытав минутное облегчение, снова ждал этого звука, понимая, что тот возобновится обязательно. В тактах кле-

пального станка или пресса — он не до конца представлял себе, что там грохочет и лязгает — был как бы приказ ему, его собственной жизни: так двигаться, так существовать!

Ему казалось, что сердце не выдерживает, отказывается, пропуская каждый четвертый удар, но потом оно снова включалось, пульсируя почти в том же ритме, в каком велась эта клетка в доке, может быть, корабельных днищ...

И тут он поймал себя на мысли, что Вита, которую тогда он очень любил, и не смогла бы никогда понять его до конца. Она, маменькина дочка, хоть и перенесла тяготы эвакуации, не способна была бы постичь ни его болезненной погруженности в военное прошлое, ни испытаний его затянувшегося выздоровления после контузии, ни послелагерной этой вечной его тоски. Сейчас Вита была уже совсем другой человек, не та рыженькая девушка, что когда-то умиляла его своей комсомольской убежденностью и чистотой, а состоявшаяся личность, уважаемый, известный специалист по скифам, какая-то совсем незнакомая ему женщина.

И тут он вдруг вспомнил: она говорила о дочери, — и застонал, потому что, выпотрошенный жизнью, чувствовал, что искупление этой вины ему уже не под силу, сердце не тянет.

Он взял валидол под язык, закрыл глаза и стал ждать утра, чтобы идти на гору и броситься в земляную тень котлована, где под звон заступов можно снова чувствовать себя живым, быть на своем месте, хоть до некоторой степени оставаться самим собою.

Еще несколько дней назад, когда Годовалов взбегал от набережной на гору по бетонной лестнице, его вдруг окликнули. «День добрый!» — сказал ему стоящий на углу Васин, объяснив свое раннее появление: «Срочно продают одну вещь», — и показал, из мешка наполовину вытащив за горлышко, латунную, с эмалевой отделкой турецкую курильницу:

— Знаю, что интересуетесь одними черепками, поэтому не предлагаю.

И продолжал неторопливо болтать о том, как здесь было до войны, что была тут деревянная эстакада, а нечистоты, которые везли сюда в бочках из городских уборных, сливали прямо в море. А вообще-то, добавил он, здесь, на горе, сортиров никогда не чистят, все куда-то само проваливается. А потом вдруг сказал: «Вам ходить одному не следует, тут такие люди...». И ушел.

Вечером пришло приглашение от местного предводителя шпаны, от Коляна, но Годовалов отказался с ним видаться. Через день, когда он шел по улице, то возле армянской церкви, превращенной теперь в кинотеатр, ему преградил дорогу загорелый мужик в кепке, надвинутой на глаза, и фальшиво улыбаясь, сказал: «А иды до нас!». Годовалов отнекивался, но подошедшие два парня, как видно уже с утра «под банкой», не дали ему уйти.

На другой день он рассказывал Альке, что с ним произошло. Как подошел Колян — наголо бритый, в белой нейлоновой рубашке — и пришлось-таки разговаривать, и они отошли на пустырь за кинотеатром... Как шел разговор, в общем-то довольно суровый, с вопросами «Где клад?» — и как Колян предложил ему работать вместе и назвал ту долю, которую он, Годовалов, получит после реализации золота... Он скрыл от Альки то, что первым делом Колян сказал ему: «Мы с тобой хотели как с человеком, а ты вот как! Больше бабу не замай. Понял?»», на что Годовалов резко ответил: «Не

ваше дело!» — но стало ясно, откуда ветер дует. Понятно, что Осповой не стал бы сам с ним разбираться и публично бить морду.

Годовалов шутливо рассказывал Альке о том, как на его слова о кладе «Ничего не знаю» — Колян пригрозил, что, если он место не покажет, ему не жить. И хотя понятно было, что убить не убьют, дело пахло керосином. Однако непонятно, откуда Колян узнал о золоте. И тут Алька заревела и призналась, что два дня назад в палатке у подруги проговорилась той по секрету о его находке, о склепе с монетами. Подруга клялась молчать, но Годовалов догадывался, что у стен, даже парусиновых, есть уши, и теперь надо было выпутываться и из этой истории.

Конечно же, он не стал рассказывать Альке, что, когда сказал Коляну, что ничего не знает, то сразу получил за свою несговорчивость, правда не от самого главаря, а от его подручного, флегматичного амбала с татуировкой на груди. Колян кивнул, а тот ударил ему поддых, прямо в поджелудочное углубление. Не рассказал он ей и о том, как, взъярившись, врезал татуированному по мордасам и пошел с пустыря, пошел быстрым шагом, а потом покатился переулками вниз, слыша за спиной топот и крики шпаны. Ноги сами несли его туда, где бежать было легче: под гору, к морю. Свежая голубизна далеко видимой водной глади как будто звала его к себе.

Сокращая путь за счет того, что бежал задворками, он скоро оказался возле металлургического завода. Дорогу ему преграждала заболоченная равнина, курящаяся кислотными испарениями, канавы и бочажки с водой купоросной синевы, за которыми начинались прибрежные заросли. Остановившись около трубы, из которой текли производственные сливы, он стал выискивать единственную здесь, как он знал, тропку, что могла вывести его на берег. Нащупывая ступнями в траве полузатонувшие следи, он двинулся вперед, миновал участок трясины, где на поверхности воды, как зеленоватые плевки, заколыхалась раскачанная его прыжками ряска, и попал уже в полосу высокого травостоя, с хрустом, хоть и старался не

шуметь, продираясь в зарослях дудника и оставляя за собой полые трубки сломанных стеблей.

Его минутное промедление на краю вонючей топи сильно уменьшило расстояние между ним и догонявшими. Те уже спустились на территорию сточных вод и перепрыгивали в пьяном задоре с кочки на кочку, стараясь не потерять его следа в траве, но так как плохо держались на ногах, то постоянно оступались, сотрясая ругательствами джунгли сорняков.

На берегу никого не было. Берег здесь был голый, одни камни, грязный пляж с обеих сторон заперт глухими заборами. Он понял, что тут-то его и настигнут, и отделают. Близ берега, на мелководье стояла лодка, и музейный мальчишка, сидящий в ней, неспешно выбирал из воды цепь прикола, готовясь отчалить. Годовалов заметался по песку, жестами привлекая к себе внимание парня, вошел в воду и через полминуты уже лежал на дне старого баркаса среди снастей, услышав вслед за тем голоса подваливших к берегу мужиков.

— Дэ той стрикулист? — кричали они.

— Нэма никого, никого не бачив, — отвечал паренек, гребя вдоль пляжа, но не подплывая к ним, и, развернув свою посудину, медленно пошел в открытое море, тогда как те стали разуваться, чтобы вылить из башмаков жидкую грязь пополам с кислотой, потому что им щипало ноги.

Мальчишка, ни о чем не расспрашивая своего неожиданного пассажира, добрался до места лова, остановился, бросил в воду каботу, чтобы лодку не снесло, размотал удочки, наживил крючок и, только забросив леску, обратился к Годовалову:

— Шо, били?

Годовалов поднялся со дна лодки, из мокрого подгнивающего ее нутра и молча стал вычерпывать воду своим полуботинком, пока мальиш не подал ему консервную банку.

— Буду тебе помогать, — сказал Годовалов.

Ловля сначала была неважная, и мальчишка косился на него, всем видом показывая, что именно Годовалов виноват в неудаче:

— Рыба нейдет, чует чужого.

Проваландавшись с удочками некоторое время, парень принял какие-то странные действия, ничего, однако, не объясняя своему спутнику, и Годовалов, чтобы не мешать, отвернулся. Рыбак сменил наживку, шепча что-то себе под нос, снова забросил снасть и, забирая в рот нижними зубами свои, должно быть еще ни разу не стриженные усы, провыл заклинание:

— Пльвы до мэнэ, до Прокопенко!

И рыба пошла!

Добравшись потом до гостиницы, Годовалов мгновенно уснул. Утром, вспоминая эпизод с Коляном и вчерашнюю погоню, подумал, к удивлению своему, что совсем не испытывал страха, а даже — какой-то кураж, и усмехнулся, понимая, что все произошедшее — почти юмористическая история.

К ритмичному стуку в порту присоединился еще какой-то низкий непрерывающийся гул, но эти звуки сейчас его не трогали, хотя от непонятных, необъяснимой природы шумов страдал он всегда, как и от радио, которое в бараке орало с шести часов, так что ээки утром поднимались с нар под звуки гимна.

В то же время он, благодаря чуткости слуха, избег многого. И тогда, когда был брошен в тот барак, где доходяги, все проигравшие с себя, голодные и голые, ночью бросились на него, чтобы насильно раздеть и отнять все, что у него было... И потом, когда уже невольно стало, осточертело это — жить, снимая угол в кислой избе, отмечаться ежедневно в местном НКВД, и он самовольно ушел с места поселения и пробирался по глухомани к железнодорожной станции... И позднее, в блужданиях по здешним грунтовым катакомбам, когда он обходил стороной грозящий осыпью участок, улавливая в тишине характерное поскрипыванье кремневых песчинок...

Тот переход через тайгу, хоть и оказался удачным, дорого ему дался. Кроме мороза и опасности просто замерзнуть, не проснувшись вовремя у погасающего костра, было еще несколько моментов, которые могли запросто привести его к гибели.

На лыжах передвигаясь тогда по тайге, в безлюдье, с запасом еды на три дня, он постоянно слышал стуки, непонятно откуда идущие, стуки, через несколько секунд отзывающиеся шорохом, и, порядком струхнув, сообразил, что его пасет большой голодный зверь. Он знал, что волки здесь привыкли к человечине. Пришлось срочно разжечь огонь. Протоптался у костра немалое время, хотя и не видя самого хищника, а только промельк его остроухой тени, но как бы всей своей животной сущностью чувствуя зверину, пока тот находился рядом.

Тогда же, продвигаясь без лыжни с тяжелой поклажей, уже втянувшись в бег и не видя никаких человеческих следов, он не заметил, как оказался на заброшенном погосте какой-то местной народности. Деревянные знаки на могилах, развешанные на деревьях выцветшее тряпье и старые ружья, длинноносый худой чайник и череп медведя. Не прошел еще через кладбище, когда увидел мчащуюся ему навстречу по редкому березняку упряжку собак. Оробел так, что перехватило горло. Знал, что люди здесь все на виду и на счету. В голове стучала одна мольба: «Пронеси, Господи!».

Он был весь в поту, со лба покатались кисловатые капли. Местное население ненавидело эзков, хлебнув горя после амнистии пятьдесят третьего, когда уголовники хлынули по Сибири. Он понимал, что если на него нападут, то придется драться, а может быть и убить человека, свидетеля его побега, но понимал и то, что убить не может.

Из нарт выпрыгнул приземистый, с редкой бородкой, узкоглазый мужик в меховой одежде и, протянув правую руку, спросил отрывисто:

— Началник, куда едешь?

— Из московской экспедиции «Шайтанка» на станок Агафониха, — отвечал он, заранее продумавший, что будет говорить в случае подобной ситуации.

Собаки, спервоначалу недоверчиво и даже злобно уставившиеся на него, улавливая дружелюбный тон разговора, заболтали мохнатыми хвостами. Угостившись махоркой и, как видно, успокоившись насчет сохранности кладбищенских

реликвий, мужик уселся в санки и, помахав рукой в расшитой рукавице, крикнул: «Москва якши!», стегнул собак и быстро покати́л прочь по сверкающему на солнце снежному насту.

Хотя все и окончилось благополучно, он понимал, что встреча эта не была случайной. Слышал и раньше, что при малейшем нарушении порядка на кладбище тут же, непонятным образом, по каким-то неведомым каналам в глухой тайге быстро объявляется тревога и местные жители будут преследовать и жестоко расправятся с каждым, кто осквернит место родового упокоения.

Виктория Георгиевна поднялась по центральной лестнице на верхнюю эспланаду и взошла по выбитым в известняке ступеням еще выше, туда, где в память о войне на самой вершине горы зажжен был факел вечного огня. Пахло солярккой, копоть зачернила камни.

Гряда разновеликих зеленых курганов огибала город, на одном из них вертела свои решетчатые тарелки радарная установка. Отсюда были хорошо видны и «хрущевки» жилых кварталов, и водонапорная башня, и постройки порта возле таможни восемнадцатого века с почерневшим куполом, а вдалеке — ржавый круг гигантского аттракциона, неподвижное «чертово колесо». Ярусом ниже того места, где Виктория Георгиевна остановилась, начинались на горе круговые улицы с белеными домиками и глухими каменными заборами, как бы продолжающими фасады домов, что при здешних норд-остах, видимо, создавало некоторую преграду холодному ветру зимой.

За всю эту гору, за всю эту заповедную, исторически ценную территорию должен был нести ответственность музей. Озабоченно оглядывала новоиспеченный директор это свое хозяйство, прежде чем спускаться по безлюдной дороге вниз.

На западном склоне располагались беззаконные огороды с заборчиками из колючей проволоки и полос шифера, из врытых в землю спинок старых кроватей. Надо было бы прийти с милицией и разрушить эту самодетельность, но директор ходила и ходила вокруг, понимая, что не от хорошей жизни это все. Смущало только, что здесь, где никогда не велось исследований, глубокая копка могла смешать археологические слои, нарушить стратиграфию. Понятно, что местным жителям нет дела до археологии. Рассказывали, что если бульдозерист натыкается во время земляных работ на стелу, кладку или древнюю могилу, он старается скорее все разрушить, срыть, во всяком случае, как-то спрятать, иначе пришлось бы задерживать дело, а время вынужденного простоя

не оплачивается. Походя, пару раз осмотревшись кругом, заметила она на пустыре и несколько кладонископательских ям, грабительских закопушек, как говорили тут, и это была еще одна отдельная забота.

Подпорные стены на террасах горы высотой иногда в четыре-пять человеческих роста, имели контрфорсы из каменных блоков и напоминали собой стены священной местности в Дельфах, где совсем недавно Виктория Георгиевна побывала, правда, турпоездка была не по специальности, а как поощрение по партийной линии.

Идти было легко, приятно, белая булыжная мостовая хорошо сохранилась, лишь кое-где темнели проплешины, и видно было, что здесь везде глинистая почва. Один и другой раскоп остались позади. Среди травы виднелись остатки античных водостоков, и даже галечный пол сохранился на одном участке, но склон был страшно замусорен, а в археологических траншеях лежали смятые бумажные стаканчики и тарелки из фольги, следы какого-то общественного мероприятия.

«Надо здесь организовать дежурство по праздникам», — планировала директор, уже осведомленная о том, что девятого мая, в День Победы весь город устремляется сюда на поминальную тризну, что у обелиска устраивают митинг, на центральном раскопе ставят выездные буфеты, и народ прямо тут выпивает и закусывает.

Сразу же по приезде в Город, при первом же посещении райкома, когда ее как нового руководителя представили заведующему отделом культуры, был разговор о политпросвещении, и сразу же ей поручили для школы пропагандиста, работающей при райкоме, подготовить лекцию на тему «Ленинские принципы пропаганды». И не отвертись, надо. Начиналась ее жизнь здесь совсем не с того, что виделось там, в Ленинграде, перед отъездом, когда она думала, что в музее, в спокойной обстановке будет скифами заниматься.

Однако все эти мысли о служебных проблемах были сейчас отодвинуты. Встреча с Годоваловым, странное его равно-

душие и неопределенность их отношений в будущем — вот что занимало ее и мучило душу. Конечно, столько лет прошло, она постарела, но неужели ничего не осталось у него от прошлого? Ведь она те его слова помнит до сих пор, помнила всю жизнь! Может быть, время виновато, время убивает чувства...

Виктория Георгиевна спустилась на самый нижний виток дороги и шла посередине улицы, почти ничего уже не замечая вокруг, как вдруг в канавке, в промоине на мостовой увидела довольно крупный фрагмент черепицы. Нагнулась, подняла и стала рассматривать. Клеймо хорошо сохранилось. Римских воинов, когда не было военных действий, привлекали к различным работам, в том числе и к изготовлению стройматериалов. Изделия клеймили штемпелем с названием того легиона, к которому принадлежали сделавшие их солдаты. Держа в руках теплый кусок керамики, Виктория Георгиевна осознала вдруг, сколько всего предстоит ей тут, в городе, пережить. В музее пока не на кого было опереться, партачейка была совсем слабая, три человека. Знакомые в Городе были, но она все не успевала ни с кем познакомиться.

Уже на первой неделе пребывания здесь в том же отделе культуры Велецкая была посвящена в планы местного начальства, как обеспечить культурный отдых руководящим товарищам, систематически приезжающим сюда по делам. Намечалось поставить в хорошем месте на прикол пассажирское судно, уже непригодное для плавания, и переоборудовать его под базу отдыха. Каюты, ресторан, обслуга из девушек, купанье, рыбалка,.. Может быть, эстрадный концерт, но не каждый день, понятно. К ней, новому директору, обращались, как она поняла, не просто за советом, но как будто и к участию в этих мероприятиях приглашали, допустив почти сразу же и в райкомовскую столовую, в этот свой рай, где все есть и даже уже расфасовано, чтобы нести домой. Хотя и выходило, что это полагается ей по статусу, Виктория Георгиевна сразу же отказалась от такого спецобслуживания. Она принципиально не могла себе позволить пользоваться какими бы то ни было привилегиями. Еще в

Ленинграде, не будучи избалованной продовольственным изобилием, она заранее была готова к здешним трудностям, и плохое снабжение не являлось для нее трагедией. Из солидарности с трудящимися она даже согласилась бы установить для себя некий «партмаксимум», включающий лишь скромный набор самого необходимого.

Только вот вода здесь горькая, и у жителей, по разговорам, почти у всех желчнокаменная болезнь. Поэтому издавна воду здесь разбавляют вином, лоза фильтрует соль... Виктории страшно, до озноба, захотелось вдруг сладкого (сахару или шоколада), и она внутренне пристыдила себя: «Как маленькая...».

Она знала этот город давно, еще с тех пор, когда ее муж, профессор Велецкий, до своей опалы руководил здесь раскопками. Археологическая экспедиция Академии наук состоялась сразу после войны, когда еще и поезда прямого не было, и надо было сначала добираться до Симферополя, а потом ехать в Город чуть ли не на возах. Сколько знаменитых ученых побывало тут! То, что находили ценного во время раскопок, увозили, как правило, в Эрмитаж или в Москву, оставляя для городского музея рядовой материал и неподъемные каменные находки. Надо сказать, она, Велецкая, уже успела проявить здесь характер и профессиональную принципиальность, настояв на том, что найденный московской экспедицией в этом году железный меч со сценой львиной охоты никто не имеет права забрать в Москву, из-за чего у них с Осповым вышел очень суровый разговор.

Она вышла к морю и медленно побрела по набережной. Солнце стояло у нее за спиной, и она все время наступала на собственную тень на асфальте. Волны, мирно плещущие рядом, притягивали ее к себе и порою брызгали ей на ноги. Время от времени раздавался характерный звук «ульк-уль-уль» при накате и откате волны от бетонной стенки берега.

«Я женат, и не о чем нам разговаривать», — повторяла она про себя с обидой слова Годовалова. Хоть она и узнала его сразу, едва лишь увидела, он, конечно, сильно изменился, не только поседел, но как бы и вообще потерял некото-

рые из присущих ему отприродно внешних черт. Пережитое отпечаталось в лице и во всем облике: эти его сутулые плечи, замедленная речь и тот совершенно незнакомый ей, какой-то приглушенный голос. Все это она теперь вспоминала, досадуя на то, что о своей жизни он ей так ничего и не рассказал. И хотя Виктория Георгиевна все еще не могла унять в себе чувства оскорбленности из-за того, какое бездушие он проявил в отношении дочери, ей-таки приходило в голову, что и сама она виновата, может быть, как-то не так повела с ним разговор.

Море казалось зеленоватым и лишь вдалеке, близ линии горизонта, лежали длинные полосы серебра. Когда же, дойдя до конца набережной, она повернула и пошла назад, море вдруг сделалось серовато-голубым, поверхность заблестела радугами. Такое внезапное изменение цвета воды показалось ей удивительным и заставило оторваться от своих мыслей. Она остановилась и медленно, но почти автоматически, поворачивая голову туда-сюда и словно проводя какой-то научный эксперимент, глядела на море и примечала, как оттенок его меняется в зависимости от того, налево она смотрит или направо. Привычный для этого места ветерок дул в сторону берега, заставляя мелко дрожать поверхность летящих к набережной косоватых волн. И, наблюдая этот трепет воды, когда бугорки зыби оказывались видны либо все с передней, выпуклой их стороны, либо сплошь — с тыльной стороны, можно было видеть то одни синие, то вместе синие и зеленые корпускулы преломленного в воде света...

Она шла по городу и снова думала о Годовалове. Неужели все забыто, и университет, и та жизнь? Вспоминалось то недолгое время после войны, когда они виделись каждый день, и он — высокий, скуластый, с копной неприглаженных волос на голове — так убежденно говорил о будущем, читал ей вслух стихи из дореволюционных сборников (Хлебникова и Крученыха), а Лермонтова знал наизусть. И однажды рассказал о своем отце, а затем познакомил со своей теткой, которая в свое время, когда отца посадили, не считаясь ни с чем, приняла их с братом в свой дом. У тети он и жил после демо-

билизации, вернувшись на исторический. Позднее от старухи-тетки она что-то смогла узнать и о его аресте, и о его деле, но писать ему в лагерь боялась. Он и не представляет, сколько ей пришлось вытерпеть: как даже родные от нее отвернулись, и как она, беременная, не знала, куда приткнуться...

Сбиваясь в мыслях на нынешнее время, она вдруг подумала, что люди здесь, в музее, ей все чужие, что за каждым ее шагом будут недоброжелательно следить. Многие музейные должности занимали родственники прежнего директора, не привыкшие к дисциплине. Примут ли они ее новшества? Виктория Георгиевна и не догадывалась, что коллектив в музее уже разбился на две группы: одни были за перемены, за нового директора, другие настроены против нее и готовы на всякие каверзы.

Годовалов устал, устал от необходимости сдерживать свои естественные реакции. Нервы совсем сдавали... Из всей экспедиции только с Ильей мог он себе позволить откровенность. Алька была не в счет, с Алькой было у него совсем другое, не теории же с ней разводить. Но с Ильей, к сожалению, он с самого начала не взял верного тона...

Илья догнал его у самой гостиницы и, хотя сейчас Годовалову было не до него, они остановились, и Илья, о чем-то незначительном сперва сообщив, дальше стал говорить, как будто продолжая тот, начатый когда-то их спор.

Годовалов понимал, что спор этот, по существу, совершенно бессмысленный, потому что здесь, в стране, где практически невозможно купить ни книг по истории, ни трудов по богословию, ни библию, у людей религиозные знания самые поверхностные, извлеченные частью из русской классики, частью же из атеистической литературы. Так и сам Годовалов когда-то пытался найти хотя бы цитаты из Бердяева. Полемика их с Ильей не имела под собой никакой научной основы. Спорили два недоучки. А он, Годовалов, во всем был недоучкой, каких-то даже элементарных знаний не хватало, не дали доучиться, прочитать, узнать! Сначала война, а потом и лагерь, и высылка, а потом какое уж учение... Впрочем, недоучками здесь были даже и люди с дипломами.

Все философские истины черпались в основном из учебников этих паршивых, а источников не читали вовсе. Например, когда проходили они в университете Канта, только один студент из их группы Канта прочел, да и то «на спор». Сам Сталин был недоучкой, а командовал науками — ого-го как!

С тяжелой головой слушал Годовалов Илью, который опять завелся на излюбленную тему.

— Мне надо идти, — сказал Годовалов наконец.

— Вы имейте в виду, — выпалил вдруг Илья, — что к бою я не имею никакого отношения. С теми, кто зад лижет Осповому, я не собираюсь кучковаться. И вы на меня всегда можете рассчитывать.

Поднимаясь к себе в номер, Годовалов с досадой думал о том, что в экспедиции, оказывается, кипят страсти, и он, к несчастью, оказался в центре внимания.

На прощанье Илья вдруг сказал: «А я влюбился... И даже стихи написал. Вот, хочется вам показать». И протянул Годовалову тетрадку.

Истомившись в душном номере, Годовалов вышел из гостиницы и пошел на набережную. Лишь здесь можно было дышать. Он тосковал по Альке, думал о своем неудавшемся разговоре с Викторией и инстинктивно понимал, что Альке рассказывать ничего об этом не следует.

Музыка на танцплощадке в парке еще не смолкла, но прибрежные огни гасли один за другим. Он дошел до того места, где кончается бетонный парапет, и повернул назад. Стало совсем темно, только у старой таможни горел фонарь. Он стал спускаться по ступеням к воде, но тут же кинулся бегом прочь, поняв, что попал во владения припортовых девок. Здесь они обслуживали ненадолго сходящих на берег матросов, и несколько пар как раз стояли сейчас у стенки берега в недвусмысленных позах.

Сегодня он, вроде, курил немного, но когда, похлопав себя по карманам, достал пачку сигарет, там лежала всего одна, последняя. Все киоски были уже закрыты, однако он понимал, что до утра без курева вытерпеть будет ему трудно, и двинул в береговую забегаловку. Вошел, все столы пу-

стые, кроме одного. Рассчитавшись за сигареты, он повернулся спиной к стойке, чтобы выйти, и увидел компанию: и татуированный, тот самый амбал, от которого в прошлый раз пришлось уходить ему по болоту, и мужик в кепаре из шайки Коляна сидели за столом среди таких же, как они, и нагло глядели на него. Двое молокососов, по виду, из той же банды (съявки!) маячили у дверей. Годовалов понял, что уж тут не уйти. Неожиданно из-за стола поднялся, жестом привлекая к себе внимание собутыльников, седой, восточного типа человек, в суконном, несмотря на жару, пиджаке. «Я сам с ним поговорю», — сказал он, и, пропустив Годовалова в дверь впереди себя, громко ее за собой захлопнул.

Они шли по совершенно темным переулкам. Незнакомец молчал. Лишь когда они свернули к гостинице и оказались на освещенном участке тротуара, спросил: «Помнишь меня?». И стал говорить, что наезжает сюда, в Город, время от времени, но в гостиницу не устроишься, и он тут живет у одного на хазе. А приехал узнать, не примут ли его в виноградарский колхоз, тут, в пригороде, потому что тянет его на родину. Постепенно Годовалов начал понимать, о чем речь: что это — один из выселенных крымских татар, и наконец догадался, что действительно когда-то раньше встречался с ним здесь, и что бить его татарин не собирается.

Это был тот самый, из прежней жизни, человек, которому некогда он, Годовалов, прибывший в Город, чтобы все подготовить для той, после войны, экспедиции Велецкого, помог уйти от милиции. Тогда, чтобы устроиться в «Дом рыбака», требовалась справка о прохождении санобработки, и, помнится, тут же, за углом, за пять рублей получив такую справку, Годовалов поселился в номере вдвоем с каким-то, как оказалось, приехавшим издалека, молодым парнем. Администратор, сама оформившая этому приезжему документы на проживание, через некоторое время вошла к ним и сказала парню: «Вам здесь жить нельзя». Из их разговора стало понятно, кто такой этот его сосед. Когда, буквально через десять минут, Годовалов из окна увидел продвигаю-

щуюся по двору группу милиционеров, татарин был еще тут и невозмутимо пил только что взятый у дежурной чай. Годовалов безмолвно указал ему, что на дворе. Тот взял свой чемоданчик, отворил створку окна и, перебросив ноги через подоконник, вылез. Годовалов запер окно на шпингалет и сел за стол над его стаканом чая, еще не успевшего остыть. В дверь постучали. Он неторопливо поднялся, но не успел открыть, потому что двое милиционеров ввалились в комнату с вопросом о соседе. «Не знаю, я выходил. Вернулся, а его уже не было», — отвечал он им. Милиционеры побежали к дворовому выходу из гостиницы.

Татарин отлежался на бетонном плоском козырьке под окном, скрытый ветками акации. Несмотря на то, что все наружные двери здания были блокированы, его не поймали, а как только сняли наряд, он спрыгнул вниз и исчез.

И сегодня, хотя времена, вроде бы, изменились, татарин по-прежнему не мог поселиться в Крыму и, как видно, нашел себе и пристанище, и заработок в бандитской среде. Годовалов протянул ему руку, прощаясь: «Передай Коляну, — он знает, — карту мильтоны отобрали».

На следующий день перед обедом он вернул Илье тетрадку со стихами, но бедный парень так и не понял, одобрены ли его вирши. Вместе с тем Годовалов, вообще-то после заключения избегавший знакомств и слывший в институте бирюком, не просто симпатизировал этому молодому человеку из-за его непохожести на других, но и чувствовал, что по-своему все больше привязывается душой к этому болтуну и баламуту. Часто, чем-то невольно копируя Велецкого, рядом с которым в свое время он сам выступал как ученик, Годовалов пытался осадить и утихомирить молодого своего товарища.

Когда-то, выслушав рассказ Годовалова о заградотрядах, Велецкий заметил ему: «Такие отряды были и в афинском войске, и в Спарте, и у персов». И сейчас, когда Илья возмущался «железным занавесом» и невозможностью простому смертному у нас поехать за рубеж, Годовалов отвечал на это:

— Что было, то и будет, как сказал Екклизиаст. Закрытость наша вас возмущает, но и Спарта закрыта была для чужеземцев. Ни иностранцам приезжать, ни своим покидать рубежи государства нельзя было — и гражданская община Спарты не знала смут. А если все тут станут ездить за границу, пойдет критика нашей жизни, критика системы, и в том, про что нам тут твердят, про загнивание капитализма, например, многие и вообще могут усомниться!

Сегодня Илья, как всегда резко, произносил свою отповедь несовершенному миру, на этот раз обличая немцев за то, что они в войну ограбили местный музей, и предлагая по суду требовать возвращения назад увезенных сокровищ. Неожиданно Годовалов отозвался на его слова:

— По поводу «золотого чемодана», о котором пишут газеты, все не совсем так. То-то и оно, что коллекция Матэ, по крайней мере половина золотых украшений из кургана: и браслеты в виде змей, и электроновые статуэтки, и эти золотые венки с головой Медузы, — судя по описям, исчезла не во время войны, как говорят сейчас, а гораздо раньше. Причем все это происходило по указанию сверху.

И дальше рассказал, как после революции, с конца двадцатых, распродавали художественные ценности, даже и самого Эрмитажа:

— Золотые античные серьги продавали, оценивая их по весу металла. Иностранные антикварные фирмы давали заказ: «скифское золото», «итальянский примитив», «иконы». И все пошло на вывоз, а в музеях, в инвентарных книгах вычеркивали названия вещей (десятками, сотнями!) и ставили печать «Антиквариат». А объясняли идеологически: «Сейчас продадим, а через два года будет мировая революция, и все равно все будет наше». Или: «Будет коммунизм, и можно поехать в Америку и посмотреть».

Золото из раскопок, как видела Алька, было совсем не похоже на те ювелирные украшения, которые лежат теперь в витринах магазинов. Этот тускло-желтый металл казался хрупким и каким-то грязеньким. Она вообще не понимала, почему так ценят золото, почему за него убивают. Горсть зер-

на казалась ей более ценной, чем слиток этого драгоценного металла. «Это же — условность?» — не зная каких-то совсем простых вещей, сказала она как-то Годовалову. Тот невесело улыбнулся, подтверждая, что она, в сущности, права. И проговорил вдруг:

— Проклятое золото!

Алька в очередной раз была удивлена той тревожностью, которая появлялась у Годовалова при разговорах на эту тему. А тот объяснил ей, что, объявись он со своей картой, со своим кладом, бед не оберешься:

— Это на минуту радость. А все пойдет вразнос, вещи растащат по разным местам, да и лежать они будут в хранилищах, редко когда попадут на выставку. Пусть все останется здесь.

И рассказал, кстати, что именно из-за золота Фидий умер в тюрьме, рассказал, как снимали со статуи Афины ее платье из золотых пластин, чтобы взвесить и уличить скульптора в хищениях.

Во сне он знал, что это не сама война, что это сон.

Они, бойцы окруженной и обезглавленной дивизии, потерявшие свои части, лежат на земле, в поле. От зноя плавятся мозги, каски давно брошены... Целый день безостановочно по дороге, совсем рядом, движутся немцы, их хорошо видно сквозь редкий лес придорожных посадок. Молодые, здоровые и чем-то очень похожие на нас... Едут на машинах, с песнями... Едут мимо них, залегших в высокой пшенице, едут, их не замечая... Двигутся танки, грузовые машины, немецкие тягачи...

Но вдруг там, во сне, все внезапно изменяется. С другого края поля надвигается какой-то незнакомый шум. Бряцанье и звон металла, крики, военные команды на неведомом языке... И наши бойцы видят, что по желто-зеленым хлебам наступает другое войско, идет прямо на них, к тому месту, где они скрываются, и не убежать, не спастись! С одной стороны немцы, с другой — эти страшные персидские полчища. Воины все в полотняных панцирях, со щитами в руках, шагают ряд за

рядом, неисчислимые... Вслед за пешими — всадники с мечами, головы не покрыты, но на коней надеты кожаные налобники и нагрудники... И они, солдаты разрозненных, разбитых частей Красной Армии, брошенные на произвол судьбы своим командованием, лежат плечом к плечу среди колосьев, выставив наизготовку еще оставшееся у них оружие, у кого что: пистолет, винтовка... И он, не потерявший все-таки своей кирзово́й куртки танкиста, тоже лежит на животе, палец на спусковом крючке... Кто-то из наших стреляет, палит из винтовки, не сдержав нервного импульса, но персы проходят, не обращая на них никакого внимания, словно бы и не замечая их вообще, хотя и огибают аккуратно тот участок с примятой пшеницей, где они залегли...

А за войском едут одноконные повозки, странные, невиданные... На оси колес у них насажены железные серпы, лезвием повернутые к земле... И понятно, что колесницы такие предназначены для того, чтобы резать живую силу противника. Вот сейчас и начнется эта мясная, эта кровавая жатва! «И выкосят, искрошат всех в сечку, меня первого!» — думает он, вжимается в землю и зажмуривает глаза... Но колесницы, никого не задев, катят дальше... «Почему же они идут за войском, почему не впереди него?» — переведя дыхание, задается он вопросом и тут же сам себе отвечает, что это для того, чтобы люди не вздумали отступить. Воины знают: то, что там, у них за спиной, колесницы эти, гораздо страшней вражеских построений. Колесницы резали бы своих, поверни те вспять! Он хорошо разглядел, как они установлены, серпы эти, эти косы. Поставлены так, чтобы разить лишь того, кто бежит, кто на ногах. Лежащих — раненых, убитых — они не достигают...

Он опять закрывает там глаза и тут же вскидывается, проснувшись...

Последняя неделя перед отъездом в Москву превратилась в череду прощаний с местными любителями археологии и городскими энтузиастами, не раз за сезон помогавшими Осповому и своими связями, и физическим участием в трудах экспедиции.

В один из дней явился местный Геркулес, такелажник Бабичев, пьяный в дым и с большущим арбузом, порядком оббитым и поцарапанным, потому что Бабичев, пока взбирался на гору, несколько раз упустил арбуз из рук. Такелажник пришел, чтобы угостить на прощанье своих друзей-москвичей, от обеда отказался и стал колобродить, заглядывая в палатки и приглашая всех отметить отъезд. Когда спросили, где же он с утра успел надраться, тот поведал, что у его сестры родился сын, то есть племянник Бабичева, получили в магазине по справке из загса на родине ящик водки, уже третий день пьют, и сюда он тоже принес.

Однако мало кто вылез к столу, все возлежали после трапезы, и парень, рассердившись на такое к себе невнимание, разошелся во всю и стал хватать спящих за ноги. Все это было по-доброму, но когда Бабичев вытащил насильно из палатки девушку-лаборантку, приехавшую сюда вместе с профессором Веричем, сам профессор страшно осерчал, выскочил, чтобы обуздать нахала, и даже пытался взять Бабичева за грудки. Правда, мускулы такелажника были так тверды, что когда Верич на него в гневе наускакивал, профессора отбрасывало в сторону, хотя силач Бабичев и пальцем не пошевелил, готовый за свою бестактность принять наказание от уважаемого человека.

До последнего дня Годовалов без выходных был на раскопе, сидел и по вечерам на горе, чтобы обработать весь материал до отъезда, но мысли его были далеко от экспедиционных проблем. Он думал о своем, об Альке и о том, что вот-вот надо расставаться, а в Москве неизвестно, как будет. Но размышлял он и о другом.

Когда после выходов Бабичева, восхищаясь тем, как свободно такелажник нарушает приличия, Илья заговорил с Годоваловым, тот снова свел разговор к этому феномену, какой-то наследственной нацеленности человека здесь на саморазрушение, каким считал и пьянство. «Кто про что, а вшивый про баню», — уже готов был из-за этого взвиться Илья.

— Осознанного желания умереть, может быть, и нет, — размышлял Годовалов вслух, — но порою сам образ жизни, некая атрофия чувства опасности, когда человек мирится с вредными условиями труда, не хочет идти к врачу, если заболел, обнаруживают такое подсознательное стремление. Не говоря уж об алкоголизме и абортах у женщин ... Правда, к суициду больше склонны все-таки мужчины... Нам долго твердили, что эта беспощадность к себе, этот трудовой энтузиазм идут на созидание, служат на благо потомков. Но такая пропаганда только оправдывает пристрастие к смерти и провоцирует на мазохистское удовольствие ее предвкушения.

Годовалов распространялся о том, что как раз так, убийственным для себя способом, люди пытаются решить и личные проблемы:

— У подростка нет джинсов, не на что купить — и он режет себе вены. Не заладилась семейная жизнь, но человек не прилагает усилий, чтобы ее как-то поправить, а замыкается в себе, опускается, спивается: «Все равно конец!».

— Вот еще, возьмите такой факт, — продолжал он, — при езде в автомобиле полагается пристегиваться, милиция штрафует, если это правило нарушают, и ремни такие в каждой машине есть. Но никто не делает, как полагается, обычно просто набрасывают ремень на плечо. Лень защелку нажать ради безопасности собственной жизни! А это постоянное любопытство к убийству, гибели, к подвигу со смертельным исходом! И тут чаще речь идет не о той подвижнической смерти, когда человек добровольно приносит себя в жертву, а о какой-то бессмысленной тяге к небытию.

— Какая ерунда! — сказал ему Илья. — Вот я совершенно не собираюсь умирать!

— Но ведь вы и не есть русский по крови, — осторожно отвечал ему Годовалов. — И смешение с другими национальностями спасительно для нас.

Илья ничего этого не понимал, не принимал:

— Это ваше христианство со своим раем и адом, оно и есть стремление на тот свет! — с раздражением повысил он голос. — Но атеизм спас нас для нормальной жизни!

«Как раз христианская вера победила языческую смерть, это чувство неизбежной гибели!», — так надо было бы ответить на это, но сбивчиво, непоследовательно отвечал ему тогда Годовалов. Надо было бы сказать, что, как ни парадоксально, у нас, в советской идеологии, сейчас укоренились окончательно именно те отсталые представления, которые в свое время пришли к грекам от финикийцев, а к иудеям от вавилонян: что после смерти все равны и нет никакого воздаяния за грехи. Загробье, край печали, где люди находятся в сумрачном, полусознательном состоянии, греки все-таки считали местом возможной встречи с прежде умершими. Но атеизм, отменив уже познанные, благодаря христианству, понятия о бессмертии души, узаконил для человека конец вообще, его небытие навсегда. Так надо было бы обо всем этом сказать Илье, но не получилось.

Вера самого Годовалова была не в том, чтобы ходить в церковь. Со времени освобождения из лагеря эта вера, скорей, выражалась в его постоянном мысленном благодарении Богу за жизнь, как ни была эта жизнь исковеркана, как ни была она трудна.

Близился прощальный вечер экспедиции. Уже упаковали находки и вынесли в отвал целую гору черепков — от родоских белоглиняных сосудов, гераклеийских амфор, аттических тонкостенных ваз. Все они были учтены, описаны и больше не нужны археологам.

Наперед было известно, что произойдет в этот последний день. За обедом по обычаю доедят всю оставшуюся тушенку, а ночь просидят у костра.

Альке было невозможно пережить здесь даже два-три лишних дня. Работы на раскопе у нее больше не было, и она решила срочно ехать в Москву. Понимала, что сейчас надо от-

страниться и от мужа, и от возлюбленного, чтобы обдумать, что делать дальше.

Прощание с Юрием Петровичем было поспешным. И при этом, неизмеримо грустном прощании он сказал с отчаянием:

— Ты не жалеешь моего сердца. Оно все в шрамах! Не в отъезде дело! Просто ты меня бросила! Каким отвратительным старикашкой я теперь стану!

Она собрала вещи, выбросив истоптанные кеды, оставила мужу лаконичную записку «Я уехала» и за час до отправления московского поезда с рюкзаком на спине побежала с горы окольной улицей, чтоб никого из экспедиции не встретить по дороге. Спустившись на среднюю террасу, она приостановилась на площадке лестницы, оглядывая с возвышенности порт и город, широко разлегшийся по берегу моря, и увидела вдруг, что на некотором отдалении за нею движется по мостовой целая свита. Все ее дворняги, все эти байстрюки, не утопленные, пока были щенками, тощие, с клочковатой шерстью, комки сухого репейника на боках...

С некоторых пор девочкам надоело кормить собак, и так как теперь одна Алька, преисполненная чувства долга, оделяла малых сих едой, выходя после ужина с миской костей, собачья братия признавала ее самой главной среди людей. И сейчас эти шарики и кабыздохи на кривых ногах, и Волчик, самый высокий среди псов — в обычном порядке высыпали всем скопом на дорогу. Когда собаки заметили, что она на них смотрит, они встали, помахивая хвостами, как будто выражая сочувствие и понимая, что бегство ее с базы в неурочный час связано с каким-то неординарным тревожным событием. И ценная сука с длинными воспаленными сосками, привыкшая получать из ее рук время от времени ливерную скользкую колбасу, тоже нервно, как-то по-женски глядела Альке в лицо. Алька затопала ногами, и собаки отошли назад и следили за ней из-за придорожного бугра. Она шагала вниз, а они осторожно, с добродушными мордами, двигались за нею следом по мостовой, но когда она резко поворачивалась, обращая к ним гневное лицо, замирали, прижав уши и подобрыв хвосты и даже боязливо припадая на передние лапы.

Она быстро добралась до вокзала, где было совершенно пусто, словно никто не хотел уезжать из города. Лишь двое солдатиков топтались возле железнодорожной кассы, оформляя проездные документы. Кассирша разъяснила, что билетов нет и не будет, перед началом учебного года все давно продано, а по брони можно получить билет только через райком. Алька с полчаса слонялась по залу ожидания, а когда вышла из прохладного здания вокзала, смирившись с тем, что затея ее неосуществима, собаки, как оказалось, ждавшие на площади, радостно бросились ей навстречу, скача и покусывая от избытка чувств. И тогда она, присев на корточки, начала гладить всех подряд, а любимец ее, Волчик, подбежав, вылизал ей губы горячим языком и стал бегать возле нее кругами. И она брела по вечернему городу, вдоль пересыхающей речки во главе этой кавалькады лохматых приживалов, никого уже не прогоняя и ласково, точно с детьми, разговаривая с верными своими товарищами.

И пошла прямо в гостиницу, внезапным появлением ошастливив своего покинутого, которого она застала в номере лежащим в ботинках на кровати, в отчаянии и без сил.

Он был ошеломлен тем, что она вернулась, вскочил и, ничего не спрашивая, обнял и прижимал ее к себе, точно в безумии. И словно принося себя в жертву, она сама быстро разделась и, странно осмелев, больше не думала о том, слышат ли их в соседней комнате, следит ли дежурная, смотрит ли кто из окна в доме напротив...

У нее было опасение, что он вот-вот задохнется. В свои пятьдесят с чем-то лет он казался ей весьма немолодым. Ее страшило то, что он так часто дышит (она не понимала, что задыхаться человек может и от чувств). Она боялась, что это у него сердечный приступ. Много ходило всяких анекдотов о подобных ситуациях, кончавшихся для мужчины инфарктом, а то и смертью. «Ты умрешь!» — сказала она, но он твердо, с каким-то серьезным, сосредоточенным лицом шептал: «Пусть!»

Она и сама пришла в необыкновенное волнение и от того, с какой исступленной радостью было встречено ее возвра-

щение, и от его восклицания «Едина плоть!», но ее пугали те, с трудом сдерживаемые, какие-то бессловесные стелания, которые исторгались у него из горла. И вот, боясь, что он действительно умрет, вздрагивая от каждого этого стога, она сама стала прилежно двигаться и ему помогать — раз уж нельзя без такого обойтись, без этого, как ей думалось до сих пор, чисто технического единения. Раз уж принято таким образом мужчине делать женщину своей, раз уж так надо, она как можно больше труда старалась взять на себя. И вдруг в этом действии поняла, что разъединяться с этим человеком не хочет никогда, и старалась держать его в себе, не отпуская — всеми фибрами — вдруг понято стало необычное старинное выражение. И, опьяненный этой новизной во всем, и положением их тел, и этим ритмом ее движений, чего раньше не подозревал в ней, такой девически медлительной, и этим ощущением горячего сжатия, которое в полном смысле этого слова довело его до умопомрачения, он спросил ее: «Как ты это делаешь?». Но она и не понимала, о чем ее спрашивают. Ей просто хотелось его побересть, но от собственных стараний она пришла вдруг в такое состояние, какого не знала никогда прежде, испытывая впервые в жизни то, о чем, как вспоминалось ей потом, читала когда-то в одном стихотворении Пушкина.

Впервые в жизни мужчина стоял перед ней на коленях и с просьбой: «Скажи, что я — твой муж!»

— Ты — мой муж любимый, — произнесла она, как ни странно, не чувствуя себя лгуней и изменницей.

Три дня до отъезда прошли в каком-то безумии. Наедине им остаться больше не удавалось, но ей достаточно было одних воспоминаний, и она повторяла про себя, будто в горячке, те их несуразные, похожие на мычание слова, когда губы словно стремятся к какому-то праязыку, почти животному, но по-своему гармонизированному. На людях, когда он теперь глядел на Альку, ее словно охватывал жаркий морок, зрачки увеличивались, точно от атропина, и она не знала, как утишить сердцебиение и спрятать разнеженное лицо.

Она переживала упоение своим полом, своим женским естеством, понимая, что только женщина может ощутить столько потаенной радости от собственного тела. Она подарила себя, больше у нее ничего не было. И счастлива была и самим этим дареньем, и тем, как благоговейно и в то же время страстно принимался этот ее дар... Память о произошедшем, горение губ и влажность ожидания, когда вдруг становятся так осязаемы, наполняясь теплотой, те органы, которые в обыденной жизни словно спят и не участвуют в действиях бытового существования, огненная щедрость отдачи... Эти сбивчивые мысли сделали Альку немного сумасшедшей. Последние две ночи она без сна бродила по двору, усаживаясь то под одним, то под другим деревом, а днем спала на ходу.

Когда в какую-то минуту после завтрака с геркулесовой кашей за общим столом во дворе она, глядя в небо, произнесла вдруг «Спасибо!», это не было привычное «спасибо» поварам, а словно благодарность за что-то другое, может быть, как услышалось Годовалову, благодарность судьбе.

— Если любишь, больше ничего не надо, — говорила она нараспев, сидя рядом с ним и не обращая внимания на то, слышат ли ее, кроме него, другие. — Только видеть — и счастье! Это мое открытие!

— Две тысячи лет назад сделалось это открытие, — сказал он.

— Кем?

— Иисусом Христом.

Внешне Осповой оставался так же бодр и самоуверен, как раньше. Однако, если прежде говорили: «Стас, конечно, сволочь, но до чего хорош: эта его наглость, эти его усы, это его каратэ», то теперь сочувствовали: «Стаса, конечно, жалко, но до чего противен: эта его наглость, эти его усы, это его каратэ».

Экспедиция как будто разделилась на две партии: одни продолжали бойкотировать Годовалова и осуждали Альку, другие злорадствовали и насмехались над обманутым супругом, но когда Илья, уже не скрывая своей неприязни к

Осповому, особенно громко высказался о Стасе, о скверном его характере, Алька вдруг закричала в голос: «Не обижайте Оспового!» и заплакала на виду у всех, понимая, что и в этом, в непочтительности, которую проявляют подчиненные по отношению к ее мужу, она тоже виновата.

Годовалов должен был ехать в Москву не на поезде вместе со всеми, а на экспедиционном грузовике в качестве сопровождающего.

За день до отъезда Годовалов зашел в дирекцию музея и у них с Викторией Георгиевной все-таки состоялся разговор. В казенной обстановке гораздо легче было разговаривать. Он расспрашивал о родных, о дочери. Больше же всего Виктория говорила о Велецком. Как профессор был уволен из университета, печатать свои статьи не мог, как потом снова устроился на службу. Но сюда, в Город, где в свое время, после войны, он и начинал первые здешние исследования, разрешили ему вернуться в качестве руководителя раскопок только в шестидесятых. И много ждало его здесь несчастий, он и умер тут, и могила его тут.

Голос ее задрожал, но она сдержала себя и вдруг на той же ноте проговорила, глядя в глаза Годовалову:

— Я такой душой тогда была: все ждала, что тебя выпустят, разберутся там, что ты ни в чем не виноват. «Уж на день рождения-то должны отпустить», — думала...

В это время в кабинет ввалился завхоз с бумагами, и она, подписав их, снова вернулась к рассказу о муже. Что преподавание в университете отдавалось истории партии, а античность была в загоне, поэтому учеников в последние годы у профессора было немного, что сколько-нибудь настоящим ученым, защитившим кандидатскую на боспорском материале, сделался один только Горев, по распределению попавший было сюда, в античный отдел, но два года назад выдворенный из музея...

Некоторое время оставаясь в кабинете без посторонних, они целую минуту молчали, а потом она вдруг стала сбивчиво рассказывать, как устроили тогда над ней комсомольский суд и обличали не только за связь с врагом народа, но и за бытовое разложение, напирая на то, что она ждет ребенка. Все закипело в нем и от собственной вины, и от внезапно осознанной

им подлости своих мыслей, когда то, что касалось Виктории, было им самим перетолковано на основании приходивших с воли теткинских писем, сообщавших глухо, что Вита вышла замуж, Вита родила. Годовалов поднялся во весь рост, готовый — на что? — разве только на какое-то импульсивное движение, чтобы просить у нее прощения, что ли... Но в этот момент, бодро в дверь постучавшись, вошла девушка подписывать у директора заявление на отпуск. Виктория Георгиевна, совершенно переменяя тон, пожелала той хорошего отдыха. А после ее ухода, обращая к Годовалову лицо, с которого еще не сошла улыбка, с нервной веселостью вдруг стала вспоминать вслух ленинградскую историю, начавшуюся еще при нем. Как в дом к ним должны были провести газ, но жильцы, уже отвыкшие от дровяных плит и пользующиеся керосинками, устроили целый бунт: «Не хотим! Мы взорвемся!», и как он их агитировал за технический прогресс. Не отзываясь, однако, на ее смешливость, он сказал, что ему пора, и попросил: «Дай мне ее телефон», имея в виду телефонный номер дочери.

Отъезд прошел негладко. Собрав свои вещи и с тощим рюкзаком на плече спускаясь по гостиничной лестнице, Годовалов вдруг услышал: «Мужчина, мужчина, вы забыли свое библиси!» — кричала ему вслед горничная, держа в руках забытый им радиоприемник.

И здесь он выдал себя! Как видно, эти позывные «из-за бугра» были все-таки слышны в коридоре, хоть он обычно и убавлял до минимума звук. Правда, теперь было уже не то время, чтобы за слушание «голосов» сажали. И хотя от вражеской пропаганды ограждали тем, что в продаже не было приемников, работающих в диапазоне коротких волн, в котором, несмотря на глушилки, удавалось бы слушать эти запрещенные передачи, Годовалов собственноручно переделал свой транзистор таким образом, чтобы ловить западные радиостанции.

И до этого на душе у него было скверно, когда же он двинулся к стойке администратора отметить отъезд, то увидел милиционера и услышал, как тот спрашивает именно о нем: «Юрий Петрович Годовалов в каком номере живет?»

Подумав «Этого еще не хватало», он сам обратился к милиционеру:

— Я — Годовалов. В чем дело?

— Надо поговорить, — сказал тот.

— Я уезжаю, меня машина ждет, — сказано было решительно, но отвязаться от милиционера оказалось уже невозможным, и тот, невысокий и белобрысенький, выйдя из гостиницы вместе с Годоваловым, как-то даже и волнуясь, начал на ходу беседу:

— Я знаю, что после войны вы тут работали вместе с профессором Велецким.

— И что? — резко спросил Годовалов.

— Не можете ли принять участие в одном очень важном деле? — сказал милиционер каким-то подозрительно интеллигентским тоном.

«Вербует, что ли, или будет выпытывать, где карта, где золото», — с опаской смотрел на него Годовалов, а тот продолжал:

— Вы, конечно, знаете, что Велецкий в сорока километрах отсюда, на берегу, обнаружил городище, а исследовать его не успел. Комплекс очень интересный, но с тех пор, как на Велецкого завели уголовное дело, раскопки прекратились, а море наступает, подмывает берег, и все рушится в воду. Как человек, Велецкого знавший, вы не могли бы помочь? Профессор вас часто вспоминал.

— Ничего я не могу! Ничего про это дело не знаю! Велецкий — честный человек и ни в какой уголовщине не мог быть замешан, — замахал руками Годовалов на милиционера, почему-то забыв про обычную свою осторожность, и дерзко спросил:

— А с каких это пор МВД археологией занимается?

— Я не представился, — смешался милиционер и протянул руку, — Горев, бывший зав. античным отделом здешнего музея, слышали, может быть?

— Да, слышал, — сказал Годовалов и, взглядом окинув с ног до головы своего спутника, его форменную одежду, добавил:

— Но почему именно милиция?

— Знаете, уволили меня из музея с такой формулировкой, что теперь ни в школу, ни в техникум преподавателем не берут, а в милиции всегда нужны люди, — объяснил Горев.

Они уже взобрались на гору и, не прекращая разговора, дошли до базы, где ждал Годовалов экспедиционный грузовик.

— Так поможете там, в Москве, оформить на меня открытый лист? Надо срочно копать! Как археолога меня ведь не дисквалифицировали, — произнес Горев.

— Вам надо к Велецкой обратиться, — посоветовал ему Годовалов, — она, уж верно знаете, теперь здесь, и в институте археологии, я думаю, свой человек, похлопочет за вас.

— К Велецкой-то я как раз и не могу пойти, — с тоской признался Горев. — Я, можно сказать, — во всяком случае она так думает, — и был отчасти виноват и в этом несчастном деле, и в том, что случилось позднее. Видите ли, начали мы с Велецким копать почти совсем без финансирования. Условия неважные: питьевая вода далеко, питание — одна перловка да кукуруза, которую мы воровали с колхозного поля. Но дело пошло очень хорошо, очень быстро. Весь сезон, что мы работали, находки были чуть ли не каждый день да какие! Жертвенный стол из мрамора с ножками в виде сфинксов, живопись на штукатурке (изображение кораблей в порту)... Но вдруг произошло ЧП: хоть и копали по всем правилам, уступами, но не повезло. Разрез высотой был двенадцать метров, на нем телеграфный столб... И в самый последний день вдруг поднялся сильный ветер, склон поехал, и засыпало наших рабочих, одного — насмерть. Велецкий как руководитель все взял на себя. Его судили (служебная халатность). Я как свидетель проходил. Дали ему два года условно, учли метеорологическую обстановку, но копать дальше запретили. Официально мы и не работали, но Велецкий был очень увлечен поисками крепости, уже ушедшей под воду, нырял в море до октября, мы вместе ныряли, но я ничего, а профессор простудился и заболел. Вызвали Виту, но было уже поздно. Так что к Виктории я не пойду.

— Виктория Георгиевна сама вас найдет, был о вас разговор, — сказал Годовалов.

Шофер экспедиции топтался вокруг машины. Годовалов остановился и глядел с возвышенности вниз на скаты железных, черепичных и шиферных крыш, на зеленые полушария деревьев, кое-где виднеющихся между домами, на склады у переправы... Той переправы через пролив, куда при вступлении в Город немцев выходили, бежали наши люди... А переправы здешние указаны еще у Геродота... И словно прощаясь с местом, где столько пришлось ему пережить, думал о Велецком, наставнике своем, недооцененном до сих пор и оказавшемся так неожиданно и существенно связанным с его, Годовалова, судьбой.

Экспедиционная машина вырулила на шоссе, миновала школу и рынок. После того, как отоварившись на дороге хлебом, хамсой и маргарином, а в подвале у Францевны, — оказывается, знавшей Годовалова до посадки, — купив крымского муската, выехали за городской шлагбаум, Годовалов вздохнул свободней. Из разговора с милиционером он успел узнать одну очень важную новость. По случайности Горев дежурил в отделении как раз в тот день, когда так неудачно закончилась для Годовалова эпопея с подземным кладом. Он, Горев, сам и принял от «водолазов» по акту отобранные у Годовалова при задержании план и эти листочки с прорисовкой монет. «О вещдоках волноваться не стоит, все оформлено так, что не подкопаешься,» — заверил его Горев. Когда же Годовалов заговорил о карте, с которой в свое время и снял этот план, о подлинной карте раскопок с вклеенным новым названием «Феодосия», оказалось, что никакая это не Феодосия. А переделал карту, хранящуюся в музее, не решаясь держать ее у себя, сам Велецкий, чтобы дезориентировать тех, кто вздумал бы по готовому плану потрошить склепы.

Едва только город остался позади, водитель Иван Серафимович совершенно безотказный экспедиционный трудяга, которого за его кротость называли не иначе, как Херувимовичем, начал рассказывать о своем:

— Житья нет, следят. На работе следят, дома следят, нигде нет покоя. Вот приеду в Москву и опять начнется...

Годовалов с сочувствием слушал шофера, а тот жаловался, что подглядывают и подслушивают из квартиры, которая над ним, этажом выше, пробурили потолок и вставили микрофоны.

— Из-за чего же такая слезка? — спросил Годовалов.

— Думают, что я шпион. С женой разводимся, — вздохнул Иван Серафимович и объяснил, — это уже не настоящая жена, а подставная. Приставили, чтобы контролировать. Когда подменили, я не заметил. Ложимся спать, вдруг вижу, это не она. Недаром сама подала на развод, и мы сейчас размениваем квартиру, разъезжаемся.

Окончательно догадавшись, что имеет дело с больным, Годовалов тоскливо молчал, и, лишь когда возмущение шофера достигало особого накала, а машину заносило, клал ему ладонь на предплечье, и тот как будто успокаивался.

Как водитель Иван Серафимович был настоящий профессионал и свой грузовик держал в наилучшем виде, но ни разубедить в его подозрениях, ни помочь этому человеку, как знал Годовалов, было невозможно. В нем дошел до крайности, до патологии тот страх, который мучил чуть не каждого, с кем жизнь сводила сейчас Годовалова. В домах с приходом гостей на телефон клали подушку, уверенные, что через него и прослушиваются все разговоры. Как часто слышал он предостерегающее рычание собеседника на другом конце провода: «Это нетелефонный разговор!»... Его удивляло, что вся эта публика, в чьих семьях порой даже и не было репрессированных, вибрировала от одного лишь намека... Боязнь быть замеченным в антисоветчине была не так велика, как когда-то, но и теперь старались говорить о таких вещах только среди своих.

Казалось, в людях жило представление о существовании какой-то надчеловеческой, безликой силы, воплотившейся сперва в Сталине, а затем в образе всеведущих «органов», силы, которая все знает, все предвидит, все может. В свое время Годовалова возмущало, как быстро его товарищи-подельники начинали давать показания, подробно рассказывая о тех спорах в застолье университетского общежития,

которые и послужили основанием для осуждения их всех по пятьдесят восьмой статье. Но позднее он понял, что однокашники его, молодые ребята, так быстро раскололись не из малодушия, а в уверенности, что следствию и так все давно известно.

Вообще же атмосфера подозрительности связана была не только с государственной слежкой. Годовалову казалось, что в какой-то мере она была также порождением уголовной психологии, выплеснувшейся в народ из лагерей, где пятьдесятвосьмушники, бытовики и указники, осужденные за опоздание на работу, годами находились бок о бок с настоящими преступниками. Будучи на зоне, он наблюдал, как блатные при всей своей профессиональной смелости испытывают постоянный страх предательства, как их ни на минуту не оставляет ужас наказания. Эта их уверенность, что люди — сплошь мерзавцы, что никому доверять нельзя, все эти болезненно-фантастические фобии, которые так присущи уголовникам, оказались заразительными и, вынесенные на волю, распространились настолько, что люди и вообще стали бояться друг друга. Причины тому, конечно же, были. Доносы стали обычным делом, случалось, они касались членов собственной семьи! Рассказывали, как одна женщина, приставленная к неблагонадежному, неожиданно получила от своего подопечного предложение стать его женой, но, даже родив от него детей, продолжала «стучать» и получала зарплату за эту свою работу.

Он видел, что острастка сталинская не прошла даром для целого народа, а психоз привился и в последующих поколениях, хотя страхи нынешние, как он считал, не имеют под собой оснований. В тридцатые годы и после войны, в конце сороковых, когда репрессии касались почти каждой семьи, это было обусловлено реальной вероятностью, если не лагеря, то высылки или поражения в правах. «Десять лет без права переписки» тоже было не редкость в те годы.

С шестидесятых наступило время, когда страх уже перестал быть связан с конкретной опасностью. Теперь же, в семидесятые, многие испытывали боязнь, даже не представ-

ля, чего страшатся, ведь политических дел практически не было. Как он знал из передач «Свободной Европы», и сейчас в лагерях сидели осужденные по политическим статьям, но это были единицы по сравнению с тем временем, когда он сам был в заключении. Инакомыслящим, правда, грозила психиатрическая больница, но не высшая мера. Обывателей же просто так практически не сажали. Однако случалось, что у человека без видимой причины, ни с того ни с сего, еще до какого-либо события возникала, точно малярийный озноб, неодолимая тревога, а сознание подгоняло под эти ощущения прогноз вероятных нападений, словно оправдывая такую физиологическую тоску. И придумывалось: «соседи стучат», «органы следят», «в паспортном номере зашифрована степень лояльности» или еще что-то в том же духе...

Страх, который не миновал и его самого, страх, непропорциональный угрозе, был уже суммарным: генетически закрепленное, унаследованное от родителей чувство опасности и собственный параноический ужас. Однако, как человек, знавший довоенные кампании борьбы с «врагами народа», Годовалов нередко иронизировал над такой трусостью.

Был момент, когда он и сам как будто чувствовал слезку на улице, замечал характерные щелчки в телефонной трубке и один раз, идя с Жанной через Каменный мост, глазами показал ей: «Видишь машину? Это меня пасут». Хотя Жанна осознавала, что такое вполне может быть, она всегда его разубеждала.

Из окон вагона виден был водоем без берегов, тяжелая, как ртуть, мутная вода, редкие белые гребни волн, почему-то казавшиеся твердыми. Горизонт, несмотря на то, что солнца на небе не было, тонул в знойном тумане. Сильно запахло тухлятиной, сероводородом, тянуло каким-то нежилым духом.

Алька глядела на деревянные, с косыми подпорками двуногие столбы, стоящие в воде — похилившиеся, гниющие, но, видимо, еще служащие для электропередачи — и думала о своей жизни. Куда ей ехать, когда сойдет с поезда, что

делать? Жить со Стасом в московской их квартире, откуда вечером не сбежишь, не схоронишься у подружки в палатке, сейчас виделось ей невозможным.

Рельсы шли, то отдаляясь от воды, то прямо по ней, по насыпному гравию. Озеро, далеко простираясь за окнами влево и вправо, светилось широкими полосами: гладкие ленты спокойной воды отражали небо и казались голубыми, а параллельно им протянувшиеся пояса мелкой, тревожно взблескивающей ряби выглядели серовато-синими.

Пара хищников, узнаваемых по характерному силуэту, по наглому раствору крепких крыльев, маячила над озером, следя за чайками, которые здесь были какими-то пепельными и вялыми в безмолвном своем полете.

Внезапно в поле зрения появлялись участки суши, серые островки высохшей грязи. Потом показался пологий голый берег, и потянулась плоская равнина с желтовато-серой травой. Кое-где стояли мертвые озерца с белыми высолами по краям, да и все кругом несло на себе, казалось, налет соли: и придорожные чахлые маслины, и акации с крупными, торчащими врозь стручками, и репейник с поседелыми пурпурными головками. Потом вынырнули за окном рядком посаженные кипарисы, но низкие и заморенные. Местами, в болотистых низинах колыхались от ветра зеленые массы камыша, останавливая на себе тоскующий Алькин взгляд, но эта здоровая зелень быстро сменялась унылой, шинельного цвета низкой порослью.

Промелькнул за окном галькой выложенный на склоне холма лозунг «Слава героям Сиваша!». И хотя название этого места ничего, вроде бы, не говорило Альке, и она не знала ни про то, что в свое время где-то здесь переходили озеро вброд полки Красной Армии, чтобы выбить Врангеля из Перекопа, ни про то, что как раз тут советские войска форсировали Сиваш в Великую Отечественную, и с этого плацдарма ринулись в Крым наши танки, хотя никто никогда не рассказывал ей, как бойцы, стоя по грудь в ледяном этом рассоле, наводили через залив понтонные мосты, — нечто скорбное было во всем, словно как-то отразилось даже и в

пейзаже то, сколько народу убито было тут в разные годы. Что-то горестное улавливала Алька в самом виде этого края с редкими низенькими хибарами из самана, пыльным кустарником и кукурузными делянками, где качались под суховеем на упругих стеблях волосатые початки.

Несмотря на то, что на всем пути, по мере перемещения поезда от одного жилого островка к другому, насколько хватало взгляда, ни на огородах, ни на дороге, ни на берегу не появилось ни разу человеческой фигуры, следы пребывания людей, признаки какой-то сиротской хозяйственной жизни все-таки виднелись то тут, то там. На мелководье — загородки из деревянных кольшков, в заводях — старые лодки и рваные сети. Неожиданно показались на взгорке пасущиеся в сухостое две черные тощие козы. А среди ржавых выростков конского щавеля Алька заметила белый граненый столбик обелиска...

В ней что-то драматически отзывалось на этот вид за окном, словно бессознательно, собственной живую сущностью она чувствовала, что место это гиблое. Алька невольно застонала, как будто и не замечая, что не одна в душном купе, но те девчонки, что ехали с ней вместе, только понимающе переглядывались. Освободившиеся от экспедиционного режима, они наконец расслабились: играли в карты, покупали на станциях картошку с соленым огурцом и теплый лимонад и опять пели страшно надоевшие Альке туристские песни.

Когда озеро осталось позади и воды за окном совсем уже не стало видно, Алька забралась на вторую полку, повернулась лицом к стенке и впала в забытие, которое на время спасало ее от необходимости принимать решения.

Он думал о всегдашней эсхатологической тоске, свойственной людям здесь, в России. Может быть, как раз это было причиной того, что революция совершилась так легко, ведь конца света ждали.

Он подумал, что нынешнее и позднеримское время в чем-то сродни друг другу, что когда при всей мощи и богатстве империи иссякает прежняя религиозная или почти религиозная вера, на которой держалось почитание власти, людей одолевает изнуряющее чувство опустошенности. Так в Риме, в конечные времена античности, человеку здравомыслящему невозможно стало искренне поклоняться этому множеству богов — слишком похожи были они своими пороками на смертных. Годовалову казалось: он понял, что происходит тут теперь. Поклонение Ленину-Сталину сошло на нет, а нынешние руководители не имеют в народе достаточного авторитета. Смешными, гротескными фигурами представляли теперь не только Хрущев и Брежнев, но и Ленин, имя которого не было уже запретным для шуток и анекдотов. Насаждаемый государством атеизм в свое время привел не просто к безбожию, а к тому, что люди как будто снова возвратились в язычество, чуть ли не в самую первобытную его форму, когда обожествляется глава племени. Не случайным и очень точным казалось Годовалову выражение «культ личности Сталина». А сейчас разочарование в прежде обоготворяемых вождах наших привело к полному оскудению душевного начала в человеке, затронув уже добрую половину населения. И получилось, что, как и перед гибелью Римской империи, человек здесь теперь, может быть, тоже находится в предхристианском состоянии, на пороге нового миропонимания.

И хотя коммунистический культ не только был твердо закреплён в гражданской жизни обрядовыми своими чертами, когда всем полагалось участвовать в церемониях официальных мероприятий, а проникнув в сознание личности, культ

этот въелся и в ее психологические глубины, что-то в общест-
стве все же происходило. И, несмотря на целую систему об-
работки мозгов, как знал теперь Годовалов, народ ни в чем
таком уже нельзя было убедить, но безверие переживалось
очень мучительно.

Именно трагическим ощущением в людях своей духов-
ной оставленности и оказались схожи эти, разделенные
тысячелетиями позднеримское и наше времена. И тут, где
человек до печенок набит материалистическими догмами, а
слово «бог» упоминается почти как междометие, уже зрело
то ожидание, то движение, воодушевленностью которого он
сам, Годовалов, тоже был затронут, но о котором ему до по-
следнего времени некому было рассказать.

О Боге, казалось бы, знал он давно, еще ребенком. Для
него это долго связывалось больше всего с памятью о матери.
Отец его слишком увлечен был идеей преобразования старо-
го мира. В те времена, когда не только Пасха и Рождество,
эти традиционные русские праздники, ушли из жизни, но
и елка в Ленинграде на Новый год уже не полагалось ста-
вить, потому что елка в доме члена партии рассматривалась
как буржуазный пережиток, он помнил это оживление у них
дома... Запах воска и хвои, приходы родни с поздравле-
ниями, с подарками ему и брату: то шоколадный мячик из
Торгсина в золотой фольге, то апельсин, то книжка каждо-
му... А на Пасху солнечным утром кулич и крашеные яйца
среди травинки овса, который мать проращивала на окне в
миске с землей. И троекратные, с характерными возгласами
поцелуи, и лица родных, на которых всегдашняя мина оза-
боченности в эти дни на какое-то время сменялась улыбкой
умиления... Все это запомнилось ему, но никак потом нико-
гда не было связано для него собственно с верою в Бога.

Так получилось, что ни в детстве, ни в юности в церковь
он не ходил. Там, в Сибири, куда им пришлось переселиться,
храмы в тридцатые годы были все уже закрыты. И в семи-
летке, и в культпросветшколе, куда он поступил потом, эта
сторона жизни была забыта. Правда, и тот антирелигиозный
пафос, которым проникнута была программа народного про-

свещения, тоже оставался ему чуждым. Душа его тогда как будто и вообще спала, но арест и отправка в Соловецкий лагерь отца, невинность которого была очевидной, впервые повернули тогда его, подростка, к вечным вопросам о добре и зле. И молитва матери, которую слышал он порой, проснувшись ночью — «Заступи, спаси, помилуй!», — отзывалась в нем упованием на высшую силу. Хотя и сомнение в том, что Бог вообще существует, не миновало его в последовавшие за тем годы.

Несмотря на потерю родителей, когда тетка взяла их с братом к себе в Ленинград, и он снова, уже по-взрослому, узнал этот город, несмотря на то, как много он пережил горького, пережил в себе, скрывая от товарищей, в то время как плохая анкета раз за разом становилась преградой для осуществления тех или иных планов, его не оставляла надежда. Надежда выучиться и надежда работать, и надежда, что отец в конце концов будет оправдан... А жадное чтение и дружба со сверстниками словно уводили его от раздумий о настоящем смысле всего происходящего, и на снимках своей комсомольской молодости, которые, может быть, до сих пор хранились где-то у питерской родни, выглядел он очень бодро. Лицо без тени уныния, непокорная шевелюра и открытый взгляд слегка косящих глаз... Его никогда не покидало в ту пору ощущение душевной правоты и телесной крепости, особенно в самом начале войны. Тогда, после речи Молотова с ее необычным началом («Граждане и гражданки Советского Союза!»), усталостью в голосе и этими словами: «Наше дело правое... Победа будет за нами», — он как-то по-особенному зажегся желанием послужить своей родине. Но Господь Бог, существование которого бессознательно он все-таки чувствовал, как будто и не был нужен ему тогда вообще.

По-настоящему понял он о Боге внезапно, неожиданно, когда оказался на передовой, и война свела их с противником совсем близко. Немцы были всего-то в ста пятидесяти — ста метрах, и немецкие минометы долбили навесным огнем наши траншеи, хотя были и такие дни, когда здесь подолгу

стояла тишина.

Он пробыл на переднем крае уже неделю, но всё не мог привыкнуть, успев пережить не только артиллерийские налёты, эти пятнадцатиминутные, двадцатиминутные наскоки немецкой авиации, но и те изматывающие душу часы тревожного затишья, когда человек в бездеятельном ожидании совершенно теряет веру в себя, уверенность в своей силе. Тоска отступала, когда он был занят делом, но как раз во время передышки одолевала его снова.

В тот час он сидел в своем укрытии, и при дальних взрывах сдуваемый с бруствера снег обжигал ему лицо, а смерзшиеся песчинки сыпались за ворот, за воротник его гимнастерки. Сидел, слушая гул наших гаубиц, которые бьют издалека и находятся где-то там, достаточно далеко от первой линии, слыша редкие разрывы снарядов и гуканье ротных минометов, стоящих совсем близко, почти у него за спиной. И вдруг почувствовал, что наступил какой-то крайний момент. Под сбившимися, нечёсаными волосами, под ушанкой, которую сутками не снимал он с головы, что-то стало давить ему на темя, и это уже невозможно было дольше терпеть. Он готов был выскочить из своего осыпающегося окопчика, не в силах смирить в себе какое-то животное раздражение.

Высунувшись из траншеи, увидел иссеченный огнем черный лес, где у нескольких деревьев снесло верхушки, и белели далеко видные вырвы древесной плоти, вспоротое древесное мясо. Прямо перед ним лежала поляна, как будто не тронутая обстрелом... Снег, много снега и невысокие кусты по краям белого круга, красные, частые прутья... И всё молчало кругом недвижимо. И немцы, и наши: и пулеметы в ячейках, и бойцы в щелях, и связисты в своих гнездах, и весь их оружейный расчёт (и командир, и наводящий, и подносчик), и «сорокопятки» в своих ровиках, эти рассчитанные на конную тягу, приданные пехоте сорокапятимиллиметровые орудия...

Самую минуту эту он запомнил, но теперь не смог бы уже сказать, когда это было. Когда появились уже звездочки на погонах или когда были еще кубари на петлицах? Помнил

лишь, что на нём поверх телогрейки надет был еще и маскхалат, весь измазанный глиной.

И вдруг из командирской землянки тихо запела под иглой низким женским голосом довоенная пластинка: «Весна не прошла, жасмин еще цвел, звенели соловьи на старых клёнах...». И он подумал: «А Бог-то есть!» — и понял, что останется жив.

Но только он растеплился от этой тишины, как снова ударило и всё закружилось... Из лесочка появились танки, и комбат закричал в матюгальник: «Прямой наводкой! По головному — огонь!» — и все повыскочили из укрытий, и артиллерия наша принялась бить по этим приближающимся к ним танкам, которые уже разворачивались фронтально. И от грохота, от залпов Годовалов совершенно оглох и двигался автоматически, без команды, потому что рев канонады поглотил все людские голоса...

Как ни странно, в тюрьме, в самые тяжелые дни, сердце его не обращалось к Богу, но в лагере, особом лагерном пункте, в страданиях совершенного обезличивания, когда никто, казалось, не признавал в нем твари, все-таки наделенной душою, вдруг что-то вернуло его к давно отошедшему. Может быть, так произошло потому, что их ОЛП обступала почти нетронутая северная природа, и он ощущал близость неба, которое во всю высь мог видеть теперь каждый день. Хотя кругом и стояли вышки часовых, и забор из необструганных бревен, и ряды «колючки» на толстых деревянных столбах с толстыми же перекладинами... Но этот естественный, идущий от солнца свет действовал не только на зрение, но и непосредственно, прямо на его душу, после того как в камере, в тюрьме он сильно, до воспаления глаз, страдал от двухсотваттных ламп, которые жарили круглые сутки, от этого электричества, которое, в полном смысле слова, выжигало ему мозги.

Была в лагере одна поначалу просто невыносимая для него вещь: то, что для общения там служил воровской жаргон, этот язык ненависти и презрения, хотя и в предыдущей жизни, в сибирском их городке, например, не редкостью были

крепкие словечки. На фронте, где народ все время в спешке, в напряжении, где все на нервах, а общение обычно на тонах, мат звучал постоянно. Но все-таки считалось, что офицерам ругаться не пристало, и среди солдат брань, как правило, никогда не достигала той степени демонстративной хамской неприязни, той оскорбительности каждого выражения, какими насыщена речь блатных, в которой все нарочно переименовывается. «Глаза» — «буркалы», «рот» — «хлебало». Под словом «корова» подразумевается человек, который в группе, готовящейся к дальнему побегу, предназначен на съедение. А единственная уважительная оценка в отношении людей — «правильный мужик», «правильная баба».

Надо было держаться, чтобы не поддаться внутренне тому цинизму, которым пронизано лагерное бытие, но лишь единицы способны были сохранить в себе здесь великодушие и сострадательное начало. Хотя он и был малосрочником, но пять лет лагерей (лет! зим! весен! осеней!) успели превратить его из открытого, общительного парня, из смельчака, попервоначально дерзящего следователю, в человека, мучимого подозрительностью, болезненно зависимого от непроверенных слухов, в существо молчаливое, осторожничающее, не доверяющее ни в чем никому.

И неожиданно вера в Бога, загнанная глубоко внутрь, спрятанная в каких-то тайниках его натуры, вдруг проснулась в нем, хотя и не могла проявляться так, как когда он был ребенком: уменьем молиться. Он давно уже перестал даже внутренне, выученными когда-то словами, призывать Господа. Как и во время войны, когда экстатическое оцепенение перед великолепием природы где-нибудь всего в нескольких километрах от передовой порой наступало его, так и там, на северах, в простых природных проявлениях узнавал он вдруг некие символы противостояния этой узаконенной некрасоте и бесчеловечности, этой специально заданной упорядоченности мучений для каждого здесь. И там, и на том свете, как называл он лагерь в разговорах с Алькой, там, где ему уже казалось минутами, что он не хочет никакой истины, никакой справедливости, только выжить, — бывали у него озарения.

В то лето он оказался в лагере особого режима и после трехнедельного карантина начал работать. Тащась как-то вдоль полотна узкоколейки в рабочей зоне, где трава содрана начисто, до рыжей глины, потому что зэки ходят, не поднимая ступней, он заметил у насыпи кустик поповника с мелкими белыми цветками. И хотя от усталости и унижения все чувства его были совершенно стертые, сводясь к вспышкам какой-то почти звериной злобы, он при виде этой сорной ромашки вдруг испытал неожиданно для самого себя миг умиления и почему-то подумал о Божьей матери. Венчик тончайших чистых лепестков вокруг солнечно-желтого кружка, светлый нимб Богородицы, золотое ее сердце...

И в этот день, хоть и вернулись они с работы позднее, чем обычно, потому что на вечернем разводе у конвоя и при двойной перекличке возвращающихся в лагерь бригадников счет не сходился, его не оставляло воспоминание о цветке. И эта мука озлобленности, когда все ненавидят всех — и начальство, и охрану, и друг друга, — ожесточенная враждебность лагерника к своим же товарищам по заключению вдруг отпустила его. Как непреложно было с тех пор, когда его арестовали: есть свои, попавшие по ошибке, по оговору, и есть чужие, воры, изменники родины, сволочи! И вдруг за какую-то минуту до сна все стали свои, породненные с ним страданием...

На кафедре древней истории в штате было мужчин немного, но какие! — цвет института: и Осповой, и профессор Верич, заведующий кафедрой.

Осповой, зам. зава, лихо командовал разновозрастными кафедральными дамами и девицами, при том, что верховодил и в институтском масштабе, будучи секретарем парторганизации.

У Оспового, для которого Верич, руководитель его аспирантской работы, являлся непререкаемым научным авторитетом, с профессором были-таки проблемы. Неумное жизнелюбие Верича, его многочисленные романы, склонность к застольям на работе, когда под конец все хором горланят песни, дорого стоили Осповому, который серьезно относился к рабочей дисциплине. Он не любил тех моментов, когда после очередного пиршества приходилось за профессора писать объяснительную записку на имя ректора.

Профессор Верич порою некоторую часть лекционного часа отводил рассказу о том, как блестяще он в свое время учился в университете, намекая с ухмылками на то, что по женской части и тогда он был не промах. «Искусствоведение, — это не профессия, а образ жизни», — говаривал Верич, хватая за коленки сидящую напротив него за столом студентку, уже не в первый раз приходящую сдавать зачет.

Верич носил бороду, что для любого другого преподавателя считалось бы чем-то вызывающим, но для него допускалось и даже воспринималось как норма. Доктор педагогических наук, член партии, он защитил диссертацию по марксистской эстетике, по Энгельсу, но всю жизнь тяготел к древней истории и любил крымские экспедиции. При своих, случалось, он, коверкая постулат материализма, шутил: «Бытие определяет сознание», не чужд был и матерщине, что тоже претило Осповому, для которого служебное общение было по-чеккистски регламентировано. Верич считал нормальным поэксплуатировать своих сотрудников в быту. В будние дни

дочку, которую он родил на старости лет и берег от детсада, нянчила лаборантка, отправляющаяся к нему на квартиру, пока сам профессор читал лекции. Институтский шофер, безотказный Иван Серафимович, пер мешками ему картошку с рынка. Дипломницы, привозя показать свои работы к нему на дачу, пропалывали грядки, пока он читал их каракули. Полагая себя весьма мудрым и опытным, Верич цинично поучал Оспового, что все дела делаются за бутылкой и путем ухаживаний за нужными начальницами.

В противоположность Веричу, который нередко в подпитии рассказывал сальные анекдоты, Осповой всегда был подтянут и суров, и четкую его речь ничем нельзя было сбить. Кафедра была на хорошем счету. Сложился дружный коллектив, существующий, правда, не без скандалов, как, впрочем, это часто бывает в среде, где преобладают женщины. Имелось несколько довольно образованных особ, которые ценили ученость и при слове «дефиниция», употребляемом Осповым, писали кипятком, но по большей части должности тут заполняли выдвиженки из комсомола и профсоюза, хотя и научная работа проводилась.

Дамы и девицы больше всего были заняты проблемами своей семьи. Постоянно велись беседы о лекарствах и травах, происходил обмен кухонными рецептами. Годвалова, который числился на кафедре почасовиком и приходил на работу два раза в неделю, конечно же, стеснялись, но он поневоле был в курсе всех переживаний: свар со свекровью, болезней отпрысков и даже нежелательных беременностей... Вообще же личное постепенно как бы изживалось, потому что любое частное событие подвергалось долгим пересудам в коллективе.

Старший методист Татьяна Ивановна Протыкан любила обниматься. Она обнимала рослого четверокурсника, до института уже отслужившего в армии, приникая румяным лбом к его свитеру: «Любименький мой студентик!», обнимала девчонку-лаборантку, ущипывая ее за грудь и приговаривая: «Чтоб глаза блестели!». Новоиспеченный кандидат наук пулей вылетал из деканата при одном только ее шепоте: «Я вас

пожму!»). Она обхватывала руками Верича, наступая на него между столов, а он, едва достающий ей до плеча, отбивался, сквозь хохот цитируя: «Отстань, беззубая, твои противны ласки!» Но Годовалова она не трогала, не понимая до конца, как он к ней относится, а он про себя называл ее фельдфебелем, хотя она не скрывала настоящего своего звания капитана. Замашки же у нее были генеральские. Персоналу кафедры, а бывало, и своему начальнику, она отдавала распоряжения неизменно в повелительном тоне: «связаться, составить, сдать» и т. д.

Она была запросто вхожа в отдел кадров и уверена, что на любой работе, в любой профессии добьется успеха, и про всех знала, казалось, все. Знала особенности супружеской жизни Оспового, знала финансовые трудности двоеженца Верича, и в силу особой наблюдательности и подслушивания телефонных разговоров имела представление о каждом. Знала, что сухопарая преподавательница истории на лекциях рассказывает студентам о своих болезнях, потому что, одинокой, ей не с кем больше поделиться горестями, и досадовала на то, что об этом никто не донес в деканат. Она уличала сотрудниц в том, что они бездельничают, а та, что учится в аспирантуре, слишком часто остается после работы, все пишет, причем — на казенной бумаге!

Она ненавидела студенток за то, что те были много моложе нее, а преподавателей латинского и диамата за то, что те были старухами. Она реагировала на каждое новое платье сослуживиц, не прощая им ни миловидности, ни этих обнов, а мать-одиночка, преподававшая русский язык, раздражала ее тем, что вечно ходит в одном и том же. Ненавидела хохлов за то, что они хохлы и хитрые, евреев за то, что они евреи и умные, а армян за то, что они армяне и черные.

— Кто может работать, тот работает, кто не может работать, тот преподает, а кто не может преподавать, тот методист, — высказался неосторожно Годовалов. Татьяна Ивановне передали остроту, а она таких шуток не прощала.

Если Протыкан кого-нибудь не любила, то методично и спокойно доводила человека до увольнения. Неугодные ей

преподаватели имели многочасовые «окна» между лекциями, поэтому молодые мамы подлизывались к ней, когда составлялось расписание. Пожилую смиренницу, доцента со стажем вышибли за то, что та состояла в церковном хоре, и не просто уволили, но с отметкой в трудовой книжке, с запретом преподавать. Последнюю пассию Верича, бойкую его малышку-лаборантку в конце концов через год выгнали за прогулы, и так как сам профессор не допустил бы такого, провернули дело, пока он проводил свои восемь недель профессорского отпуска на юге с семьей.

При этом было известно, что Татьяна Ивановна не может подготовить толком ни одной бумаги и почти всегда перевертывает фамилии, печатая приказы о допуске к педагогической работе. Она лепила ошибки, которые имели, казалось, несчастливый, издевательский характер, вставляя, как правило, в слова такие приставки и суффиксы, будто хотела умалить и принизить носителя фамилии. Сырова она записывала «Сыркин», Верича — «Зверич», Чумакову — «Чумичкина». Говорили, что и с прежнего места работы Протыкан пришлось уйти, потому что много было к ней претензий, машинисткам по два раза приходилось перепечатывать ее оперативную информацию. Она лишилась продуктовых заказов и ведомственного санатория, оставаясь на роли осведомителя, за что даже зарплаты не получала, выкладываясь из одного только патриотизма. А теперь в институте со своим дипломом техника-электрика она была оформлена методистом на кафедре древней истории.

Впрочем, об истории у нее были свои представления. Как видно, еще со школьных лет многое оставалось у нее в памяти, но как-то трансформировалось. Так, она помнила, что в Спарте сбрасывали с обрыва в пропасть новорожденных, но, когда ей говорили, что это касалось только детей хилых и больных, упорствовала, настаивая на том, что со скалы сбрасывали всех, а уж кто выживал, становился настоящим воином. Уверена была, что этруски — предки русских, и заявляла поэтому, непонятно, в шутку или всерьез, что и в Италии когда-то все было наше.

Была ей свойственна и некий фрейдизм. Если начальник корил ее за небрежно сделанную работу, она не принимала критики на свой счет и считала, что шеф, видно, утром поругался с женой и поэтому не в духе. Когда ей делали выговор, она объясняла это тем, что у замдекана нет мужа, и та от этого комплексует и злится. И завидует, потому что Протыкан имеет успех у мужчин.

Между тем в институте романы между сотрудниками, конечно же, были, но заводились они по сословиям, вернее, среди представителей партийной верхушки составлялись пары, а беспартийные варились отдельно. Иногда кто-нибудь из парткома нырял в жизнь и вылавливал какую-нибудь комсомолочку, вроде Альки, ставшей женою Оспового, но партийные дамы, как правило, искали себе половину в социально безукоризненных рядах на стороне.

Раз в два года Татьяна Ивановна готовила кафедру к аттестации, всем предписаниям следуя очень ответственно, но постоянно превышая полномочия. Подгоняя документацию под образцы, она велела вставлять в программу «Цель курса» и «Задачи курса», и так как многие педагоги не понимали отличия цели от задачи, вынуждена была разъяснять: «Например, цель — добраться до метро, а задачи — добраться быстро и бесплатно». И, начисто перепечатавая программы, встраивала туда и «классовую борьбу», и «отношение к средствам производства», и «диктатуру пролетариата». Была ей свойственна и тенденциозность другого характера. Если она видела в тексте словосочетание «встает вопрос», то обводила карандашом слово «встает», а во фразе «дать студентам представление» подчеркивала «дать студентам». Ей казалось, что такие словесные обороты имеют неприличный смысл, и требовала стилистической правки. Ее рабочее место украшали настенные цветные календари прошлых годов и обрезанные по краям картонки от конфетных коробок с цветами и бегущим по золотому фону красным оленем.

Профессор Верич обладал чувством юмора и, когда его называли Зверичем, не обижался, самодовольно посмеиваясь, словно это делало его в глазах других значительнее. Для Верича не было ничего святого, но злым он не был и,

случалось, ставил четверки девчонкам просто из жалости, чтоб они не лишились стипендии. Профессор был человек без комплексов. Ему казалось, что и в институте, и на улице девушки на него заглядываются, и он, действительно, был по-своему хорош собой. Носил пиджак и галстук-бабочку, причем в дни экзаменов — белый, что делало его несколько похожим на метрдотеля из заграничного фильма. Легкий нрав профессора, склонность говорить дамам комплименты и целовать ручку сделали Верича всеобщим любимцем.

Относительно малого роста Верича ходила такая легенда. При Сталине было заведено, что в праздники, когда политбюро стоит на трибуне мавзолея, руководителей партии и правительства поздравляют школьники. Рассказывали, что наш будущий профессор попал в такую группу детей и преподнес цветы самому Сталину. И когда он подскочил к нему со своим букетом, вождь погладил его по головке. После этого мальчик, будто бы, и перестал расти.

И партсобрания, и научные сборища были Веричу так скучны, что он засыпал во время речей и докладов. Протыкан, всюду сопровождающая шефа, бывало, наступала ему, уснувшему, на ноги под столом, да так свирепо, что он, подпрыгивая, просыпаясь, и незаметно грозил ей кулаком. На конференциях Верич погружался в сон, даже когда сам председательствовал. Тушили свет для показа диапозитивов, и профессор вырубался, но как только чтение доклада заканчивалось, он как-то чувствовал это, вскидывал голову и вел заседание дальше как ни в чем не бывало.

В один прекрасный день профессор явился на работу, и все ахнули: Верич сбрил бороду. Сотрудницам, которые вслух высказывали свое огорчение, профессор объяснил, что вчера в метро какая-то девчонка хотела уступить ему место.

— Я ее кадрить хочу, а она мне место уступает!

Никак он не соглашался быть старым.

Вообще-то, по мнению Протыкан, народ на кафедре был какой-то серый. Конечно, она не имела в виду начальство, мужскую часть коллектива, это ее высказывание касалось только женской половины. Дело в том, что почти ни у кого

не было модной одежды, тем более, как Татьяна Ивановна знала, приличного белья. Девушки еще могли что-то выискать в комиссионках, но кто постарше носили отечественный ширпотреб, а то и самошвей, изготовленный по выкройкам журнала «Работница». Самой Протыкан муж привозил вещи из зарубежных командировок, и она первой на кафедре заимела джинсы.

Когда в соседней «Галантерее» стали записывать на заграничные бюстгальтеры, Протыкан организовала дежурство, и каждый час женщины бегали отмечаться. Очередь уже подходила, и в какой-то момент в магазин надо было уйти с работы сразу всем. Этого, как уже знали, начальник не допустил бы, и дамы приуныли. Но тут Протыкан пошла в кабинет Верича и, помяукав немного, попросила: «Товарищ Верич, отпустите на блядки!». И завкафедрой, который никогда никому не разрешал уйти в рабочее время ни в больницу, ни в детсад, ни в собес, и, конечно же, ни в коем случае — в магазин, вдруг растрогался и согласился. Знание психологии и здесь не подвело Протыкан.

После того, как перед отъездом там, в хате, которую они снимали на горе, произошло их со Стасом объяснение, и он много ей всего наговорил и оскорбительного и, как она понимала, справедливого, Алька внутренне словно замерла.

Приехав в Москву, сначала хотела сразу забрать вещи и бежать из этого, ставшего ей чужим дома, но не хватило решимости явиться к родителям и ни с того ни с сего объявить, что разводится с мужем. И еще: ей было жаль Стаса, и когда она вспоминала его слова, что он однолюб, с другими уже не может, а она его предает, ее захлестывало чувство вины. И ту работу над его диссертацией, которую делали они вместе, она считала себя обязанной довести до конца. И почти не разговаривая между собой, неделю после приезда они трудились вместе, что называется, голова к голове.

Осевой, из гордости спавший теперь на кухне, больше не терзал ее упреками, как видно, уверенный, что баба перебежится, и успокоенный еще и тем, что для окружающих вся эта история казалась законченной: Алька жила в его доме и по видимости нормально функционировала в качестве супруги.

Оставаясь в одиночестве, она смотрела свои фотографии, ставя рядом снимки разного времени: десятиклассница с сияющими глазами и белыми капроновыми бантами на голове; первокурсница в клетчатой ковбойке; невеста в светлом платье, странно печальная, со сложной, залакированной прической... Обычно сразу после съемки фотография кажется неудачной, как будто выглядишь старше, чем есть на самом деле, настолько представление о себе отстает от реальности, но через какое-то время... Последняя фотография — на новый паспорт. Алька видела, что год от года облик ее меняется, меняется выражение глаз, но особенно — прикус. Со временем губы у нее стали тоньше, тверже сомкнуты, а подбородок как-то квадратней, потому что сделалось для нее привычным молчать со сжатыми зубами. Но там, в экспедиции, одно время, когда она смотрела на себя в зеркало,

то сама не узнавала своего лица: ожиданием набухшие губы, блаженная улыбка...

С Юрием Петровичем они не виделись, и Алька как будто стала нечувствительна вообще ко всему... Так, однажды, зажигая газ и долго держа горящую спичку, даже не ощутила боли, хотя уже обуглился ноготь и побелела, ороговев, кожа...

Стас послал в ФРГ тезисы доклада, сдал анкету в международный отдел министерства. Готовясь выступить на конференции античников в Германии, очень воодушевленный перспективой поездки в капстрану, он больше не затевал разговоров на большую тему. Сделали слайды, отобрали те, где наиболее эффектно запечатлелись черепки с процарапанными именами. Черепки были от разных сосудов, чернолаковых и краснофигурных; на глазури, поверх пальметок и меандров, были нанесены греческие буквы. Находка подавалась как сенсация и связана была либо с выборами на государственную должность, либо с приговором к изгнанию человека, признанного опасным для государства. Тайным голосованием так обозначали когда-то свою волю патриции древнего города: «Предать такого-то остракизму».

Стас сам с собой рассуждал басовито:

— И Фукидид был изгнан, поэтому имел время написать о пелопоннесских войнах.

Судорожно, с какой-то нервной энергией они сочиняли доклад, вернее, писал Стас, а Алька печатала на машинке. После утверждения на институтском совете текст перевели на английский и, надо сказать, не без труда отыскав машинистку с латинским шрифтом, окончательно все оформили.

И вот теперь, кончив работу над докладом, Алька твердо решила уйти. Позвонила матери и объявила, что с завтрашнего дня переедет к родителям насовсем. На тревожные вопросы отвечала невразумительно и раздраженно.

Собрала в чемодан свои платья, бросила туда и сапоги. Сварила себе кофе, и, медленно отхлебывая горькую жидкость, вдруг задумалась. До сих пор она целиком подчиня-

лась людям и обстоятельствам — матери, Стасу, в каком-то смысле — и Юрию Петровичу, насколько он брал на себя ответственность. Теперь же она оказалась, по сути, одна перед жизненными проблемами. Годовалов, говоря о своей любви к ней, честно предупреждал, что вместе жить они не смогут. Быть любовницей при живой жене — такой вариант был ей страшен, обиден. Она, хотя и винила Оспового в нечуткости, внезапно вспомнила, как он растирал ей спину медовой мазилкой, чтобы вылечить от простуды, и поил чаем с молоком и жиром, правда, приговаривая при этом: «Мужик любит жену здоровую, а сестру богатую», — и заплакала.

Вынимая свои вещи из ящичков письменного стола, Алька вдруг увидела среди бумаг листы, исписанные твердым почерком Стаса, и догадалась, что это списки древнегреческих имен.

В этот момент заскрежетал ключ в дверном замке. Стас вошел в квартиру и теперь стоял в дверях. Она не повернула к нему головы. Он увидел чемодан на полу и все понял. И тогда, крупными шагами перейдя комнату, он подошел к Альке вплотную, уставился ей в лицо неподвижными своими глазами супермена, и, глядя, как она страдальчески кривит губы, желчно спросил:

— Ну, что твой хрен? Контуженный этот... Всегда с постной рожей, а туда же, захотелось ему!

— Не смей! — закричала она, отбегая к дверям, и вдруг зашипела мстительно:

— Я видела те твои бумажки. Долго же ты выискивал имена! Не трогай меня, а то расскажу, как ты готовил открытие! Выписал имена из книги, а потом нацарапал на обломках...

Он так сдавил ей запястье, что у нее красное марево поплыло перед глазами:

— Молчи, сука! Ничего не докажешь!

В ярости мотая головой, она свободной рукой вдруг стала срывать с себя бусы синего стекла, которые носила не снимая, как память о Городе, чтобы бросить ему в лицо тот его подарок, но короткая леска была крепка и даже надрезала ей до крови кожу на шее.

Плача рассказывала она Годовалову эту историю.

— Зачем разоблачать, — сказал он, — черепки подлинные, ведь краснофигурная посуда позднее третьего века до нашей эры не изготовлялась. И имена — характерные для того времени, но если он предъявит сами черепки, а не фотографии... Меня то смутило, что буквы на всех осколках нанесены как будто одной рукой.

— Но это не его рука.

— В наше время легко найти себе помощников.

Алька устала от ненависти, не только от той ненависти, которую демонстрировал ей Стас, но больше — от той, которую она сама испытывала к мужу. Ее собственное чувство неприязни к нему причиняло боль. Болело в груди и под грудью.

Переехав к родителям, она погрузилась в тоску, и теперь у нее все сосредоточилось на Годовалове, но встречи их не могли быть частыми. Пределом мечтаний для нее сейчас было — тихо лежать, сцепившись с ним ногами и чувствуя сквозь одежду, как объединяется тепло двух их тел, но такое было недоступно, остаться вдвоем было совершенно негде. И когда тетка, многозначительно улыбаясь, дала ей ключ от новой своей кооперативной квартиры на «Кунцевской», Алька схватила его, сгорая со стыда и бормоча слова благодарности. А надо было еще как-то по телефону договориться о встрече, как-то в рабочее время сбежать со службы... Поэтому, когда, наконец, они оказывались в теткиной, еще необжитой квартире, на двенадцатом этаже, Альку снова снедало чувство тоски, точно она участвовала в чем-то преступном, а страх, что их застанут, был просто патологическим.

В квартире еще не повесили оконных штор, и когда Алька с дивана смотрела в окно, то, видя подъемный кран соседней стройки, боялась, что вознесенный под небеса крановщик из своей кабины может увидеть через оконное стекло, что делается у них в комнате. Хотя этот человек сам выглядел отсюда почти микроскопическим, комар какой-то...

Они пошли как-то в Александровский сад, сидели на скамейках, то возле одной, то возле другой клумбы, любуясь поздними розами. Юрий Петрович подвел ее к башенке с

оконцами по четырем сторонам. И Алька в этом, с навешенным из камня, колодце, устроенном еще до революции, услышала шум спрятанной под землю Неглинки. Ей вдруг сделалось так хорошо, что она ступила на газон и от избытка чувств, распахнув объятия, обняла дерево, толстый ствол вяза с заскорузлой серой корой.

Прямо из Александровского сада, от вечного огня, шла очередь в мавзолей. Пожилые мужчины с орденскими колодками на пиджаках, распаренные женщины в ярких платьях и целые семьи с детьми. Ребятишки бегали между гранитными тумбами с именами городов-героев. Народ ждал часами, чтобы, вывалившись из ворот сада, подняться по скату Красной площади и, пройдя мимо Никольской башни, достичь наконец дверей темно-красной пирамиды, где лежит вождь. Проход перегораживали стойки из металлических трубок. Пускали публику партиями, следя, чтобы в святая святых не шли с чемоданами. Отодвинув загородку, милиционер позволял пройти очередной партии страждущих, а его напарник орал в мегафон: «Пройдите!» И голосом погонял всех этих скользящих по брусчатке бывших военных, провинциалок с букетами поникших цветов и старичков, должно быть, старых партийцев. И они вместе с измученными детьми неловко, группами, бежали в гору под громкие окрики.

— Разве так можно с людьми? — спросила Алька с возмущением, но не дождалась ответа.

— Культ мертвых, — бормотал Годовалов невнятно, со стыдом отворачиваясь от этого зрелища. — Людям не хватает сакральных ощущений. Ту религию, те ритуалы отняли, и вера заместилась вот этим.

Они шли по Красной площади, отдельно от всех. Собравшиеся у мавзолея ждали смены караула. Это событие неизменно привлекало толпы приезжих, которые с восхищением наблюдали, как парни в мундирах, перекрещенных белыми портупелями, шли парадным шагом, высоко поднимая и нарочито замедленно выбрасывая вперед ноги, обтянутые сверкающими хромовыми сапогами. Караул, двое кремлевских курсантов, отстоявших в неподвижности положенное

время, с каменными лицами поворотились к разводящему и сменяющим их товарищам. И, замерев на секунду в новом положении, опять же автоматически, точно в них действовал какой-то заведенный механизм, как только начали бить куранты, зашагали по дорожке, повернули на девяносто градусов и скрылись в помещении под Спасской башней. А сменившие их сверстники — тоже оба высокие, плечистые молодцы — встали по сторонам входа в гранитную усыпальницу.

Не отводя глаз от этой картины, Юрий Петрович говорил:

— Нигде в мире этого нет, такого неестественного шаганья, это смешно. Это прусский шаг, введено это было при Павле и после революции осуждалось, а потом опять вернулось. Сколько времени уходит на бессмысленную муштру! Ребята школят во дворе Арсенала: стоит деревянный мавзолей-макет, и там они часами репетируют смену караула. Но народ нуждается в ритуальных действиях, это все представляется необыкновенно торжественным и красивым, и словно бы демонстрирует мощь державы. А хочется принадлежать к сильному племени, сильной стране.

Идя от мавзолея к набережной, Алька довольно громко спросила о Ленине:

— Почему сотни людей приезжают поглядеть на него?

Тут она вспомнила, как называл Ленина Илья. «В мавзолее лежит жмурик», — сказал он как-то, шокируя экспедиционную публику.

— Вообще-то, покойники чем-то интересны, вообще-то тянет смотреть, — призналась она.

— Это небесно бессмысленно, — откликнулся Годовалов на ее слова. — Недаром в Древнем Египте на пирах был обычай вносить в зал и ставить перед пирующими мумию. А я тебе вот что скажу. Это сейчас изменилось отношение к Ленину и пошли анекдоты, и той любви, какая была к нему прежде, уже не вернуть. А я вот помню такой случай. В Крыму шли аресты, связанные с тем, что многие оставались на оккупированной территории. Стали брать всех, кто работал с нем-

цами, и не только их. Секретарем обкома по идеологии, по пропаганде, как говорили в то время, был Ефимов, интеллигентный, образованный человек, убежденный коммунист. Тогда, сразу после войны, когда организовывалась экспедиция, мы с Велецким один раз были у него на приеме. И вот осенью того же года, когда с моими друзьями случились неприятности, я из Ленинграда срочно на один день приехал в Москву, чтобы подать письмо наверх. Мне сказали, что у Кутафьей башни Кремля есть такой ящик для писем трудящихся, из которого жалобы поступают прямо к Сталину. Иду я по Красной площади и вдруг вижу: очередь в мавзолей, и стоит он, Ефимов, худой, почерневший, и узнать нельзя. Мы встретились глазами. Он окликнул меня, подозвал и вдруг даже обнял, хотя мы едва знали друг друга, и рассказал, что ждет рассмотрения своего дела и пришел сюда искать духовной поддержки. Чувствовал, как видно, что ожидает его. Но даже разбирательства никакого не было. На другой день после его приезда домой, как говорили, был арест, потом приговор... И то, что мы видим, тяга эта сюда, не так все это просто и примитивно, как теперь нам представляется, особенно при том любопытстве к смерти, какое всегда было в России.

— А ты видел Сталина? — спросила Алька. — Говорят, он работал круглые сутки. И ночью горело его окно в Кремле. Может быть, спал днем, а ночью работал? Во всяком случае, отец наш до поздней ночи оставался на работе на случай, если вдруг позвонят.

— Это пресловутое окно в Кремле! — рассмеялся Годовалов. — Это все — новая мифология: мол, Сталин и день и ночь не спит, работает и думает о нас. Может быть, и вправду какое-нибудь окно ночью светилось, но где ночью горит свет? В дежурке или в сортире.

Они быстро-быстро прошли к метро и отправились в Кунцево. Потом ехали на автобусе среди мрачных, как будто впавших в спячку пассажиров, ехали, казалось, несколько часов, но на самом деле — двадцать минут всего. На задней площадке жался в углу мужичонка — небритый, в телогрей-

ке, в засаленной кепке — и с обиженным видом бубнил себе под нос и почти плакал: «Гады позорные, волки ебучие», — и так всю дорогу. Алька притворялась, что не слышит мата, а Годовалов невольно вскинул голову. Все в этом человеке: и облик, и следы обморожения на лице, и манера канючить, — говорило, что мужик этот из мест заключения, и Годовалов, еще воодушевленный прогулкой и ждущий того часа, когда наконец-то они останутся с Алькой наедине, вдруг как-то сник. Автобус катился по дороге среди пустырей, миновав рощу и какие-то деревянные, с наличниками, сельского вида домики, и въехал на пустынную площадь нового микрорайона. Последняя остановка маршрута. Все вышли.

На административном здании, облицованном мрамором, висел плакат. «Мы одобряем» написано было крупно на кулачке и еще что-то, но о чем это, Алька и разбирать не стала. Эти лозунги висели повсюду, и ни разу она не удосужилась даже дочитать до конца, что же такое народ одобряет.

— Где еще такое есть? — указала она Годовалову на огромную бетонную доску почета «Лучшие люди района» с фотографиями передовиков (каждое лицо чуть ли не в метр шириной). — Только у нас!

— И в Риме были списки лучших людей, и делали их изображения за городской счет, — сказал Годовалов негромко, крепко держа ее под руку. — А гигантомания и вообще присуща имперскому мышлению...

И дальше, идя к теткинскому дому, все бормотал свое. Оказавшись в квартире, они сразу, еще в передней, как всегда, начали целоваться, но в поцелуях этих появилась непривычная горечь. Надо было говорить, но те слова любви, которых так ждала она от него, не шли ему на язык. Встреча в автобусе, напомнив ему о прошлом, как будто сожрала все его красноречие.

Он понимал, что Альке могут наскучить и эта бездомность, и вечное ожидание, и его безденежье, в конце концов, из-за которого он не может ей купить даже приличного букета цветов, и невозможность появиться вместе ни в компании ее подруг, ни в доме ее родителей, а тем более в институтском

кругу. Сейчас еще можно гулять по улицам или встречаться здесь, пока хозяйка квартиры на работе, но надолго ли хватит Алькиного терпения...

Даже когда у него набралось денег на ресторан, и Алька выбрала «Националь», тоже все вышло как-то не в радость. Днем там было пусто, и официантка довольно быстро принесла заказанные ими вино, суп «пти» и мороженое. Но когда Алька похвалила официантку за скорую работу, пришлось объяснить, что, конечно же, персонал здесь вышколенный, небось, каждая девушка чином не ниже майора. Тут из-за соседнего стола пришел к ним со своим бокалом некий господин, попросил разрешения выпить за их здоровье, что-то еще говорил, а потом неожиданно вполголоса сказал Годовалову, взглядом показав на Альку: «Я вас понимаю, тут вспоминаешь прерафаэлитов». И хотя можно было бы посмеяться, имея в виду известную остроту об искусствоведах в штатском, но Годовалову сделалось здесь как-то совсем неуютно, и они с Алькой скоро ушли.

Его болезненное чувство опасности все портило, гнало его отовсюду. Нигде не мог он приткнуться, только дома у Жанны, только там. В свое время она много положила сил, чтобы сделать его пребывание в Москве легальным, и наконец был им получен полноценный паспорт, уже на законном основании заменяющий тот, с которым дернул он из Сибири. Эта книжица с круглым гербом на зеленой «корочке» дорого им далась. А тогда, в середине пятидесятых, у него был такой паспорт, что запрещалось не только жить в Москве или Ленинграде, но даже и временно находиться во всех крупных городах страны. И в случае задержания это тогда могло иметь последствия, во-первых, приказ немедленно вернуться к месту приписки, а во-вторых, и более серьезное наказание за нарушение паспортного режима, причем, как он понимал, дело коснулось бы и самой Жанны. А статья, карающая за это тюремным заключением, существует и до сих пор.

Именно уверенность Жанны в том, что он ни в чем не виноват, а был осужден по ошибке, и помогла ей провести все эти авантюрные операции. И организацию официальных за-

просов в те инстанции, которые по заявлениям граждан, как правило, никаких ответов не выдают, и получение медицинских справок задним числом, и выписку из карточки в военкомате, откуда его призвали в армию... И этот, понятно же, небезвозмездно сработанный новый документ — все удалось ей повернуть, все оказалось преодолимым... Между прочим, в военкомате она узнала, что Годовалов был включен в список награждаемых медалью за победу над Германией, но медаль эту из-за судимости так и не выдали.

Конечно, надо было бы хлопотать по его делам, потому что, как думалось Жанне, он уже и сейчас имел право на пенсию. Тогда, став его женой, она сразу же прописала его к себе, но добытые после определенных манипуляций бумаги так и лежали под спудом, потому что ни в какие конторы он идти не соглашался. Ведь хотя Уголовный кодекс изменился и вместо пятьдесят восьмой была введена другая статья, а теперь и еще одна, новая, само обвинение в антисоветской провокационной деятельности, которое пришили ему когда-то, вряд ли, как он считал, могло быть с него просто так снято...

А сейчас, когда Алька, сидя с ногами на диване, вдруг стала расспрашивать его о прошлом, о лагере, у него не было охоты рассказывать ей обо всем этом. Про невозможность там хотя бы на минуту остаться одному при полной одинокости... Про ту всепоглощающую боль чуждости, которая не оставляла его во все время заключения и отпечатывалась даже и на нынешних отношениях с людьми... Про ту невыносимую лагерную маету, когда в полном отсутствии информации живешь по большей части брехней... Про то, что чувство сострадания было вытравлено не только во всех служащих управления лагерей, но и в большинстве заключенных... Не рассказывать же ей, как нарядчики и комендант, человекоубийцы эти, творят произвол над лагерниками, обливают водой на морозе, бьют ногами упавших на землю, как во всем страшна там жизнь, как ломает она и эзков, и охрану, этих самых синепогонников, по долгу службы или по найму попадающих туда... И как упорство в выживании не

однажды у него самого сменялось там на желание сдохнуть, сдохнуть навсегда...

Нехотя говорил он ей о том, как пытался дать отпор уголовникам, которые, неизменно выказывая презрение к любому человеку — не вору, почему-то проявляли особую ненависть к горнякам, к тем, кто способен был профессионально работать под землей. (У воров в законе выражение «Ты, шахтер!» — страшное ругательство, крепче мата). Когда кто-то из блатных стал в этом роде задира, он, Годовалов, хотя действительно работал в шахте и в обычной жизни не на что было бы обижаться, уже обученный лагерному этикету, бросился в драку, и, несмотря на то, что его отколошматили будь здоров, прощать такого выпада, как он знал, нельзя было.

Еще он сказал ей, что много встречал там тех, кого загребли ни за что ни про что, а когда она спросила, за что же все-таки сажали, ответил шуткой: «Например, за колдовство!». И, чтобы ее развлечь, стал пересказывать лагерные байки, причем говорил, демонстративно пересыпая речь блатными словечками. Как один фраер ждал девушку в парке, она не шла, он сел на скамейку, сидит, психует и машинально тычет карандашом в газету, а в газете напечатаны, оказывается, фотографии членов ЦК... Сочли преступлением и осудили. Другой, хозяйственник, вот как «фраернулся»: была ревизия, обнаружилась недостача, расстроился, выходит из кабинета и говорит: «Чтоб тебя разорвало!». А стоит прямо перед портретом Сталина. Посадили не за растрату, а за антисоветскую агитацию. И за пару бураков с колхозного поля сажали, и за двадцать минут опоздания на работу...

Потом его понесло, и он стал представлять разные эпизоды лагерного житья. Как после смерти Сталина было у начальства некое смятение и дерганье: номера на одежде то снимут, то опять наводят, — но с номерами было лучше, предотвращалось воровство одежды... Как после расстрела Берии стали даже оплачивать заключенным «бериевские долги» по продовольствию... Тогда-то он и оклемался, потому что ему, выписанному из лагерного ОП, несколько дней подряд, как и всем, вдруг стали выдавать по двадцать пять

граммов красной икры. А поскольку западные украинцы, «бандеровцы», в жизни своей не выдавшие красной икры, боялись ее есть, то дневальный их барака подсовывал ему во время обеда лишнюю порцию.

Он увлекся и стал вспоминать при ней самые последние события своего пребывания в лагере, когда семейным решением свидания с женами и был даже построен для этого отдельный домик, избушка такая: топчан, стол, две лавки друг против друга. Правда, заключенного все равно на день уводили на работу.

— И, представляешь, — продолжал Годовалов, стараясь хоть как-то и ее развеселить, — в домике этом на столе лежат домино и шашки. Это надо же такое придумать! Не виделись столько лет, баба с трудом добралась, дождалась наконец-то свидания, а тут стоит над душой охранник — пес такой, и — не изволите ли в шашечки или в домино?

Во время всего рассказа Алька смотрела на него с напряжением, не понимая, до какой степени все это шуточки, а потом вдруг ткнулась лицом в твердый валик дивана и зарыдала. «А-а-а-а», — только каким-то щенячьим скулежом отвечала она на его просьбы успокоиться. Позабавил!

Они ехали в поезде «Москва — Севастополь». Он — на конференцию, ежегодно проводимую Крымским университетом, она — с ним. Просто сбежала из Москвы, никого не предупредив.

Сидели рядышком, не замечая соседей по купе, немолодую простонародную чету, стесняясь, однако, обниматься при людях. Когда же ее и его ступни, оказавшись рядом, соприкасались боковинами обуви, Альке казалось, что в тело ее снизу, от ног, нагнетается горячий электрический ток. В то же время она никак не могла освободиться от ощущения, что окружающие осуждают ее, понимая, что это едут любовники, а не муж с женой. Но в какой-то момент, когда пожилая соседка по доброму заговорила с ней, угощая хлебом с колбасой, Альке показалось, что мир в эту минуту прощает ее, и целую неделю ей разрешается жить, что называется, в полное сердце.

Наконец приехали. Был сентябрь, раскопки в Херсонесе закончились. Домики археологов были заперты на тысячие замки. Строения, оставшиеся еще с дореволюционных времен, тоже теперь лишились летних жильцов, и Годовалову обещали в одном из них пристанище. Во дворе над столом там висели среди редких листьев подсохшие ягоды винограда. Алька стала рвать этот изюм, а на заброшенном огороде набрала в подол красного перца.

Было жарко, истомно. И как только им принесли ключ от дома, они вошли в прохладную комнату, впервые оставшись наедине без опасения быть застигнутыми врасплох. И после бессловесных объятий, после двух часов, которые, не думая ни о Стасе, ни о конференции, они пробыли в этом убежище с глинобитными стенами, он сказал: «Не знаю, что со мной происходит. Я себя не узнаю!» Действительно, неожиданно для себя самого минутами он впадал в какой-то экстаз умиления и произносил фразы вроде «Я — твой!» и клятвы «До могилы!», хотя раньше даже не подозревал, что из него может быть извлечено нечто подобное.

Но Алька вдруг, как будто отрезвев на минуту, проговорила, чтобы самой остыть:

— У тебя мало этого было в молодости, но, говорят, на войне это было просто...

— Это неправда! — обиделся он. — На войне вообще не до того, все вымотаны, ноги стерты, плечи в мозолях, все под смертью каждую минуту. — И добавил с неохотой: — Может быть, где-то и было... Разве что в тылах — там другая жизнь. Кто-нибудь мог затащить девушку в землянку...

Теперь она, не стесняясь, откровенно рассматривала его, но он вдруг закрыл ладонью правую половину лица:

— Этот глаз раненый, не смотри! — и смущенно стал бормотать что-то о своем косоглазии.

— Вижу серо-глазие, вижу ясно-глазие, — произнесла она, по очереди целуя его в оба глаза.

Ему хотелось показать ей городище. Молча шли они по дороге вдоль чисто выметенных квадратов недавних раскопок. Громадный собор, облицованный светлым песчаником, — фиолетово-черные мраморные колонки в проемах окон и трещина в арке главного портала — стоял с заколоченными дверями среди развалин.

Древние оборонительные стены частью находились в воде. Башни казались Годовалову намного выше, чем это было когда-то, в то время, когда они еще не были раскопаны донизу.

— Святая земля! — раскинул широко руки Годовалов, поворотившись к морю спиной. — Князь Владимир крестился здесь, правда, перед этим город раздолбал.

Оказывается, Алька не осознавала до конца, что это за город, сколько исторических пластов тут явлено, не знала и того, что именно отсюда привез Владимир в Киев первых христианских священнослужителей, после чего и совершилось крещение Руси.

Над городищем разносились неровные, отрывистые звонны колокола, и Годовалов объяснил, что это одна из святынь Крыма, тот самый колокол, который французы в Крымскую

войну взяли в плен и повесили в соборе Нотр-Дам, лишь спустя шестьдесят лет вернув его сюда, в монастырь, который был здесь, на территории раскопанного ныне Херсонеса. Как оказалось, мальчишки швыряли в колокол камни, и он, в советское время лишившийся языка, отзывался на эти удары неполнозвучным болезненным гудом.

Когда стемнело, взяли с кровати матрац и понесли по берегу в сторону бухты, в ногу вышагивая под огромной луной, туда, где была в береговом обрыве каменная пещерка, видимая только со стороны моря. Втащив матрац, уложили его на холодную гальку и уселись.

Луна перламутровым кругом быстро неслась между облаками по оливковому небу. Море виделось темно-зеленым, а редкие волны, которые, внезапно всплескивая, обрызгивали им ноги, в лунном свечении неожиданно казались голубыми. Константиновская батарея, точно каменный бублик, белела над неподвижной водой.

Такая картина должна была бы наводить на размышления о вечном, но у Годовалова, как всегда, все свелось к воспоминаниям о войне, тем более, что Алька снова спрашивала его об этом. И он сказал, что после ранения, окончив краткосрочные курсы военного училища, стал офицером и попал в пехоту, а сначала был танкистом, башенным стрелком...

— А тебе приходилось видеть немецкие танки вблизи? Это, наверное, очень страшно, ждать, когда они приближаются?

— Они подползают незаметно, а когда подходят, надо бросать толовые шашки им под брюхо. Наши танки на соляре, а немецкие — на бензине. Они взрываются. Огонь такой, что как будто из-под земли.

— А наши?

— Наши тоже горят, — сказал он.

— А люди, где все это время находятся люди? В землянках?

— В землянке было бы — роскошь! — говорил он ей на это. — В траншее! На передовой так!

— Ужас, — сказала она, — все время под открытым небом!

Он засмеялся:

— Так же, как и у греков. На войне по-другому не бывает.

И посерьезнев, добавил:

— Да, без крыши над головой, без подстилки... Траншея узкая, тесно, надо вытаскивать убитых... Землянка — у командира роты, редко, если у командира взвода. Это у командира батальона — блиндаж. Хорошо было в брошенных немецких блиндажах. И столик, и печка, все аккуратно, как надо. Немцы есть немцы!

Становилось свежо. Возвратившись в дом, они поняли, зачем при вселении завхоз музея вместе с простынями дал ведро угля и старинный узкий совок. Когда затопили, даже угорели, расслабившись в сладком мороке, так что среди ночи Годовалов, всего на час впавший в сон, очнулся, включил электричество и, под тусклой лампочкой увидев Алькино странно побледневшее лицо, стал ее трясти, и так как та не хотела просыпаться, в конце концов вытащил ее на воздух и растирал ей щеки, пока она не пришла в себя. Комнатенку проветрили и уснули опять.

Проснувшись на рассвете, она узнала вдруг, какое счастье видеть любимого человека, как он спит рядом. Та осязаемая, алчущая плоть, которая требует своего в темноте, утром — сама кротость. Когда Алька увидела его спящим, странная смешливость, то легкомыслие, которое возникает лишь при полном доверии между родными, нашло на нее. Она захватывала самыми краями губ оконечность его носа и негромко смеялась, целуя. Ей хотелось все разглядеть и все тронуть рукой.

Он открыл глаза и, откликаясь на эти прикосновения, смотрел на нее, не отрывая взгляда. Его поражала эта ее эротическая одаренность, эта способность каждую минуту вдвоем превращать в некий праздник ощущений. И, разгребая ладонями на две стороны рыжеватые ее, еще не собранные заколкой волосы, тоже стал целовать, просто терся об ее кожу,

которая сейчас, утром, источала какой-то полынной горечи аромат, стерильный даже. А тот незабываемый запах, что сводил его с ума в ночи, был спрятан сейчас где-то в недрах ее тела. Губы его, шершавые и горячечно-сухие, были сомкнуты, и поцелуи эти, в которых не было ничего от плотской низменной игры, казались ей такими потрясающе действенными, что она чувствовала внутри себя жгучее тепло, у нее останавливалось сердце и глаза смотрели по-оленьи.

И вдруг, забывая все, что преследовало его годами, отодвигая от себя все гнетущее душу: что ввиду его положения у него нет права иметь детей, что Жанну он обманывает, а это с ним — чужая жена, — он как-то не по-мужски уткнулся лицом ей в живот, наполняясь какой-то отчаянной радостью. Но от такого простого его движения она вся разгорелась и сама обняла его, задыхаясь от восхищения...

И когда потом они в усталости молчали, он видел эти ее сияющие изнутри глаза в пол-лица и ее наготу... Потому что, в отличие от прежних, гостиничных их встреч, она больше не закрывалась руками и не спешила натянуть на себя одежду, а лежала и смотрела на него, зажав его ладонь между своими коленями и лишь иногда произвольным движением головы откидывая с лица нерасчесанные светящиеся свои волосы. И, опровергая Лукреция, который говорит, что из самых глубин наслаждения исходит нечто горькое, и, испытывая небывалую дотоле душевную легкость, он поднял глаза и проговорил:

— Это ктеис!

Она ничего не понимала.

И об этом слове, в древнегреческих текстах встречающемся редко, хотя везде фигурирует парное ему слово «фаллос», он сказал, что вдруг это слово понял:

— Это — символ женского пола, не какое-то разжигающее похоть, грубое выражение, которое употребляют мужчины, но что-то торжественное.

И начал сбивчиво рассказывать, что в мистериях, в Элевсинском тайном обряде после того, как посвящаемых подвергали всяческим испытаниям, они оказывались вдруг

в храме — и тут, в минуты особого душевного подъема, в самый кульминационный момент жрецы выносили священные предметы.

— Заметь, нигде не написано, что это были за вещи, — сказал он. — Я думаю, в эти минуты людям открывалось то, что в другое время публично лицезреть не разрешалось, ведь в греческом искусстве, в скульптуре, например, мужчины обнажены, а у женщин почти всегда покровы... В соответствующей обстановке это было совершенно потрясающим...

— Да, я все это знаю, — сказала вдруг Алька. — Я ведь была там и пещеры эти видела. Темно, ямины под ногами и звери рычат...

— Что-что? — не понял Годовалов, а она начала рассказывать о мистериях, словно и вправду в чем-то таком участвовала. Что сначала их впустили за священную ограду, а потом раздали повязки — мужчинам и девушкам, приготовившимся к обряду... И хотя через некоторое время разрешили повязки с глаз снять, все равно ничего не было видно, и они, мисты, двигались по каменным коридорам совершенно вслепую, время от времени получая удар бичом (но непонятно было, кто это бьет и с какой стороны нанесут следующий удар). Что шли очень долго, круговыми лабиринтами, и слышали какие-то зловещие вопли и завывания, и Алька видела светящиеся глаза хищников, а, судя по отвратительному запаху пасти, те находились совсем рядом...

Годовалов смотрел на нее с недоумением. Алька же продолжала рассказ. Как по возгласу мистагога все остановились... Как молния, с треском разбивая электрическими разрядами массив скалы, вдруг все осветила... И стало видно, что из ниш в стене выглядывают мерзкие толстяки с отвислыми животами («Силены, хтонические демоны Аида», — догадался Годовалов). И как в этот момент чьи-то лапы обхватили снизу, за щиколотки, Алькины ноги, так что невозможно стало пошевелиться... И она отключилась, потеряла сознание... А когда очнулась, уже горело несколько факелов, и они опять пошли цепочкой, друг за другом, и Алька ощущала себя со-

всем маленькой рядом с высокими, героического вида мужчинами, которые несли огонь.

Годовалов понял, что она, должно быть, видела где-то в книге изображение процессии допущенных к эпоптии, главному обряду культа Деметры. Там тот, у кого выше степень посвящения, ростом больше других.

Слушая Альку, он думал о том, что, пережив однажды эту инсценировку загробных блужданий, человек уже готов был к ужасам Аида и меньше боялся смерти. То, о чем она говорила: как они плутали в коридорах святилища, как наконец остановились в отчаянии, ибо путь преграждала глухая стена, как неожиданно в стене этой распахнулись двери, широкие врата, и все оказались в главном зале телестериона, — обо всем этом он, может быть, сам ей когда-то рассказывал, но сейчас она повторяла это с подробностями, о которых он никогда не знал:

— Свет! Много света. И музыка струнная...

— Кифара? — спросил Годовалов с любопытством.

— Да, кифара, — подтвердила Алька, ибо, как ни странно, она знала все, что там как называется, знала каждый предмет и даже звания тех, кто руководил священнодействием. И заговорила о божественном пении и о том, как на жертвенные столы в огонь стали бросать щепотками соль, и пламя делалось то малиновым, то синим, и как жрец-иерофант вынес святыни, мужской и женский символы и велел погасить факелы.

Годовалов загорелся:

— Где ты прочла?

Но она не отвечала, в четверть голоса повествуя о главном часе Элевсиний. Как стояли они в глубоком благоговении при том, что совершалось между иерофантом и жрицей; как мистагог возгласил: «Бримо родила Бримоиона!», и все восхищенно, в один голос повторили эту фразу, в мистическом восторге подняв руки вверх. «Сильная родила Сильного!» — перевел Годовалов, освобождаясь от гипноза ее голоса, и спросил, как выглядит божественный ребенок, но и на это Алька ему не ответила. Годовалов уразумел, что все это, по-

видимому, бред, тот самый сон, из которого он вытащил ее ночью, действие угарного газа. Алька же говорила о том, как они увидели Деметру. В калафе и круглом ожерелье стояла та на возвышении, держа в руке поверх туники большую раковину, формой напоминающую женское лоно. И все подходили и касались раковины, а богиня говорила волшебным своим голосом такие слова и с такой сердечностью, что человек от прилива нежности впадал в состояние кайфа... «Тихий экстаз инобытия», — про себя процитировал Годовалов, а Алька продолжала:

— Точно она всех удочерила-усыновила, и каждого защитит навсегда! И мы все обнялись руками, встали в круг и двигались хороводом по кругу... Хотя танцевать-то я не умею...

На следующий день началась конференция, в которой Годовалов должен был участвовать. Алька туда не пошла, боясь, что ее узнают, и провела целый день на пляже, под солнышком, которое в эту пору уже не жгло, а только желтило траву и ласкало последним теплом заросли татарника, малиновые его хохолки на крепких, с крылатыми листьями стеблях.

Там, на конференции, в первый же день подошел к нему молодой человек, и Годовалов не сразу, но узнал Горева. Тот приехал неофициально, надеясь, что ему все-таки дадут возможность выступить. Рассказал, что сообщение его посвящено монетам митридатского чекана, и касается, в частности, анонимной меди и тех монет, прориси которых сделал тогда в некрополе Годовалов. Горев эти оттиски изучил наряду с другими источниками. По его версии, это был пример, когда в древности обычные деньги перечеканкой превращали в особые, приносимые в дар богам храмовые монеты, которые невозможно было бы пустить в оборот, будь святилище ограблено.

Говорил Горев и о Виктории Георгиевне:

— Положение в музее критическое, коллектив взбунтовался, и пишут наверх о недочетах в идеологической рабо-

те и финансовой деятельности. Комиссия за комиссией, и Виктории очень трудно...

Сделав на другой день на вечернем заседании доклад о катакомбной живописи на Боспоре, вызвавший некоторый интерес — во всяком случае, его забросали вопросами — Годовалов решил снова, как и вчера, двигаться в Херсонес пешком, на своих двоих, а не ехать на автобусе. Он неспешно шагал по зеленым улицам, разглядывая белые, послевоенной застройки здания и почему-то приостановился в переулке, возле стеклянного павильона, где торговали спиртным и гу-жевались испитые, плохо одетые мужики.

— Гарька! — окликнул вдруг его кто-то. Он обернулся. В темном прорезиненном плаще стоял перед ним небритый седой человек. Это был Лалазаров, живой, хоть и на костылях. Они обнялись.

— Гарька, черт, — радовался Лалазаров, — я тебя уже второй раз здесь вижу, думаю: ты или не ты?

Ошеломленный, Годовалов глядывался в лицо фронтowego своего товарища, о котором не слышал ничего с тех пор, как тогда сам из медсанбата был отправлен в тыловой госпиталь. Лалазаров, не скрывая радости, тут же заторопился: «Пошли!», — и повел его в стекляшку, в рюмочную. Они быстро вошли и, взяв по стакану, встали друг против друга у высокого, не очень чистого столика.

— Как ты? — спросил Годовалов.

— Ничего, — было ему ответом. — А ты?

Все в Лалазарове выдавало жестоко пьющего человека: иссиня-красный румянец, трясущиеся руки. Огонек зажженной спички никак не мог донести до своих губ, чтобы закурить.

— Ты где остановился? — спросил он.

— В Херсонесе, в музее.

Оказалось, что Лалазаров тут воевал в сорок четвертом на мысе Херсонес, но в Херсонесе Таврическом не бывал со времени, когда освободили Севастополь.

— Я тебя завтра буду здесь ждать в десять, и поедем к нам, — сказал Годовалов.

— Я сам доберусь, — заявил Лалазаров.

— Ну, мы тебя ждем, — Годовалова смущал его больной вид, его костыли.

— Жена? — спросил Лалазаров, но Годовалов ничего не ответил, а тот предупредил:

— Надо бутылку организовать, если с утра не выпить, я весь день вялый.

Когда на следующее утро они вышли втроем к берегу Карантинной бухты, море было совершенно спокойным. Время от времени медленно вкатывались на пологий берег иссиня-прозрачные волны, оставляя на песке по всей длине безлюдного пляжа извилистые бороздки. Лалазаров, принявший полстакана, вспоминал:

— Когда мы заняли мыс, земля была вся перепахана, кругом одни воронки, все выжжено. И немцы, и наша артиллерия поработала.

И рассказал, что немцы, притиснутые к самому морю, сопротивлялись особенно ожесточенно, что море тогда в прибрежной части было грязным и взбаламученным и забито всякими обломками. Бревна, остатки плавсредств и мертвые тела — наших и немцев, — немцев, пытавшихся, было, спастись на надувных плотках. Поверхность воды казалась белой от качающихся на зыби, плавающих во множестве всякого рода бумаг. Карты, документы, фотографии, письма, которые немцы считали обязательным беречь и носили с собой... Всюду валялись брошенная немецкая техника, оружие и снаряжение. Каски, винтовки, части пулеметов — все это наши матросы складывали в большие кучи, а выловленные мины клали отдельно. Другому бы не пришло в голову, но Годовалов, представив себе эту картину, подумал о схожести всего этого с происходившим некогда. Так и по Фукидиду, когда-то греки-победители, собрав в одно место оружие и доспехи побежденных, вешали на столб или дерево вражеские щиты, пики и пращи и ставили знак победы, трофей, с надписью, какому божеству трофей посвящен.

Когда поллитровка опустела, Годовалов поднялся, предлагая пройти по городищу. Алька, прослушавшая рассказ

Лалазарова с молчаливым вниманием, была отослана на хозяйство, в дом, и, глядя ей вслед, Лалазаров сказал: «Помнишь Жанну? Носилась с тобой как с писаной торбой».

Солнце высветило в стенах пробоины. («От снарядов, — заметил про себя Годовалов, — не от стенобитных машин».) Лалазаров рассказал, как в какой-то момент, когда уже освободили город, и он оказался здесь, среди развалин, на него неожиданно вышел с поднятыми вверх руками солдат-румын, прятавшийся до этого в копанире, в полости древней стены.

Вспоминали фронтовых товарищей. Далеко не все из вернувшихся дожили до настоящего времени, быстро они потом поуходили, как выразился Лалазаров, ковыляя вдоль каменной куртины. На вопросы о его собственной жизни отвечал он неохотно и невразумительно. Годовалов понял только, что инвалидность тот получил уже после войны, потеряв ногу в результате несчастного случая. О прошлом, о войне говорил Лалазаров горячо и в том смысле, что вот тогда были люди, тогда было друг к другу человеческое отношение, не то, что теперь. Что касается финансов, то некоторое время ему, имеющему боевые награды, выплачивали какие-то небольшие деньги, но выплаты эти вскоре отменили, как говорилось в постановлении, по просьбе трудящихся. Пенсия сначала была поприличнее, но потом ее урезали.

Лалазаров устал, и они уселись на сухой холмик у дороги молча, задумавшись каждый о своем.

— Ты давно пьешь? — по старой привычке без церемоний спросил Годовалов.

— Иначе нельзя, — сказал Лалазаров. И, как будто оправдываясь за свое теперешнее состояние, вдруг заговорил:

— Я это вспоминаю, и оно меня жжет... Один раз было, а не отпускает всю жизнь: как тогда, вплотную с немцами оказались, лоб в лоб, отступать им было уже некуда, и тут — кто кого! Никакого другого выхода ни нам, ни им, приходилось стрелять в упор или нож втыкать, и его же кровью тебя обрызгивало... И сейчас я иногда думаю, что, может быть, это не надо было, но все в какой-то горячке делалось...

— А что было делать, Иван? Ничего другого не оставалось, — сказал ему на это Годовалов. — Что же, горло им подставлять, что ли, или сдаваться?

Он давно понимал, что с войны пришли совсем не те люди, которые на нее уходили, что стреляя, каждый что-то убивал и в себе, но он хорошо помнил, что когда взятых в плен фрицев вели с передовой на командный пункт, ни один из солдат переднего края никогда не мог ударить немца. На это были другие охотники, дальше от войны... Правда, после того как немцы три года чувствовали себя хозяевами на нашей земле, когда началось наше наступление, бывали и случаи страшной жестокости по отношению к ним. Хотя сам Годовалов не испытывал к немцам чувства личной вражды, воспринимая их как людей подневольных...

— Что же ты не искал меня? — вскинулся на него Лалазаров.

— Меня самого десять лет на свете не было, — сказал Годовалов.

А тот выпалил:

— Тебя отправили, а я вернулся в полк и планшетку твою потом протаскал всю войну. И бумаги твои у меня.

В последний день они с Алькой решили не выходить из своего домика до самого отъезда.

Желтый солнечный луч лежал ровно посередине узкого их ложа, как будто чертя между ними некую границу, и он подумал о таинстве брака, об этой мистериальной чистоте, впервые, может быть, явленной именно в Элевсиниях. Он знал теперь, что, если телесная любовь не связывает мужчину и женщину взаимным благоговением, то их союз распадается, потому что радости эти даются именно для того, чтобы надолго скрепить семью... И стал говорить Альке, хотя, возможно, это и было не ко времени, что пока понятия христианской любви еще не существовало, использовались с древнейших времен особые сексуальные приемы, которые в христианстве запрещены, потому что появляется стыд и понимание того, что нельзя делать это только с целью физи-

ческого удовлетворения. Прежде всего должны соединиться души...

В полдень они вышли все-таки на берег и глядели, как пощипывает волна бархатную, коврово-зеленую шерстку водорослей на вдающейся в море каменной дорожке. И, в последний раз бредя по городищу, пришли к руинам храма. Выбитые в скале ступени, на стенах — нанесенные копотью свечей кресты... И тут, у мраморного, грубо разбитого алтаря, он взял ее за руку и велел, не поймешь, шутя или серьезно: «Клянись, что меня не бросишь!», и она сказала: «Клянусь!» и спросила его: «А ты давно в Бога веришь?».

— Верил всегда, а крест ношу недавно, — ответил он.

При отходе поезда из Севастополя играли «Прощание славянки», дореволюционный марш, раскладывающийся сам собой на вальсовые па, и Алька вертела головой, пытаясь найти глазами музыкантов, но никого не увидела, не разглядела, потому что духовой оркестр давно уже заменила радиоточка. Поезд тронулся, здание вокзала медленно отплывало, и Алька долго еще махала рукой Лалазарову, неподвижно стоящему на перроне.

Всюду, куда бросала жизнь, испытывал Годовалов то давление, которое стремилось его обезличить, причем на войне это было в наименьшей степени, меньше, чем в институте, где он сейчас работал.

Он очень страдал оттого, что имя, данное ему при рождении, приходилось скрывать. Так Одиссей, единственный, кто вернулся из пливших с ним на Итаку греков, наверное, был не вполне Одиссей без этих своих спутников. На фронте Годовалов как будто забыл обо всем об этом. В танковой части товарищи называли его Гарик, Гарька, как когда-то его звали и дома, так оно само собой получилось. Эта тревога, эта тоска из-за имени навалилась на него уже после войны, когда, приехав из госпиталя и сдав в военкомат выданную еще в части, мятую, на серой бумаге справку о награждении, он получил свой орден.

Имя, его настоящее имя, знала одна Жанна, Алке он ничего не рассказывал (зачем ей знать!). Но Жанна не вполне понимала то, что изводит его и гнетет — опасность забыть самого себя.

У него была фотографическая память на прочитанное. И «Двенадцать цезарей» Светония помнил он, едва ли не наизусть, целыми страницами. Знал иконографию античных правителей, профили их выучив по изображениям на монетах. Помнил стихи из Илиады и остроты Плавта; помнил укоры Цицерона Катилине... Что тот поклоняется серебряному орлу, божницу с которым возят за ним повсюду... Помнил, каких богов о чем просили римляне, принеся им жертву: Марса — о процветании фамилии, Меркурия — о выгодной сделке, Юнону — о благополучных родах. Он помнил, что богиня Алемона питает зародыш, а Сентина дает ему жизнь. Знал, какой бог ведает первым криком ребенка и так далее. Помнил, что Нигидий Фигул делал предсказания о грядущих событиях в государстве на основании ударов молнии и грома. Знал наперечет и те знамения, кото-

рые сопровождали победы римлян: самопроизвольное движение статуй в храме Минервы или возгорание кончиков копий у пятого легиона в Африке... Но хотел бы начисто забыть многие события собственной жизни, особенно лагерные. Днем они вытеснялись у него из головы чем-то другим, но постоянно возникали в снах, где он, интенсивно двигая губами, что-то говорил, и от которых просыпался с горячим лицом.

Он до сих пор не пережил в себе потерю своего настоящего прозвания, хотя переименовали ведь его еще ребенком. Он о многом хотел бы узнать, но не у кого было теперь спрашивать.

Когда-то в кармане старого отцовского пальто, которое он донашивал, вернувшись с войны, обнаружилась карточка на проезд в трамвае и автобусе «с правом входа через переднюю площадку» — так напечатано было на картонке со штампом Мосавтотранса. Почему отец ездил тогда из Ленинграда в Москву, в каком событии участвовал? Наверное, та поездка в столицу была по партийной линии...

Когда начали сажать состоявших раньше в меньшевистской и других партиях, семья Головановых из Ленинграда выехала. В Сибирь они прибыли как семейство Годоваловых, и отцовское прошлое не должно стало отражаться в анкетах. Правда, детям было трудно привыкать к новой фамилии, и он, мальчишка, бывало, не реагировал, когда на уроке его вызывали к доске.

Из своего сибирского детства помнил он, как простодушны, как доверчивы были люди, какая доброжелательность, в общем, была свойственна жителям того города, куда переехала их семья. И вдруг очень скоро, без постепенности, случилось вот как, стало вот как: всех мало-мальски заметных личными качествами людей затравили, посадили, выморили, а остальные словно затаились, стремясь спрятать характер и тем спастись.

С отцом, который после переезда в Сибирь стал носить бороду, чтобы скрыть свой возраст, надеясь, что стариков меньше трогают, было у него, старшего сына, два-три разговора о том, что происходит. С возмущением говорил отец о

том, что на партию теперь смотрят, как на пирог с начинкой. Он помнил, что отца не покидало ожидание все больших бед. Действительно, и с новой фамилией не избег он ареста и погиб. Был человек — жизнерадостный, подвижный, щедрый, — и вот остался только проездной билет этот, действительный по август тридцатого года, с настоящей отцовской фамилией...

Правда, был один случай, один разговор... В Воркутинском лагере судьба ненадолго свела Годовалова с бывшим священником. Только от него и видел Годовалов то внимание, тот интерес к себе, которые не были вызваны корыстью или подозрительностью, ведь большинство людей там, в заключении, постепенно теряя человеческий облик, жили одними инстинктами. Вообще-то в войну «религиозников» Сталин выпустил, но этот сидел не в первый раз и по такой статье, что его амнистии не касались. У священника не хватало пальцев на руке, а окалечился он в Соловецком лагере, на лесобирже, еще до войны.

— У меня отец сидел на Соловках, — сказал ему Годовалов.

А тот стал рассказывать:

— СЛОН как раз числился лагерем для духовенства, а также для эков, направленных туда из разных колоний за систематические нарушения. Красота природы неизъяснимая... Зеркальные озера, зеленые острова, сосны... Море синее-синее, а чайки в воде отражаются до последнего перышка... Дороги прямые, плотно убитые щебнем. Монахи еще строили... Лагерь — на небольшом участке суши между Святым озером и заливом Белого моря — все помещения монастыря занимал. Бежать оттуда невозможно. Летом острова окружены водой, а зимой — льдинами, а за ними — открытое море, никогда не замерзает... До материкового берега как добраться... Если только организовать побег на лодке...

— Но был один такой, — вел свой рассказ священник, — звали его у нас Голова. Голованов, действительно, головастый, умный был человек... И до сих пор неизвестно, чем кончился тот побег. Из Святого озера в док вел раньше канал

и был сделан еще когда-то шлюз с воротами входа и выхода. А вместо насосов использовали тогда естественный перепад вод в озере и заливе. Шандор опущен — вода заперта, открывают — вода по узкому каналу стремится с ужасающей быстротой и в напорном режиме все рвет... И есть аэрационная шахта-колодез, дающая выход воздуху, который иначе был бы сжат водой. Проём шахты в пределах монастыря, на территории лагеря... И из этой шахты есть тоннель, подземная протока, выходящий на набережную. Там арка валунной кладки... Мало кто знал, но по туннелю, оказалось, возможно выбраться из зоны, правда, пережив падение с большой высоты под воду. Поднырнув, можно было потом попасть за стены монастыря... Когда Голованов пропал, его искали. Если б взяли, то вернули бы в лагерь. А и застреленных при побеге хоронили не сразу, тело выставляли для остратки на всеобщее обозрение. И хотя все острова тогда исходили с собаками вдоль и поперек, но не поймали...

Бегучесть, как видно, имел Годовалов в самой своей природе, унаследовав ее от отца...

Сейчас он понимал, что самоощущение русского человека, сформировавшегося до семнадцатого года, каким был его отец, и советского человека, возвращенного новой идеологией, оказались разительно отличными, противоположными. За двадцать лет после переворота, как называл революцию отец, свершились огромные сдвиги и в мышлении, и в душевном складе людей. Это еще можно было бы понять как различие в представлениях разных поколений, но если изменение нравственных основ происходило в самом человеке, видно было, что психика с трудом такое выдерживает. Ради чисто физиологического выживания приходилось принимать новую мораль, чему люди сначала внутренне сопротивлялись, но очень быстро в сознании народа что-то произошло, многое перевернулось или утратилось навеки.

Это отразилось и на внешней стороне людского существования. Если раньше, при скромности, неприязнительности и бедности населения, еще оставалось стремление сохранить прибранность быта, и это чувствовалось в том, как выгля-

дели улицы, дома, изгороди, то теперь, куда бы ни попадал Годовалов, сколько бы ни глядел из окон поезда, — всюду, по всей стране было одно и то же. Разор и запущение во всем. Покосившиеся постройки, некрашенные заборы, разбитые дороги, неухоженный и тощий скот. Везде была разруха, связанная, как он видел, и не с войной вовсе, а вызванная только особым психологическим состоянием людей. Когда все кругом не свое, когда всем на все наплевать, никому, ни в одном поколении уже ничего не нужно, когда не сегодня-завтра можно вообще очутиться «на том свете», как говорили у них в доме, и когда досрочная смерть стала привычным событием.

Прежде как-то заботились о том, чтобы иметь благопристойный вид. Так, по его детским наблюдениям, повседневное, пусть небогатое, платье было опрятным, женщины рукодельничали, чтобы украсить себя, во всяком случае, он хорошо помнил эти вышитые кофточки. Людям присуща была определенная степенность речи и движений, а к старшим было принято обращаться почтительным тоном. С некоторых пор уважение к старикам было искоренено, правила общения забыты, все дергались и кричали друг на друга, и, кажется, даже вообще разучились нормально вести разговор. Всякое вышивание, по-видимому, прекратилось, на всех была невыразительная стандартная одежда, делавшая людей похожими друг на друга. Ватник, перекочевав из лагеря и трудармии на волю, стал типовым облачением для всех без различия пола. И бесформенные, всегда грязные сапоги, точно гири, отяжелявшие ноги, были теперь неизменны в облике труженика.

И когда он, как это водилось за ним, уговаривал самого себя, что, мол, все на свете повторяется, с рвением недоучки отыскивая в истории явления, аналогичные теперешним, на самом деле он пытался самого себя обмануть, потому что много там, в прежних временах, было страшного, но здесь страшного было гораздо больше.

Он как-то раз задумался о том, можно ли сравнить раскулачивание и высылку у нас наиболее предприимчивых и

состоятельных крестьян и криптии, практику узаконенного уничтожения в Спарте самых сильных и смелых илотов, потомков поработанного коренного населения. Однако здесь изводили своих же соплеменников и масштабы истребления земледельцев были неизмеримо крупнее. Что же касается политических изгнанников, то там, в Древней Греции, когда при тайном голосовании выцарапывали на глиняных осколках имена тех, кто должен отправиться в другую страну, их имущество не всегда подвергалось конфискации, как у нас. И даже рабы имели право следовать своим верованиям, тогда как здесь верность идеям партии и атеизм вменены были в обязанность, а за веру в Бога («за религиозную пропаганду») сажали.

И, может быть, оттого так замкнулись тут лица людей, выродившись в некие общие для всех черты, оттого привычным стало для нас всех выражение какой-то угрюмой отупелости, что раньше человек видел идеальный лик — мужской ли, женский ли, — глядя в церкви на иконы и стенные росписи. И сохранял свое обличье как образ и подобие Божье. А теперь эти образцы благообразия были утрачены, и физиономиями наши граждане становились, зачастую, не похожи даже и на собственных предков. Теперь мимический рисунок лица складывался в стремлении утаить всякую выразительность, при одной мысли — не выделяться!

Он все-таки ждал чего-то от судьбы. И хотел, чтобы впоследствии те, кто знал, что он — это он, засвидетельствовали бы, кто он на самом деле, если когда-нибудь все встанет на свои места и отпадет обвинение, которое сфабриковали и навесили на него. И хотя его собственная жизнь складывалась по-особенному, не как у других, она целиком как бы растворялась, распускалась до неги, точно соль в кипятке, в истории несчастной страны. И его личные неудачи усугублялись тем настроением, которое и после победы, после войны никак не избывалось, несмотря на неимоверные труды населения. Он никогда не принимал утверждения, что русский народ ленив (а позднее, во время «перестройки», много такого писали). Где бы он ни был — и до войны, и после войны, и на

фронте, и в лагере, и в стройбригаде, нанимаясь на сезонную работу — Годовалов всегда видел этот, принудительный и добровольный, до надрыва живота, за нищенскую плату труд, часто дармовой, порою бесполезный...

Со священником бывшим, солагерником своего отца довелось ему встретиться еще раз, много лет спустя после освобождения из лагеря и самовольного отъезда из Шайтанки. Было это в зале ожидания, на большой станции, где Годовалов делал пересадку. Он уже несколько часов находился там, но заснуть было невозможно, милиционеры не давали спать, время от времени проверяя наличие билетов у ожидающих. Рядом с ним на неудобной вокзальной скамейке оказался старик — худой, с нестриженными седыми волосами. Когда тот, развернув на коленях газету, приготовился есть и перекрестился, Годовалов увидел, что на правой руке его не хватает пальцев, и, взглянув пристальнее, неожиданно узнал бывшего своего соседа по бараку, единственного лагерного друга. Священника, как оказалось, выпустили в пятьдесят шестом, до своего двадцатипятилетнего срока три года не досидел.

Вспоминали лагерь, свою шахту семь-двадцать два бис Воркутинско-Печерского углеуправления, говорили об общем прошлом. Годовалов не таясь рассказал этому человеку и о своем побеге из Сибири. Как, оставив опустылевший поселок, ушел на лыжах, как заблудился ночью в тайге по пути к железнодорожной станции... Ориентироваться можно было только по звездам, но звезд он не видел, и барахтался в черном снегу, пытаясь выбить в нем лыжню. Потом остановился. Захотелось свернуться калачиком и отдохнуть, поспать. Но это была бы смерть, и он заставил себя двигаться и увидел вдруг свет впереди и, идя на него, вышел к жилью, хотя никакого источника света не было, ни прожектора, ни костра. И священник понимающе закивал головой: «Это место известное, раньше был монастырь Василия Мангазейского, страстотерпца. Умер от пыток, тело зарыли без отпевания, но через пятьдесят лет там, где тело было похоронено, стали совершаться знамения, и его перенесли в Туруханский мо-

настырь. И хотя потом из монастыря сделали тюрьму, свет иногда показывается».

Старику было уже лет девяносто, но держался он прямо, говорил отчетливо.

— Вы совсем не изменились, — сказал он Годовалову, кротно улыбаясь. — А я зажился. Кто из лагеря все-таки вышел, долго живет, и пока не съест всей соли, какую положено ему в жизни съесть, не умирает. И хотя болезни одолевают, но, как говорится, трухлявое дерево дольше живет...

Годовалов знал, что Жанна навсегда ему предана, знал, казалось бы, с тех самых пор, как в палатке медико-санитарного батальона открыл глаза, и из темноты наклонилось к нему это доброе круглое лицо. Детские губы, погоны младшего лейтенанта и стрелка-эмблема на петлицах гимнастерки. Тогда она почему-то выбрала среди раненых именно его и в ту неделю, что он провел в медсанбате, вокруг него, приходящего в себя лишь ненадолго, хлопотала. Один раз она пришла ночью, после дежурства и в тесноте пробравшись между спящими и стонущими во сне, подошла и присела к нему на топчан. Сидела над ним, порой приговаривая что-то, а он слушал, не поднимая век, слушал ее слова, и вдруг она наклонилась и поцеловала его, крепко-крепко, будто родного. И в затишье слышно было только, как медсанбатовские стреноженные лошади, стоящие тут же, в лесу, между палатками, жуют свои концентраты.

Несмотря на дворянскую свою кровь, Жанна была такой краснощекой, ширококостной, точно девушка-спортсменка с плакатов «Будь готов к труду и обороне!», которые висели у них до войны в школе. И хотя у нее на гимнастерке была золотая нашивка тяжелого ранения, она казалась тогда энергичной, сильной, ноги ее в хромовых сапогах пружинисто топали, стуча подковками. И скоро он узнавал уже ее шаги среди других звуков полевой больницы. Позднее от скудной еды, от усталости крутые щеки ее пропали. Но тогда хребет, видно, у нее был очень прочный, такие она тягала тяжести.

Выросшая в семье, где царили старорежимные порядки, она, будучи истовой комсомолкой, всегда открыто этому сопротивлялась. С самого начала войны рвалась на фронт. В сорок третьем, после двухмесячной подготовки направлена была наконец на передовую и первые три недели, до того как отвели во второй эшелон, пережила как один нескончаемый день, учась делу на ходу у более опытных, тех, что раньше нее попали сюда. Помнится, что, в первые же сутки попав под обстрел на открытом месте, она, как всякий необстрелянный человек, сперва даже и не осознавала всего происходящего. Вжи-вжи-вжи, — услышала, точно мышки побежали по снегу, повизгивая и взрхляя твердый наст. Она сразу и не сообразила, что это пули. У нее на глазах сразу кого-то зацепило и, хотя ранило легко, но крови было много. Потом, уже через день, звуки перестрелки стали привычными и различимыми: свист, шелест — немецкий снаряд летит — свист, шелест, грохот разрыва и визг осколков...

Жанне тогда сильно досталось. Когда ребят-санитаров в основном повыбили, много пришлось работать, так как в роту к ним присылали таких девчоночек, которым вытащить раненого было не под силу. Они едва справлялись с тем, чтоб оттащить человека куда-нибудь неподалеку — в ямку или в укрытие. Позднее на помощь пришли специально обученные собаки, но они появились только в зиму сорок третьего — сорок четвертого. Запрягали их в волокуши, в саночки. И в холоде Жанне приходилось быть столько, что, несмотря на овчинный полушубок, когда она возвращалась к себе в землянку, то никак не могла согреться.

Санитаркам полагалось носить мужское белье и военную форму, это потом появились платья защитного цвета. Кормились девушки с походной кухни, спали на земляном полу. Раздеться и вымыться можно было нечасто, хотя баню устраивали даже зимой, в большой палатке. Несмотря на внешнюю улыбчивость, нутром она как-то очень засуровела, привыкнув ко многому — и к крови, и к грязи, и к смертям. Она стала курить, а когда вспоминала о доме, думала, что и курение, и то, что ей пришлось обрезать косы, и то, что ногти

у нее всегда желты от йода, а говорит она теперь каким-то грубым, сирым голосом, наверняка огорчило бы воспитавшую ее бабушку. Бабушка не к тому совсем готовила свою «баршутку» и относилась с осуждением не только к женщине с папиросой, но и к тем девушкам, что носили челку или имели привычку сидеть, положив ногу на ногу — все это считалось у них в семье совершенно неприличным. Было и нечто такое, что совершенно изменило Жанну внутренне, а ее старуху-бабушку наверняка сразило бы, узнай она правду... Жанна после того события как будто начисто и навсегда отпала от своего дворянства и во внешнем поведении, и в строе речи...

После ранения Жанна в санитарки больше уже не годилась и попала в медсанбат, где и произошла их с Годоваловым встреча, которая в те дни не кончилась ничем. Жанна пыталась его потом разыскать, и в тыловом госпитале, куда его перевели и где его лечили сном, получил он от нее письмо. Она писала, что война скоро кончится, и звала его в гости, к себе домой, указав московский адрес. Но на письмо он ей не ответил, и дело было не только в его психической оглушенности от лекарств, и не из-за того, что он знал о ней, но и в нежелании обременять собой хорошего человека.

Правда, вскоре она была снова ранена и сама загремела в госпиталь. Но там не только проходила лечение, но и помогала, как могла, медсестрам, поэтому решили ее оставить и по запросу главврача оформили перевод из медсанбата.

Жанна давно уже не боялась тех страшных открытых ран, которые ей приходилось обрабатывать, и в которых нередко видны были белые членистые черви с капельными головками, как оказалось впоследствии, полезные и предотвращающие развитие гангренозных бактерий, и не пугалась, если у человека не было лица. А ведь такие раненые порою были обречены, не всегда их умели выхаживать, и они умирали — не только от ран, а и от истощения. Жанна знала, как надо таких кормить-поить до отправки в тыл, и учила других сестер.

В сорок пятом она была демобилизована, а хирург, знавший ее как медсестру на фронте, разыскал Жанну в Москве и

устроил на работу к себе в клинику, где открылось челюстно-лицевое отделение. Бабушка ее к тому времени уже умерла.

В пятьдесят пятом, числясь на высылке в Туруханском районе Красноярского края, под угрозой ареста и нового срока за побег, когда ходил Годовалов по ледяному тротуару возле вокзала в Москве, готовясь перекомпостировать билет и зная, что в Ленинград нельзя, там его в лицо знают, а больше ехать некуда, — он вспомнил вдруг адрес Жанны. И произошла новая их встреча, которая и переменяла всю его жизнь, связав их навсегда.

Жанна мучилась оттого, что не могла иметь детей, еще на войне простуженная до потрохов. На лице у нее так и оставалась отметина войны — справа резкий рубец спускался от виска вниз, особенно грубо зашитый на шее. Ей сделали пластическую операцию, а потом заставили учиться, и она осталась работать в отделении, где сперва было триста, а потом и шестьсот коек.

В свое время она, как и ее подопечные позднее (те, у кого сохранилось зрение), переживая из-за своего лица, после операции без конца смотрела на себя в зеркало. И в ее палатах у каждого больного лежало зеркальце в нагрудном кармане. И у нее на всю жизнь остался этот произвольный жест: закрыть рукой посеченную часть лица, повернуться к собеседнику левой щекой. И слева видно было, какое красивое от природы у нее лицо.

Любил ли он Жанну? Во время войны, когда все страшно заняты и угроза смерти есть постоянно, когда происходит огрубление нравов из-за военных тягот и нарушение всех нормальных жизненных проявлений, никто, казалось, не задавался вопросом о чувствах. А потом, когда она стала его женой, и он был ей всем обязан... Душевная сила этой женщины внушала ему какую-то робость. Он осознавал, как она рискует из-за него, ведь ей могли поставить в вину не только недонесение, но и прямое участие в преступлении: и сокрытие правонарушителя, и пособничество в подделке документов... За все это время не показала она ни страха, ни недовольства неверным его положением, ни разу не проговорила и о том, сколько

заплатила тогда за тот его липовый паспорт. Правда, сказала однажды, что надо бы подать на реабилитацию, ведь у многих «вечная ссылка» завершилась прекращением дела в пятьдесят шестом «за отсутствием состава преступления». Но так много было у него в жизни наворочено, столько свидетелей надо было бы привлечь, что дело постоянно откладывалось. Да он и не был до конца уверен, что установят его невиновность по прежней статье и не припаяют еще чего-нибудь.

Он старался, как умел, о ней заботиться, хотя Жанна никогда не просила его ни о чем. Она же оставалась тем, кем была для него на войне: фронтовой сестрой милосердия, однополчанкой, — и жизнь их шла без каких-либо сантиментов. И как-то оба были молчаливники друг с другом. Он никогда никому не рассказывал о своей жизни, на девятое мая прятался от знакомых Жанны, их поздравления ему претили. Никогда до сих пор ни с кем не говорил о войне (правда, однажды — с Велецким о появившихся с сорок второго заградотрядах), уверенный, что о войне всем все известно, только в газетах об этом не пишут. Во всяком случае Жанна о войне все знала. Знала, как ночью в траншеях на передовой и наши, и немцы жгли костерки, всего в сотне метров друг от друга. Знала, что немцы, занимая оборону, закрепляются так, чтобы всегда быть на высоком берегу, откуда они простреливают наши окопы до дна; что с часу до двух они не стреляют, у них обед. Знала о тех случаях в Восточной Пруссии в конце войны, когда пьяные наши солдаты в групповую насильствовали женщин, и знала, что это было мстостью, потому что немки, в том числе старухи, сначала были избиты, хотя в «Правде» и появилась тогда статья о недопустимости мщения, разъясняющая, что немецкий народ — не фашисты.

Знала из собственных его проговорок и о том, что после контузии что-то сдвинулось у него в голове, и когда его везли в тыловой госпиталь, появилось у него это обратное зрение. Годовалов видел странный мир, где все белое выглядело черным, у всех были белые зрачки и черные зубы, поэтому, когда люди улыбались, их лица казались ему дьявольски страшными. Но в конце концов врачи как-то наладили ему

зрение, вернув и реальность восприятия, хотя опыт того видения оставался уже с ним навсегда.

Знала Жанна и тот его госпитальный диагноз, когда применяли к нему сонную терапию (охранительное торможение по Павлову, как прочла она потом, уже учась на врача после войны), но не понимала, что неотступная его хандра была не оттого, что после госпиталя Годовалов никогда больше не получал морфия, как объясняла она себе. Совсем не от этого было ему худо, но от того, что видел он кругом.

Жанна никогда не роптала, вела хозяйство так, что хватало денег, хотя он мало что мог принести в дом. И все его учение, и культпросветшкола, которую закончил он еще перед войной, и университет, в котором проучился он почти два курса, пока его не посадили, — все пошло псу под хвост, и начинать надо было с нуля. Она оттрубила на одном месте тридцать лет и, выйдя на «заслуженный отдых», теперь лишь иногда подменяла уходящих в отпуск врачей.

И теперь трудные для нее наступили дни, неожиданные для нее пришли новости.

— Молодая! — думала Жанна с тоской, получив анонимное письмо, где сообщалось, что ее муж, Годовалов Ю.П. сожигает с неизвестной ей Алевтиной Николаевной такой-то.

Жанна сначала разорвала бумажонку, но потом опять соединила клочки и теперь, по много раз на дню доставая половинки письма и всматриваясь в четкие буквы машинописи, задавалась трагическим вопросом, правда ли это, и по каким-то невольным наблюдениям, которые теперь ей вспоминались, поняла, что правда.

От Годовалова не укрылось: ее что-то мучает. Он понимал, что Жанна с ее святым, светлым, но каким-то выцветшим лицом, на котором даже ресницы стали седыми, страдает. Сам он не умел скрыть счастливого вида и подозревал, что о причине этого счастья она, наверное, догадывается, и что, хотя он иногда заставляет себя взять ее за плечи братским покровительственным объятием, не такое дружеское единение ей нужно.

На самом деле у нее как будто кончились для выражения боли все обычные способы, и даже плакать она не могла, но однажды утром, как только за ним закрылись двери, ей вдруг сделалось особенно плохо, и стало жечь ноздри изнутри. Она вспомнила сцену в районной поликлинике, как сидела в очереди на прием к хирургу и впервые за всю жизнь решила воспользоваться одной из тех льгот для участников войны, которые объявило государство. На дверях медицинских кабинетов висели сделанные по трафарету надписи, уведомляющие, что участников и инвалидов ВОВ принимают вне очереди. Просьбу пропустить ее к врачу встретили молчанием. Никто не сказал ни слова, но ей виделось, что люди сдерживают недовольство. Вдруг девушка в миниюбке произнесла с раздражением:

— Сколько же можно! И почему?

— Участников ... здесь написано, — пробормотала Жанна. — Инвалидность у меня.

Одна женщина сказала укоризненно:

— Постыдились бы! Она, может, раненых на себе выносила!

— Знаем мы, как они выносили! Житья нет, одни ветераны кругом!

Жанна окаменела. Она не могла выговорить слов оправдания: что, действительно, имеет какие-то эти малые права... Но разве расскажешь, что ампутированные руки-ноги приходилось складывать в тазы, что раненые в бреду вскакивают, и надо их держать, чтоб не сорвали повязки, что за вынос из-под огня сорока раненых давали орден Красной Звезды, а она их вытащила не меньше... Дверь кабинета открылась, выпуская очередного больного, и Жанне замахали из очереди: «Идите, идите!» — и впихнули ее, подхватив под локти, в кабинет.

И вот, вспомнив пережитое совсем недавно, она вдруг поняла, как все это должно разрешиться... Кто-то из двух — она или та женщина — должен уйти, и подумала, что устраниваться должна именно она сама, но не из создавшегося треугольника, а совсем. И это осуществилось бы так естественно!

По тем назначениям, которые сделал ей врач, догадываясь о своем диагнозе, она решила, что просто не станет делать операцию, к которой ее готовят. Найдя такое простое, не требующее никаких специальных самоубийственных действий решение, она вдруг очень пожалела себя... Пожалела о своей жизни, которая пролетела так несправедливо быстро, о родных, которых уже никогда не сможет увидеть, о мальчике-соседе, которому она подарила глиняную свистульку, чтобы слушать живые его трели из-за стены... И впервые за все эти дни заплакала — громко, и таким пронзительным, тонким, почти младенческим плачем, что в серванте отзывалась звоном мелкая посуда, расставленная на полке вокруг хрустальной ладьи, которую подарили ей на работе, провожая на пенсию.

Из глаз ее потекли какие-то сухие, жгучие слезы. И, выгнув шею и задыхаясь, она качалась с поднятыми до плеч, сжатыми в кулаки руками, а потом, набрав в загрудинную пустоту воздух, головой уперлась в стену, лбом тычась в дешевые обои... Но тут кто-то сзади обхватил её запястья и держал крепко, чтоб она не билась, и ее муж, который вернулся было за каким-то забытым, оставленным им предметом, обнял ее со спины и с мучительным усилием говорил те слова, которые так нужны были ей:

— Я с тобой, я с тобой!

Потянулись московские дни, но для Годовалова они не были серыми буднями. Для него занятия с этими, спяными общежитием девчонками из Подмоскovie, с гордыми москвичками, держащимися отдельно от провинциалок, с немногочисленными мальчиками, поступавшими в пединститут, чтобы избежать службы в армии, для него семинары по археологии становились часами, когда он чувствовал себя полноценным человеком, оставив за порогом аудитории груз несложившейся жизни. Правда, совсем свободным он, наверное, не чувствовал себя никогда. Может быть, только на фронте, под бомбами. Там он был свободней, чем где бы то ни было.

Правду сказать, сейчас по сравнению с тем временем, когда сам он учился в Ленинградском университете, произошло много перемен, но идея классовой борьбы, которая должна была стать для будущих педагогов основой просвещения масс, и теперь оставалась главной. Историю прищипливали к народным восстаниям, а из исторических личностей особенного почитания заслужили бунтари — от Спартака до Пугачева и Ильича, не говоря уж о новейшей истории, где главное место долго занимала одна фигура — Сталин. Отец Годовалова в какой-то момент до ареста дал понять сыновьям, что в учебнике все перевернуто, что после очередной кампании травли и арестов убирают именно тех соратников Сталина, твердокаменных коммунистов, которые знают его прошлое, знают, что в революции он никакой существенной роли не играл, а в только что вышедшем «Кратком курсе истории ВКП(б)» все просто приписал себе.

Несмотря на все штампы и перекосы школьного обучения, когда из Лермонтова давали только «Мцыри», а Есенин и Достоевский были изъяты из библиотек, Годовалову все равно хватило чтения и разговоров в семье, чтобы у него сложились свои представления обо всем. И хотя Сталин свои черные дела прикрывал соответствующими цитатами из

основоположников марксизма, так что эти его преступные действия казались логичными, неизбежными, у Годовалова достало разума, чтобы многое понять самому. Правда, в изолированной от остального мира стране не знали никакой иной философии, кроме марксизма, поэтому идейную опору для противления тирании Годовалов искал в том же марксизме, но многое понял в лагере и потом, после того как в шестьдесят восьмом ввели танки в Прагу.

Он очень дорожил нынешним своим местом ассистента на кафедре пединститута, ведь до этого вся его археологическая деятельность из года в год ограничивалась сезонной работой в качестве землекопа. Однако в экспедициях, куда нанимался он простым рабочим, жизнь сводила его с известнейшими учеными, и кое-кем из них был он особо замечен. Правда, сейчас Годовалов понимал, что как только он сдаст отчет о студенческой летней практике, с работы его сразу попрут, не продлят договора, Осповой не станет его больше терпеть.

Надо сказать, для Годовалова и Верич, и Осповой, чуждые ему и по мировоззрению, и по методам работы, были сами по себе страшно интересны. Споры с ними способствовали отстаиванию им своего собственного «я», и он признавал тот факт, что они по-своему выделяются среди остальных институтских его коллег тем, что не стараются, как большинство, сделаться незаметными. Оба, как он видел, были настоящими лидерами и в другой среде, наверное, могли бы со своими-то способностями действительно обогатить науку, но, хотя, казалось бы, крымская античная археология не была так уж идеологизирована, классовый подход и тут преобладал. Кроме того, все вынуждены были подчиняться разным, даже самым дурацким установлениям, вроде обязательных соцсоревнований, наставничества, шефской помощи и прочей туфты, называемой «общественная работа» и отнимающей уйму времени.

Люди, которые окружали Годовалова в институте, были, как правило, унижены жизнью: нехваткой того и другого, бедностью и жилищной теснотой. Человек, только что на лекции разглагольствовавший о римском праве или Фоме

Аквинском, вслед за тем, бывало, вынужден был выстаивать очередь в магазине, волнуясь, достанется ли ему пакет гречки, и с трудом сдерживая себя, чтобы не закричать вместе с бабами: «Не больше килограмма в одни руки!».

Казалось, только методист Татьяна Ивановна не знала никаких проблем, потому что и дома, и на службе все ходили перед ней по струнке, а задача доставания еды была ею переложена на мужа. Как глава факультетского месткома Татьяна Ивановна собирала взносы и обеспечивала стопроцентную явку на субботники, которые традиционно заканчивались пьянкой. На общем фоне она тоже была весьма яркой фигурой, убежденная, что все проблемы решаются коллективно, по принципу «Не можешь — научим, не хочешь — заставим», — и руководила не только тем, чтобы своевременно нести начальству приказы на отчисление «хвостатых» студентов, но, как оказалось, и личной жизнью сотрудников. Когда одна лаборантка, восемнадцатилетняя красавица влюбилась и собиралась уже выйти замуж, Протыкан заявила безапелляционно: «Рано!» — называла ее кавалера крокодилом и не успокоилась до тех пор, пока этот брак не расстроился.

Татьяна Ивановна была, что называется, воплощением оптимизма и запрещала на службе говорить о грустном. Она всегда улыбалась, улыбалась каждому, показывая свои белые зубы, и улыбалась не только ртом, но как будто и носом, аккуратным носом с большой розовой родинкой слева. При этом Протыкан была уверена, что все ее хотят... И каждый студент, приходящий просить о досдаче экзамена, и профессор Верич, порою награждающий ее с тыла дружеским тумачком, но, однако, опасющийся ее ревнивого мужа. И новоявленный кандидат наук туда же, хотя публично и не обнаруживает своих чувств, потому что молод и росточком маловат, чтобы заглядываться на нее. И только эта темная лошадка Годовалов, про которого ей точно было известно, что он знает немецкий, хоть и не написал этого в анкете, никогда не целовал ее не только в щечку, но даже и к ручке не прикладывался. Подозревала она и лаборанткам намекала, что молчун наш в результате фронтовых ранений, как видно, стал импотентом.

Протыкан как-то сказала Годовалову напрямик, что она видит людей насквозь. «А что, этот Алексеев, он не Александров?» — спрашивала она в застолье многозначительно, вроде бы и придуриваясь и намекая на что-то, ей одной известное. Все смеялись, и лишь Юрий Петрович поджимал губы, понимая, что про него самого могут вот так спросить: «А что, этот Годовалов, он не...», и в тоске шел курить во двор.

Хотя Годовалов был всегда настороже, он знал, что были у него проколы. Например, однажды в перерыве между «парами» он взял с полки в преподавательской «Философский словарь», перелистывая, прочел что-то, и, рассердившись, вдруг швырнул словарь в мусорную корзину. И эта сучища все наверняка видела, сидела на своем месте и зырила. Хотя он быстро остыл, достал словарь из корзины и на место поставил, это не могло не обратить на себя внимания. И так — одно к одному.

Встречи с шофером, с Иваном Серафимовичем, тоже не радовали. Увидев того через неделю после их возвращения из экспедиции, на вопрос «Как дела?» Годовалов в ответ услышал: «Все то же самое. Переселился в коммуналку — та же свистопляска». И оглядываясь по сторонам — не слушает ли кто — шофер рассказывал ему, что выделявают гэбешники:

— Следят круглосуточно. Эти... усилители поставили. Переключаются тумблеры, магнитофон крутится там у них, а когда приводишь женщину, кто-то смотрит, я чувствую. Видно, и оптику подвели.

Годовалов слышал уже, что отчебучил тот по приезде из Крыма. В путевке своей, в том самом документе, по которому он должен был отчитаться о командировке, вымарал все даты, все цифры километража, замазал чернилами все отметки по пути следования. Бедняга считал, что таким образом он скрывает информацию от вражеской разведки. Только учитывая безупречную работу водителя в прошлом, дело как-то замяли. Когда Годовалов в очередной раз пытался убедить Ивана Серафимовича в том, что подозрения его необоснованны, тот в безнадежности лишь руками махал:

— Что вы! Еще хуже стало, совсем обнаглели. Только ляжешь спать — они потолок подсвечивают и из вентиляции голос подают, и заснуть невозможно от их трепотни, все время дразнят и издеваются.

Как видно, болезнь прогрессировала, но мужественная натура шофера восставала против мучителей, и однажды он объявил Годовалову, что начал борьбу и решил выморить их, как тараканов, и даже прыскал керосином в дырки вентиляционной решетки, но помогло ненадолго, а надо их выжигать буквально огнем, паяльной лампой. Вместе с тем заболевание, как оказывается, совсем не мешало Ивану Серафимовичу справляться со своими обязанностями. Он всегда был вовремя на месте, все делал как надо и, если молчал, выглядел вполне нормальным человеком и любил свой грузовик настолько, что, как признавался он Годовалову, просто сросся с ним и чувствовал задние колеса и кузов машины как ноги и свой собственный хвост.

В институте, с одной стороны, страшно падала дисциплина, с другой, вдруг начали закручивать гайки, демонстративно обязав всех систематически посещать политинформации. Усиление идеологической работы, как видно, было связано с полным крахом в массах надежды на этот самый коммунизм. В провинции давно уже невозможно было купить в магазине ни масла, ни мяса, и практичный Осповой много чего смог пробить для своей крымской экспедиции, подъезжая к мелкому тамошнему начальству не иначе как с палкой копченой колбасы.

С некоторых пор Иван Серафимович стал раздражать Оспового. Шофер являлся на институтские политинформации и допекал всех цитатами из Ленина. Поначалу его выходы потешали публику, но когда пришла из райкома «телега» и оказалось, что Иван Серафимович сигнализировал наверх о том, что горючесмазочные материалы расходуются не по назначению, начальство решило: пора его убирать, — хотя сразу уволить такого человека и нельзя было, это рассматривалось бы как преследование за критику.

Протыкан, будучи проформом факультета, до поры до времени считала своим долгом защищать старого работника и

если, например, слышала, что называют его, искажая отчетство, Иваном Херувимычем, то всегда стыдила зубоскалов, так как, не зная слова «херувим», думала, что в шутке есть нечто матерное. Однако она острым своим глазом, конечно же, видела, что человек не в себе. Когда же в один прекрасный день шофер пришел и стал говорить, что в народном хозяйстве планирование у нас ведется неправильно, Татьяна Ивановна, хоть и просила его обратиться к врачу, чтобы прописали ему капельки, но, как только он вышел, тут же стала звонить Осповому. И кричала ему по проводу, что пора принимать меры, пока это не перешло в буйное помешательство.

Когда через несколько дней пришла «психпомощь», и Ивана Серафимовича вызвали из гаража, шофер ни в какую не соглашался садиться в «скорую», уверенный, что за ним прибыли переодетые во врачей сотрудники «органов». Как затравленный волк озирался он вокруг. Годовалов по случайности тоже оказался на институтском дворе в это время. Он увидел шофера, увидел людей в белых халатах рядом с ним, потом увидел, как Иван Серафимович, отпрыгнув от врача, в несколько скачков пересек двор и вбежал в вестибюль института. Годовалов кинулся за ним, опережая санитаров. Больной, устремившись по лестнице вверх, мигом достиг лестничной клетки второго этажа и, видя, что за ним гонятся, стал бить кулаками в стекла витражного окна. Зазвенели и посыпались цветные осколки, однако протиснуться наружу между деревянными вычурами оконного переплета было невозможно. Разгоняясь, чтобы ударить всем корпусом и выбить окно целиком, он отступил немного назад, но Годовалов был уже с ним рядом и, схватив его прочно горячим жимом, прямо в ухо зашептал: «Постой, Иван Серафимович! Это правда — врачи. И надо тебе отдохнуть». Тихо-тихо сказал, как будто зная, что шизофреники при остром приступе не реагируют на обычный голос, а только на шепот. И больной со скорбной гримасой вдруг сказал ему, тоже шепотом, что из машины, из бака надо слить бензин.

Психперевозка уехала, и сотрудницы стали договариваться о том, кто пойдет навещать Ивана Серафимовича, сло-

вом, проявлялась во всей полноте та сердобольность, которой обычно награждают у нас гонимых. Годовалов понимал, что госпитализация его приятеля-бедолаги была необходима, чтобы уберечь самого больного, но не мог забыть выражения его глаз перед отправкой в больницу.

А на другой день опять был случай, выбивший его из колеи, и снова тут была замешана Протыкан. «Голованов! Голованов! К телефону!» — кричала она ему через весь коридор, но он шел прямо, не поворачивая головы и гадая, переврала ли она фамилию или знает откуда-то, как его звать по-настоящему, настоящую его фамилию, и берет на испуг, чтоб он себя выдал. Может быть, надо было сказать: «Я не Голованов», — или хотя бы спросить: «Это вы мне?» — но он не сделал нужного вовремя, и она со своим профессиональным чутьем, конечно же, засекала, как он дернулся.

Он знал, как все в нем раздражает Татьяну Ивановну, особенно после того, как на заседании кафедры она заметила одну его слабинку. Тогда, в какой-то момент присутствующие, терпеливо переживающие чтение доклада, вдруг кроме голоса докладчика услышали непонятный хрип, какое-то мурлыканье, что ли. Все стали вертеть головами — что это? И в наступившей тишине сделалось слышно, что звуки эти идут из груди Годовалова, что так он дышит. Всем стало как-то неловко, но все старались не показать, что смущены. Одна только Протыкан не сумела скрыть своей к нему брезгливой неприязни. Но он еще и не знал всего, не знал, как настораживал Татьяну Ивановну даже его внешний облик. Мина вечной скорби проложила на лбу его горизонтальную впадину, над переносицей была морщина, и по сторонам рта секли лицо борозды неизбываемой заботы. Эти его складки казались Протыкан подозрительными, и она предполагала, что вид у него такой кислый, потому что он недоволен социалистическим строем. «Не любите вы меня, Татьяна Ивановна», — сказал он как-то в шутку. «Всех любить — любилек не хватит», — отвечала она злобно, и нечто хамское, глумливо-лагерное почудилось ему в ее ответе.

Куда было от них деться, от этих глаз! Всюду преследовал его подозрительный взгляд Татьяны Ивановны, и даже на линейке, которую взял он, чтобы чертить генеральный план городища, было нацарапано: «Украдено у Протыкан». Впрочем, такие надписи и в древности делали люди на своих вещах, на доньшке античного сосуда тоже можно прочесть: «Я — кувшин Минниды» или «Он украл меня у Гликариона»...

Страх шофера оказался заразительным. Сколько-то дней подряд Годовалов был в таком беспокойстве, что в пятницу, выйдя из института засветло, начал петлять, потому что ему мерещилось: кто-то идет за ним. Он так разнервничался, что уже не мог сдерживать себя, и в переулке вышел вдруг на мостовую, повернулся лицом к потоку людей, которые шли по тротуару к метро, и демонстративно стал всматриваться в физиономии, пытаясь выявить оперативника. Автомобиль яростно трубил ему, несмотря на запрет звуковых сигналов в городе, и от этого звука он точно очнулся, взял себя в руки, и ему сделалось стыдно за свое малодушие. Но вслед за тем, совершенно не отдавая себе отчета в том, что делает, сам не заметив как, он очутился на Петровке. Выгребая ногами по асфальту, он тащился вдоль длинной кирпичной стены, уже уверенный, что его сейчас догонят и возьмут прямо на улице. Напружинившись, пошел быстрее и рывком бросился в первую попавшуюся дверь, оказавшись в какой-то конторе, и бежал между столами, не слушая, что кричали ему, гонимый инстинктом и словно зная, что здесь где-то есть проход на соседнюю улицу. И дверь такая, служебный выход, действительно, была! И когда Годовалов оказался неожиданно на монастырском дворе, возле высокой церкви со шлемовидной главой и остановился, чтобы отдышаться, то тут в тишине и благости наконец спросил себя: «Что же со мной творится? Ведь так свихнуться можно!» И решил: хватит трястись, лучше тюрьма, чем психушка!

Они приехали в Ленинград ранним утром.

Алька всю дорогу счастливо проспала, Годовалов же не мог уснуть и сидел на нижней полке у нее в ногах. Страшно хотелось курить, и время от времени он выходил в тамбур и на сквозняке, пряча недокурок в рукав, — привычка эта военная не утратилась до сих пор, — смолит одну сигарету за другой, обдумывая предстоящую встречу.

Раза два он оказался в тамбуре одновременно с другим курильщиком. Человек, по возрасту и виду, должно быть, фронтовик, тоже маялся без сна и дымил вовсю. И вот с этим фронтовиком, случайным человеком, Годовалов разговорился. Сначала о том, каким куревом их снабжали на фронте... Махорка в пачках и газетная бумага для самокруток, а офицерам — филичевый табак или папиросы, «собачьи ножки»... Вспомнил, как сделал себе портсигар из котелка, из алюминия, он мягкий... А потом почему-то разоткровенничался, начал рассказывать, что до войны и представить себе не мог, как это стрелять в живых людей, и, призванный после первого курса в армию, не сразу избавился от этого предубеждения. Когда же у него на глазах во время обстрела погибло несколько его новых товарищей, молодых солдат, пришла эта злость, появилось вдруг внутри это право — убить фашиста. Собеседник его поездной закивал головою, но Годовалов вдруг заткнулся и не стал дальше распространяться, как не скоро он понял, что война — это не напрасные жертвы, не бессмысленные действия твоего дурака-начальника, а дорога к близким и любимым, которая идет только через вражеские позиции...

Алька любила Москву и нигде, кроме Москвы, не смогла бы жить. Ленинград она не любила. Студенткой на десять дней попав сюда несколько лет назад на экскурсию, с трудом дожидая тогда до отъезда домой. В те часы летней ночи с тревожащим свечением неба она не могла уснуть, изнывая без темноты, не в силах уменьшить это, ощущаемое даже сквозь

сомкнутые веки, давление на глаза круглосуточного света. И в этих удлинённых днях было для Альки что-то зловещее, их долгота напоминала о протяжённости будущих ночей. И теперь, в этот приезд, страдая от северной, затянувшейся до десяти утра, осенней темноты, она не могла отделаться от мысли о героине «Бедных людей» — как же та вышивала ковер при свечах? Когда она сбивчиво рассказывала Юрию Петровичу обо всем этом, он, удивившись, сказал: «А я очень люблю белые ночи, очень люблю этот свет».

Чтобы устроиться в гостиницу, надо было решать вопрос на уровне дирекции гостиницы, а то и горкома. Ссылавшаяся поначалу на отсутствие мест, женщина-администратор, помусолив годоваловское удостоверение участника войны (трусами Жанны оформленное в свое время) и даже не взглянув на командировочное, пообещала что-нибудь устроить к вечеру, но только в многоместном мужском номере. Во все время этого разговора Алька стояла в стороне, раскрасневшись от стыда и зная, что поселиться им в одну комнату нельзя.

Они пошли бродить по городу, по безлюдным ещё улицам, и Годовалов рассказывал ей о Ленинграде. Но на одном месте, словно забыв о красотах архитектуры, проговорился, что в дни блокады трупы сносили сюда, к Новой Голландии, а ночью на улице ходили тогда с жетонами-светляками на груди, чтобы не наталкиваться друг на друга в темноте. Возле одного дома на Садовой он вдруг остановился, жадно оглядел его и сказал: «Представляешь, в начале века в доходных домах была такая система вентиляции, что включался мотор — и всю пыль высасывало через решетку в полу».

Годовалов был в темном, изрядно поношенном пальто, на шее — ярко-красный шарф, которого раньше Алька у него не видела. На безмолвный ее вопрос он пояснил улыбаясь: «Пристрастие к красному — у людей, которые в детстве потеряли родных. Напяливают на себя яркое, чтобы не остаться незамеченными, забытыми...»

Пустые набережные были желты от октябрьского низкого солнца. В Летнем саду укрывали на зиму скульптуру, и

рабочие споро прятали знаменитые статуи в дощатые будки, высокие и смахивающие на деревенские уборные. Открылась булочная, и можно стало зайти погреться. Купили на завтрак себе хлеба, но еды здесь в магазинах оказалось еще меньше, чем в Москве.

Альку удалось поместить в гостиницу для актеров кукольных театров, где в коридоре паркет почернел от сырости, пахло гнилью, а в комнатах стояли старые продавленные диваны.

Каждый день с утра Годовалов был занят чем-то. «Дела!» — говорил он ей извиняющимся тоном, но не объяснял, что за дела, и Алька терпеливо, до вечера дожидалась, когда он придет, чтобы куда-нибудь отправиться.

В одном номере с ней жила актриса Курганского театра, бледноволосая травести, которая приехала в Ленинград лечить язву желудка, но лечение не помогло, и теперь она убивалась, что там, в Кургане, из-за ее отсутствия не идет детский каникулярный спектакль «Снежная королева», где она играет Кая. Есть она ничего не могла и качалась от слабости, жалуясь, что плохо быть старой, маленькой и одной растить ребенка, который, как поняла Алька, сейчас оставался под присмотром знакомых. К тому же бедняжка не знала, как ей вернуться назад, потому что на обратный билет у нее не хватало денег. Билась в истерике на постели, причитая, что теперь не выберется отсюда никогда. Алька подсчитала свои финансы, но когда предложила ей деньги, та отказалась, отмахиваясь не только руками, но и ногами. Как видно, не поверила, что можно так вот, бескорыстно, совать свои кровные без отдачи. А вдруг так заманивают в секту? Вечером она не вернулась, наверное, улетела все-таки.

Годовалов так хорошо знал Ленинград, так чувствовал этот город, так легко здесь ориентировался, что Алька только диву давалась. Когда он выводил ее из гостиницы во двор, место это представлялось ей довольно мрачным, но свернув в какую-то подворотню, пройдя под какой-то аркой, они вдруг оказывались на прямой, сияющей улице, и Алька заходилась восторженным смехом от такого мгновенного преображения всего вокруг.

В этот раз Годовалов ушел на весь вечер по срочному делу, куда, не сказал, расставшись с нею у книжного магазина. Она посмотрела книжки, ничего интересного не нашла и решила возвратиться в гостиницу, помня, что это совсем рядом. Было уже темно, сыро, как-то даже гриппозно. Вот знакомые, как будто, ворота, и львы-маскароны эти она раньше уже видела. Прошла несколько шагов. Кругом ни души. Вдоль тротуаров по обеим сторонам проулка стояли мусорные контейнеры, десятки переполненных железных ящиков. Пахло гарью, один из баков дымился, и этот запах действовал на Альку убийственно. Смерд гнал ее прочь, под низкими арками она переходила из одного двора в другой, в панике забыв, какого направления надо держаться. Под ногами чавкала жидкая грязь, не размокшая земля, а какая-то человеческая слизь. Задыхаясь от чада, от вони гниющих отходов, она попала неожиданно в глухой двор-колодец без выхода. Грязные фасады давно не отремонтированных зданий, наглухо забитые обшарпанные двери, разбитые ступени крылец черного хода. Те несколько окон, что горели на верхних этажах, излучали какой-то тревожный, чахоточный свет. Алька дрожала от холода и омерзения. Ужас потряс все ее тело, сердце громко стучало. Вот в таких местах и убивают!

Странный человек — худой, какой-то высохший, в грязных башмаках, в опорках каких-то, переступая через лужи, тащил на поводке тощего же пса, который время от времени кидался в сторону, к каким-то вываливающимся из баков отбросам. Когда Алька спросила этого человека, где такая-то улица, тот сказал ей ядовито, не ответив прямо и как-то с подозрением кривя лицо: «Если вам нужна улица, то надо ходить по улице», — и ткнул рукой куда-то в угол двора. И там, действительно, была щель между домами, и, действительно, оказалось возможным выбраться на улицу, под оранжевые огни! А потом легко нашлась и нужная арка, и подъезд гостиницы.

На место актрисы в номер поселили высокую, худую даму, у которой руки ходили ходуном, и по той жадности, с которой новая соседка накинулась на предложенное угощение,

Алька догадалась, что женщина эта давно не ела. Когда же предложила новой постоялице в подарок пачку чая — индийского, со слонем, — та растрогалась и рассказала, задыхаясь от волнения, свою историю:

— Я — пианистка, петербуржанка. У меня в комнате был пожар. Ужасные соседи, лимитчики. Когда-то вся квартира принадлежала нашей семье, а потом мама и тетя умерли, и мой бывший муж, подлец, провернул круговой обмен, сам из коммуналки переселился в отдельную квартиру, а я оказалась с чужими людьми, пьяницами. У нас в передней шкаф стоял, и там я хранила отрезы — на платье, на сарафан, люблю, знаете, пестрые ткани, — так они повытаскали все, одна перкаль осталась. А когда я в милицию заявила, они наговорили, что я припадочная. Жить совершенно не на что. Я пыталась устроиться в церковь, в хор, но батюшка сказал, что я больна — слышите, как я дышу? — и петь мне будет не по силам. У меня абсолютный слух, а воздуха не хватает. Вы видите, какая осень. Холод в комнате, и я обогревалась рефлектором. Он прекрасно работал, но из-за этих мерзавцев пришлось все-все внести в комнату, стало тесно, и случайно на обогреватель упала кофточка. Спираль открытая, и так все вспыхнуло. Много бумаги, ноты... Пыталась тушить, но дым... Открыла окно — еще сильнее разгорелось. Пожарные все залили, затоптали. Одно несчастье к другому: задолжала много, а отдавать нечем. Год уже как живу в долг, у одних беру, другим отдаю. Правда, когда в войну мы были в эвакуации, оставалось дома, в буфете, все старинное: статуэтки, фарфор, — никто не покусился, хотя в нашей квартире и жили чужие люди. А теперь в комиссионных магазинах стали брать старину, и я кормлюсь тем, что сдаю эти антикварные вещи. И сейчас вот мне надо продать — может быть, вы купите? — мраморную головку.

Она вытащила из-под кровати дерматиновую суму и растегнула молнию. У нее не было сил достать то, что там лежало, и, раздвигая зев старой сумки, она приговаривала:

— Это прелесть! Каррарский мрамор. Отдаю за бесценок — долг, долг душит. Я две тысячи уже должна...

Алька с любопытством разглядывала бюст из белейшего мрамора, казалось, живой свет исходил от каменной плоти. Головка девушки в тюрбане...

В это время в коридоре послышались энергичные шаги и в комнату вступила громадная женщина в чернобурке, а сопровождающая ее дежурная возвестила: «К вам!»

Погорелица, поднявшись со своей койки и молитвенно сложив ладони у горла, сквозь накат плача заговорила с пришедшей:

— Ты видишь, я в крайности последней. Умоляю, подожди еще немного или возьми то, что у меня есть.

Но дама, присев на пододвинутый Алькой стул, насупившись, грозно проговорила, не обращая внимания на Альку и даже действуя напоказ:

— Пора отдавать. Я больше ждать не могу. Подошла очередь на мебель. Ты меня режешь.

В это время в комнату вошел Годовалов, и Алька, устранившись от диалога женщин, шагнула ему навстречу, но, опережая ее, к нему с воплем кинулась бедная погорелица и, прижавшись лицом к его пиджаку, запричитала:

— Гарик, я знала, что ты меня найдешь. Жорж меня бросил. Спаси! Меня убьют, меня сожгут!

Глядя на безумную таким трезвым взглядом, словно всю жизнь знал эту женщину, Годовалов обнял ее костлявые плечи, торчками выпирающие под выцветшей шалью, и, глядя в распухшие от слез глаза несчастной, вдруг вполголоса спросил: «Что Женя?»

— Тетя Женя умерла. На Волковом кладбище похоронена.

Полночи потом Алька не спала, слушая исповедь о том, откуда бывшая пианистка знает Годовалова, о младшем его брате, чьей невестой была она до войны и который погиб в ополчении.

— Когда мы вернулись из эвакуации, соседка рассказывала, как их отправляли. Все худые, лица отечные, веки опухли, и каждый держит винтовку двумя руками от слабости, — с болью говорила погорелица. — Я все думаю, что если бы я не уехала, он остался бы жив, но надо было ехать: мама, бабушка, — надо было быть с ними. В блокаду почти все жильцы

в нашем доме сменились, много народу умерло. Говорят, особенно много стало умирать после Нового года, потому что ушла надежда, ведь думали, что не иначе как к Новому году снимут блокаду. Вышло так, что те семьи, где были дети, в большинстве своем погибли, потому что старшие старались отдать всю еду детям, и поэтому сначала умирали взрослые, а потом все равно умирали дети.

Закашлявшись, она стала объяснять, что это у нее хронический бронхит, а заработала она его еще тогда, после войны, когда училась в консерватории. И, отвлекаясь от своих воспоминаний, ласково сказала Альке:

— Я вам очень симпатизирую, но должна предупредить: Гарик все равно на вас не женится. У него тут дочь. Между прочим, почти вашего возраста.

Альку раздражало, что соседка по номеру рассуждает о ее жизни, и спросила:

— А почему вы Юрия Петровича называете Гарик?

— Это для вас он Юрий Петрович, а для нас — Гарька, Георгий, значит, — заявила погорелица и тут же прикусила язык.

На другой день они обедали втроем в столовой. Как видно, у нее была надежда на то, что Годовалов поможет, завтра же наладит ее дела, но надежда эта не оправдалась, что он мог сделать... Говорили они в присутствии Альки и о чем-то своем, о чем, она не понимала, а потом Годовалов сказал, что опять должен уйти. Она забралась в своем номере в постель, накрылась с головой и так пролежала до вечера. Перед отъездом разговаривали мало, он скупко рассказал ей про младшего брата: что как сын «врага народа» мобилизован тот был позднее сверстников, уже в блокаду, и быстро погиб.

«Сын "врага народа" — и взяли?» — вырвалось у Альки недоуменное. Годовалов с раздражением заметил на это, что голова у нее забита мещанскими представлениями: «Что же, всех на смерть, а нас берегли, что ли?» Пять с лишним часов предстояло им вместе пробыть в пути до Москвы, но это как будто и не радовало ее теперь.

Как она видела, в Ленинграде у него произошло нечто важное, что-то такое, что, по-видимому, отдалило его от нее, Альки, и ввело в какие-то новые чувства и проблемы. Минутами, сидя с закрытыми глазами, он улыбался. Ехать предстояло всю ночь, на этот раз билеты достались в обшій вагон. Оба не спали, и тогда, чтобы как-то развеять ее уныние, он достал из кармана и показал ей разваливающийся томик Лермонтова довоенного издания, который, как он сказал, был с ним на фронте, а потом все эти годы хранился в Ленинграде.

И она нашла там свое любимое «За все, за все тебя благодарю я». А он читал «Наедине с тобою, друг» и еще что-то — одно за другим, шепотом, потому что кругом были спящие, — почти не заглядывая в книгу, которая сама раскрывалась там, где напечатаны дорогие ему строки, подчеркнутые карандашом, его собственной рукою, еще тогда, очень давно.

И тут он все объяснил ей:

— Я нашел свою дочь. Правда, виделись совсем недолго. Очень хорошая девочка! Меня поразило, как она похожа на мою мать, на маму, какая она была в Ленинграде, до Сибири. Этот ее рот, эти ее глаза... Тоже темная, статная. Но суровая такая... Как трудно, как непросто было разговаривать! Серьезная. Такая... соколица... И, представляешь, она знала, кто ее отец, и Лермонтова, единственное, что ей от меня досталось в наследство, сразу показала и вот отдала. Чудная девочка!

И поправил себя:

— Замужем уже, и у нее даже есть дочка.

Он думал о том, как быстро, как незаметно проходит жизнь. Ничего не осталось у него от того, долагерного, прошлого: ни документов, ни писем, ни вещей. После его ареста изъяты были в доме тетки все его бумаги, забрали даже и те тетрадки военного времени, что он исчертил на занятиях в танковом училище.

Та крымская экспедиция, что свела их с Алькой, состоялась почти десять лет назад. А кажется, все началось вчера, ну позавчера... И подземный некрополь, и путешествие по коридорам глиняной преисподней, где огромные, чуть ли не двухтонные глыбы камня висели у него над головой, где касались лица его, спускаясь со сводов пещеры, похожие на седые волосы мочковатые корни растений... И склеп с росписью, эти танцующие женщины, когда на покрытой высолами стене увидел он белую девичью фигурку и понял вдруг все, что происходит с ним... В каждом изображении мерещилось ему тогда это лицо, любимый ее образ... И то, что началось тогда, не избывалось во времени, хотя и было отягощено особыми обстоятельствами, неверным его положением и виной перед Жанной...

Когда-то он сказал Альке, что не рассчитывал дожить до пятидесяти лет, а сейчас он далеко уже пережил этот срок...

Бывшие медсанбатовки встречались теперь редко, раз в пять, в десять лет, приезжая в Москву на девятое мая. Почти все они раздобрели, и те, у кого была семья, привозили показать фотографии своих внуков. Жанна только с ними, только с этими своими товарищами, была и открыта, и весела, и они вспоминали прошлое, но вспоминали не собственно войну, а лишь смешные эпизоды военных лет, свои страхи, свои оплошности, свою глупость. И хохотали вместе над этими рассказами. Как кто-то из них отказывался обмундироваться в брюки, как они обрезали штанины кальсон, чтобы подогнать на себя армейское белье, как мучились в сапогах,

которые были, как правило, страшно велики... Вспоминали первую проверку по форме двадцать, на завшивленность, перед тем как их остригли. Вспоминали празднование Нового года, когда получили из тыла подарки (мыло в мыльнице, варежки, печенье) в коробках и матерчатых торбах с надписями, а то и с вышивкой «Дорогому бойцу».

Теперь с каждой майскою встречей у Жанны фронтовых подруг становилось все меньше, и, год от года старея, они на этих своих встречах стали вспоминать и другое, тяжелое и страшное, что пришлось им пережить когда-то на войне. И только Жанна ничего о тех годах не рассказывала.

До того, как попасть на фронт, она была направлена на учебу в гарнизонный госпиталь. Работали бригадами: четыре врача, шесть сестер и они, санитарки. Операции проводились круглосуточно, несмотря на бомбежку. В госпиталь к ним поступали не только раненые бойцы, но и жители, пострадавшие при воздушных налетах. Среди ранбольных было много подростков пятнадцати-шестнадцати лет, таких истощенных и слабых, что санитаркам приходилось на руках нести их на перевязочные столы. Мальчики эти, очень подавленные тем, что с ними случилось, особенно нуждались в участии. Увидят белый халат и зовут: «Врачок, врачок, подойди ко мне!» И надо было как-то приласкать человека и успокоить.

В один из первых дней ее учебы пришел в больницу сержант, красивый, крепкий парень с ранением правого предплечья. Он был очень возбужден и, пока обрабатывали ему рану, повторял одни и те же слова, по большей части лозунги... Когда же через два дня он собирался уже уехать, прибыли два военных юриста, стали изучать записи в его истории болезни, а потом долго сержанта допрашивали. Оказалось, что это самострел. Говорили, что его будут судить и, наверное, расстреляют.

Уже тогда, в первый месяц медицинского своего поприща, Жанне пришлось пережить такое, чего она не могла забыть потом уже никогда, пережить еще до того, как попала на передовую... Ту бомбежку на станции, проклятые их самолеты, черные эти, обведенные белым кресты на крыльях...

На фронте учиться она продолжала в боевой обстановке. Сначала — санитарка в медсанроте, когда надо было оказывать первую помощь прямо на поле боя: на земле, в поле, в укрытии, в траншее. Как свалился солдат, так и лежит, а надо подойти, подползти, перевязать, укрыть... Потом сестра в медсанбате, когда операции делали во временных помещениях, а то и в брезентовой палатке и нельзя было уйти даже и при воздушных налетах. Всегда все срочно, работа сутками, и днем, и ночью, если был движок, то при электрическом освещении, а так — при масляной лампе. Первичную хирургическую обработку производил врач, а ей надо было делать перевязки с ихтиоловой мазью, присыпку ран стрептоцидом и тому подобное. Ничего сложного ей в то время еще не доверяли. Правда, она уже научилась тогда накладывать гипсовые повязки перед тем, как человека с огнестрельным переломом отправят в тыл, и надо обеспечить абсолютную неподвижность поврежденной конечности при перевозке.

Когда ее ранило, она сама попала в госпиталь почти на три месяца и там до полной своей поправки помогала ухаживать за другими ранеными. Работа эта ее была замечена, так что ее оставили в госпитале, где потом она сделалась хирургической сестрой. И тут уж на ней было все: и подготовка операционного поля («сухое» бритье, протирание окружности раны бензином и спиртом, обработка йодом), и новокаин, и стерильные салфетки, а во время операции постоянная смена инструмента по команде хирурга, когда он ведет иссечение ран, и много еще чего... А уж когда после войны она в челюстно-лицевое отделение попала — там почти ювелирная работа...

Жанна не любила, не могла смотреть фильмов о войне: люди там не так бегут, не так падают, не так реагируют на происходящее, как это бывает на самом деле, не так умирают. А уж как умирают, она в свое время нагляделась...

Книги Годовалов брал в районной библиотеке на карточку Жанны. Ленинка долгое время была для него недоступна, не мог туда записаться, не было справки с места работы. Годами не имея почти никакого общения, он позднее стал находить

себе собеседников в экспедициях и очень дорожил этими людьми, но виделся с ними исключительно редко.

Многое изменилось с тех пор, как он получил нормальный паспорт, и сделалось возможным официально устроиться на работу. Теперь он стал уже штатным преподавателем. Но у него не было диплома, время было упущено, доучиваться поздно. И прошлое мешало тоже.

В свое время, мотаясь по этапам и пересылкам, и в тюрьме, и в лагере он поневоле находился бок о бок с уголовниками. Это принудительное сожительство с блатными страшно изнуряло его, даже когда работа и не была так уж тяжела. Самым большим мучением там для него было — собственная мизантропия, страшная нелюбовь к человекам. Не задумываясь о заповеди Христовой, он переживал тогда эту свою озлобленность как состояние тяжелого греха и нечистоты. Отраду его существования и там, в заключении, и после освобождения составляли одни размышления. Одно только и спасало его и тогда, и до сих пор — русский язык, который был с ним, был в нем. Спасало то, что в самые трудные жизненные моменты он мог осмыслить и для самого себя словами определить происходящее. Внутренняя речь постоянно как будто звучала в его голове, восходя к идеям, которые всегда волновали русскую мысль, русскую литературу. При всей горечи и неразрешимости проблем это позволяло ему подолгу сохранять ровное настроение, которое единственно и дает возможность выжить в заключении. Как ненавидел он чужой, циничный язык блатарей, как сопротивлялся ему, но этот род речи сам собой все-таки внедрялся насильно в сознание. «Свободка» — называли свободу уголовники. — «Век свободки не видать». И этот язык, не знающий дружбы, товарищества, радости, обслуживающий вражду и усугубляющий разобщенность людей вместо того, чтобы объединять их, теперь совершенно неожиданно стал проникать во все сферы жизни. Нормальная речь изживалась, вырождалась, исчезал и сам ее строй, и правильные ударения в словах, и произношение. Лагеря, как оказалось, воздействовали и на культуру, и на образ мышления всего

общества. За годы после октябрьского переворота, считал Годовалов, когда уничтожили столько носителей языка коренной нации, распространением блатного жаргона были напроць низведены и сами понятия «любовь», «честь», «цель бытия».

Из своего собственного опыта он знал, как сильно влияние языковой среды на возрастание человека. Но Илья, с которым он заговорил об этом однажды, не придавал никакого значения тому, что так мучило Годовалова. С Ильей они виделись время от времени, и тот даже захаживал к нему домой. Чтобы стать понятным, Годовалов принялся пересказывать ему отрывок из Фукидида, из истории пелопоннесских войн, войны Афин и Спарты, эпизод ночного сражения.

Тогда случилось так, что пэан, боевая объединяющая песня, приказ криком к нападению, у обеих сторон, у афинян и их противника, звучал примерно одинаково из-за недостаточной четкости его мелодии, его тона. Афиняне — ионийцы, спартиаты — дорийцы, но на стороне афинян в качестве союзников воевали аргосцы, керкиряне и некоторые другие из дорийцев. Когда они, эти союзники, чтобы скоординировать движение войсковых групп, запевали пэан, боевой клич войска (а выпевали слова его, по-видимому, со своеобразным дорийским акцентом), это наводило ужас на самих афинян, словно пэан этот пели враги, вплотную к ним приблизившиеся. Грекам стало казаться, что вокруг всюду вражеские силы. Не в состоянии понять, кто свой, кто чужой, и из-за этого придя в смятение, части афинского войска в темноте вступали в столкновение между собою, и афиняне даже бросались врукопашную против своих союзников. Так важно само звучание языка!

В лагере Годовалов постоянно чувствовал себя окруженным недругами, чья даже и речь была для него невыносима. А и теперь на воле, людей, близких ему по лексикону, рядом с ним оставалось все меньше. При издевательской выразительности лагерной речи употребление ее сейчас почти всеми — и подростками, и женщинами, и молодыми девушками — по сути, вело к деморализации сознания людей, как-то

так поворачивая все мироощущение, что человек как будто ввергался в какую-то болезнь, когда смыслы подменены, а значения слов нераспознаваемо двойственны. И даже, может быть, думал Годовалов, из-за этого вообще снизились мыслительные способности нации в целом...

Зарплата на полставки была невелика, но в институте все перебивались с хлеба на квас. Народ как будто согласился на эту жизнь, на это равенство в нищете, когда дубленка или легковушка становятся предметом мечтаний, а то и целью существования. Человеку, чтобы сделаться счастливым, оказывается, совсем немного нужно, достаточно полкило говяжьей вырезки, например.

Оттепель, которая в свое время вселила столько надежд, давно кончилась. Больше того, по разным признакам видно было, что вот-вот могут вернуться прежние, сталинские порядки. Появились в газетах воспоминания и статьи, где Сталина все чаще называли выдающимся государственным деятелем, снова восхваляли его как продолжателя дела Ленина, как гениального полководца, спасшего страну и человечество от нацизма. Были забыты и страшные поражения первого года войны, списанные теперь на внезапность нападения, и бездарное «Ни шагу назад!» в сорок втором, когда Верховный Главнокомандующий отдал приказ о наступлении на всех фронтах, повелев гнать врага до самого Берлина, что было совершенно неосуществимо и снова привело к большим потерям. А победу в Сталинградской битве, положившую предел фашистскому наступлению, Сталин просто присвоил себе. И получилось так, что эту по-настоящему народную победу, этот перелом в войне стали приписывать именно Сталину, ему одному.

— Может быть, есть что-то, есть что-то такое в натуре советского человека, из-за чего в свое время так распространилось это поклонение вождю, ставшее почти всеобщим? — спрашивал себя Годовалов и сам себе отвечал, — да, есть нечто такое в самой нашей природе! Может быть, как раз потому, что нам не верить — страшно, нам не верить —

невозможно? Без объекта поклонения, без идеала мы слабы, умираем с тоски...

В разговорах с Ильей он пытался для самого себя уточнить понимание того, что происходит. Однажды, встретившись с ним по какому-то делу, Годовалов снова вернулся к больному вопросу:

— К сожалению, христианству не удалось до конца вывести большинства людей здесь из первичных инстинктов. Еще до революции стало очевидным, что народ в массе своей не имеет прочных нравственных устоев, той совести, что помогла бы разумению происходящего. Поэтому новая, большевистская мораль так быстро заменила тот, связанный с христианской этикой, свод жизненных правил. И произошел поворот к варварству, по сути, возвративший нас в то архаическое прошлое, где нет еще никаких писанных законов, где кто сильный, тот и прав, тот и больший, а все представления страшно упрощены.

— Ну, а те честные и праведные люди, которые должны были это все понимать, что с ними случилось? — спрашивал его скептик Илья.

— Одни были истреблены, другие умело обмануты и все равно обречены на погибель. Вот в них-то так странно, так неожиданно проявлялось порой это обожание Сталина, — говорил Годовалов.

— Почему же во всем этом, совершенно невозможном, людей удалось убедить, в достижимости того же коммунизма, например? Тоже ваше христианство поработало, люди захотели рая прямо тут, на земле, — наседали на собеседника Илья.

— В свое время обработка мозгов велась профессионально, и, в общем, подмену идей осуществить тогда удалось, — сказал Годовалов, прямо на его вопросы не отвечая. — Новая идеология сумела-таки превратить христианское понятие самопожертвования ради других в служение «общему делу», какому-то мировому пролетариату и некоему прогрессивному человечеству. Новыми праздниками в определенной мере смогли заместить традиционные обряды. Правда, Бога за-

менить на Ленина-Сталина, как ни превозносили вождей их приспешники, долго не удавалось. Но была создана целая мифология, в центре которой встал он, Сталин, отец нации. И то, что перед победой, в конце войны, как говорят, он отдал распоряжение привезти голову Гитлера, чтобы череп его держать у себя на столе, тоже в духе какого-нибудь дикарского вождя.

В Сталине виделся Годовалову не просто лидер, коммунистический руководитель, а, скорее, восточный властитель, по жестокости и размаху злодейств далеко превосходящий тиранов древности, сверхсильный и способный в действительности на то невероятное, чем, по Евангелию, Сатана искушал Иисуса Христа: овладеть всем миром. Сталин, по-видимому, знал, что Бог есть, духовное училище окончил. И себя считал, должно быть, если и не богом, то царем, воистину отцом народов. Его псевдоним не имел, по мнению Годовалова, никакого отношения к металлу, к стали. Это было нечто тайное по смыслу, нечто зашифрованное. Хозяин страны, вот кем он, по-видимому, чувствовал себя, а в планах — султан-хозяин всего мира, властелин Земли, равно-великий Богу-отцу.

— Но откуда же возникла эта преданность тирану и убийце? — не прекращал своих вопросов Илья.

— Во-первых, — продолжал Годовалов, — в масштабе страны возобладала та истерия, которая присуща была самому Сталину. И с помощью специально организованной системы это планомерно передавалось в массы. Сам стиль сталинских речей производил какой-то гипнотический эффект. Но особенно действенным тут оказалось радио, голосовыми, актерскими своими средствами транслируя бред непосредственно в сознание граждан, увлекая их жаром, темпераментом обличений и ненависти. Пропаганда запугивала народ угрозой некоего мистического зла. Тайные враги, злодейские организации, диверсанты, слухи об отравителях, о спрятанном от народа несметном золоте... Постоянно нагнетаемый страх, боязнь врагов и вместе с тем боязнь быть осужденным и наказанным своими же питали и развивали и в населении ту

манию преследования, которая одолевала главу государства. Многие заразились этой подозрительностью, верили любой газетной чуши, повторяли всякую ерунду. И сначала ненависть была направлена на «бывших», потом на буржуазное окружение Советского Союза, а затем обратилась на своих, в том числе на отдельные, отданные на заклятие народы, на евреев например...

— Во-вторых, — продолжал Годовалов свой монолог, — люди, особенно после того, как большинство церквей закрыли, лишились регулярного участия в таинствах, лишились каких бы то ни было сакральных моментов бытия, этой радости быть причастным к сверхъестественному, что совершенно необходимо человеку для самоощущения. Не случайно у нас установился ритуал на Пасху идти на могилы предков и там пить вино. То есть возлияние теперь совершают не на землю, как греки, а в себя...

Илья, не смея прервать собеседника, молча шагал с ним по вечерней улице, жмурясь от ледяного ветра.

— В-третьих, — сказал Годовалов, — отмена религии, отрицание Бога сделало людей абсолютно незащитными. Под воздействием ежедневно накачиваемого ощущения угрозы многие словно совершенно повредились в уме, а порою впадали даже в упоение страхом, в сладострастие ужаса. Заменяв страх Божий, в котором, по-видимому, у человека вообще есть потребность (в церкви возвещают во время службы: «Встанем со страхом!»), это, как видно, преобразилось в особенное, почему-то драгоценное для живого существа эмоциональное потрясение. Тут можно говорить о народной жажде мистики. И ужас этот, так уж выходило, становился единственным источником мистических переживаний, без которых существование вообще неполно и пресно. И таким образом сакральное здесь связалось прежде всего со страхом реальной смерти.

— Одним словом, сплошной мазохизм, — прервал его Илья.

— Но именно состояние, в котором смешивается страх за свою жизнь и восхищение силой того, кто владеет судьбами

подданных, — не останавливал своей речи Годовалов, — приводит к сплотке людей, объединяет каждого с миллионами таких же верных в почти религиозном поклонении самому-самому — главе государства, Учителю, Хозяину. Этот смертельный ужас словно бы соединял человека и с самим вождем, воплощающим ту надмирную силу, которой все боятся и которая восторгает своей иррациональностью. Тут и начинают не просто любить того, кто над людьми властвует, но и обожествляют его.

Может быть, и не стоило говорить обо всем этом Илье, но, порою сбиваясь в разговоре на какие-то житейские подробности собственной биографии, Годовалов пытался рассказать младшему своему товарищу о том, как жили они в то страшное время. Как в Сибири после ареста отца при конфискации имущества забрали то небольшое, что у них было, в том числе валяные сапожки матери, белые, с кожаными мысками бурки, единственную ее обувь... Или как соседка плевала на ручку двери их комнатки, демонстрируя непримиримую классовую ненависть к жене «врага народа»...

Однако Годовалов говорил и о том, что люди, совершенно обезволенные, готовы были полностью отказаться от своего «я» и даже жертвовать и собою, и своей жизнью ради него, Сталина, в то время как у женщин любовь к нему носила черты какого-то религиозного эротизма.

— Впрочем, это было не только здесь, — сказал Годовалов, — я читал, что германские женщины на митингах после выступления Гитлера в экстазе кричали ему: «Хочу от тебя ребенка!». А у нас какая-то девушка-инвалид, от рождения безрукая, вышила портрет Сталина, держа иголку пальцами ног, что ли... И одно время портрет этот висел в «Подарках Сталина», в здании бывшего Музея изящных искусств. Раньше там держали слепки с античных статуй, а потом все было заполнено вещами во славу Сталина. Его надо было ублажать дарами, как какого-нибудь языческого идола!

— И как языческий бог он требовал жертвоприношений, и тысячи людей реально были принесены ему в жертву, — добавил Годовалов с расстановкой. — Он и в гробу не успокоился!

И, говоря о людях, шедших на похороны Сталина и задавленных в толпе, что так при погребении какого-нибудь персидского владыки умерщвляли рабов, осекся, поймав себя на том, что и он бессознательно приписывает Сталину именно царское достоинство.

— И это ведь не Ходынка, — продолжал он, — где раздавали гостинцы по случаю коронации... Народ шел проститься, приложиться ко гробу...

Жанна тогда тоже ходила на похороны и чуть не погибла...

В то же время Годовалов понимал, правда, некому было об этом сказать, что нельзя здесь все сваливать на Сталина или на общее, специально наведенное в массах помрачение рассудка.

— Что-то такое произошло и с самими людьми, со множеством людей сразу. Отмирал инстинкт родового самосохранения у целой нации, — волнуясь, внушал он Илье. — Почему-то много оказалось таких, которые хотели убивать! Хотели просто убивать, хотя причины называли идейные... Хотели смерти другим людям, соотечественникам! Хотели морить голодом, гноить взаперти не только своих непосредственных врагов, но и тех, кого никогда в жизни и в глаза не видели! Случился какой-то сбой в самом естестве народа! Варварство, которое таится в человеке и сдерживалось раньше религией и культурой, возобладало! И технические успехи не спасают! Разнузданась пещерных времен агрессия, и массы стремятся вспять, к животному состоянию...

Когда они с Жанной жили в коммуналке, пришлось слышать от соседа-энкавэдэшника, что из «своих» расстреливали не всех, некоторых просто затапывали, прямо в служебных помещениях тюрьмы ногами затапывали осужденных до смерти!

Приемник неистовствовал, но, сколько ни крутил ручку настройки, Годовалов не мог найти передачу на русском языке, хотя по всем каналам, по всем радиостанциям коротких волн, всю ночь кричали, казалось, одно только слово

«Афганистан!» Но и одного этого слова было достаточно...

Годовалов ехал утром на работу и, оглядывая публику, озирался по сторонам в троллейбусе, потом в метро. Понимает ли кто, что случилось, что начинается? А начинается открытая война двух больших цивилизаций, Востока и Советского Союза, хорошо, если лет на десять, а то и дольше... Но все лица кругом, все лица его соотечественников, отягощенных своими заботами, были либо непроницаемо равнодушны, либо отмечены самодовольством, а то и злобой. Да не на улице же искать единомышленников, чтобы высказаться, а может и писать наверх, что увязнем мы в этой войне, что придется не одну тысячу ребят положить, и ради чего? Ранний, в восемнадцать лет, набор в армию уже подтачивает нацию. Прежде забирали в солдаты в девятнадцать, а сейчас человек до призыва не успевает ни профессию получить, ни жениться, ни зачать ребенка... А древние все это понимали, вот Александр Македонский воинов периодически отправлял из дальних завоевательных походов на родину, чтобы греческая часть населения не убывала. И даже Гитлер...

В институте тоже было совершенно тихо, событие, которое так переживал Годовалов, никого не всколыхнуло. Он не выдержал и сказал в деканате: «Наши ввели войска в Афганистан!» Все молчали, но, как видно, уже знали из «последних известий». «Кажется, там нефть», — проговорил кто-то неуверенно, и лишь Протыкан как наиболее политически выдержанный товарищ сказала: «И правильно! Иначе там уже были бы американцы!» Никто, как видно, и не задумывался, каковы настоящие цели этой войны... Детали переговоров между Лакедемоном и Афинами, речи на Совете четырехсот, где обсуждался вопрос о войне со Спартой, казалось, были более известны и доступны сейчас, чем мотивы решений Политбюро по вопросам текущей политики!

Годовалов, который всю жизнь после лагеря промолчал, теперь почему-то молчать не мог, но был, как всегда, совершенно одинок со своими прозрениями, со своей правдой. Как нужна ему была сейчас поддержка другого человека, пусть не словами даже, а просто понимающим взглядом! Даже в лаге-

ре такой человек был, священник, у которого была покалеченная рука, и который сомневался, может ли теперь из-за своего увечья служить в храме. «Вы не в Промысле Божьем», — сказал он Годовалову однажды. И теперь, вдруг вспомнив те слова беспалого священника, Годовалов понял, как это — быть оставленным Богом. Потому что и он сам, и вся страна с этими сотнями сотен затравленных душ, и его мальчишкостуденты, с которыми только-только установилась у него дружба и которые в первых рядах пойдут на войну, ведь не дадут доучиться, больше не были в Промысле Божьем. И сказать об этом было некому, хоть убейся! И Жанне, состоящей теперь на партучете в ЖЭКе, тоже не имело смысла что-либо такое объяснять...

И тогда он позвонил по телефону Илье: «Надо встретиться!» Никогда раньше не обращался к нему первым, а тут так прижало, так прищемила ему сердце новость, что Илья уже по тону его что-то понял.

Он ждал Илью, как условились, у входа в Новодевичий монастырь. Столб дыма от Дорхимзавода на высоте размазывался чернотой по небу, простирая над всей округой клубящиеся грязные облака. Годовалов, как потом оказалось, выдернул Илью из какого-то дела, срочной какой-то сдельной чертежной работы, которой тот в последнее время кормился. Про Афганистан он, конечно, уже знал, уже жужжало в уши радио про интернациональный долг, и хотя по возрасту Илья больше призыву не подлежал, но тоже испытывал беспокойство.

Они вошли в монастырские ворота, хотя было уже около пяти, и музей, в который превратили теперь монастырь, вот-вот должен был закрыться. Илья с возмущением откликнулся на первые же слова Годовалова о войне:

— А чего еще можно было ожидать? Да, вроде, Афганистан далеко, все это нас мало касается... Но война нужна, на нее будут списаны все трудности, все нехватки, а на периферии уже совсем жрать нечего. Война — вот единственное, что даст национальное единение! Так эти маразматики, старые пердуны решили. Сами-то уверены, что их деток-внуков это

не коснется, их в армию не возьмут, на дачах своих отсилятся. Да ведь мы и не знаем, кто на самом деле нами правит!

И Годовалов, по разумению которого захват и присоединение к соцлагерю все новых и новых стран было продолжением той же сталинской стратегии, подивился зрелости своего молодого друга.

— Страшная ошибка! — сказал Годовалов. — Это начало джихада. Но что же делать?

— А что вы можете поделаться? — пытался отрезвить его Илья.

Действительно, спартанцы решали вопросы голосованием, буквально выражаясь, — криком, афиняне — бросая черные и белые камешки в урну. Здесь же дела огромной страны были в руках кучки никому не видимых, практически неизвестных типов, которые как личности, по всей вероятности, ничего собою и не представляют, но ворочают миллионами жизней на земле. И нет даже формы, нет способа заявить, что ты против этой войны...

Крепостная зубчатая стена, подсвеченная прожекторами, равнодушно высилась, закрыв горизонт и глядя щелями бойниц на старое монастырское кладбище. В одной из церквей мерцал свет в окнах, тогда как остальные постройки были темны и в зимних сумерках казались меньше объемом, точно присели на корточки за сугробы чистого снега, который от дороги сгребли к их фасадам. Колокольня стояла в лесах и выглядела обветшавшей деревянной пагодой... От мороза стыли ноги...

Распрошавшись с Ильей, Годовалов не пошел сразу в метро, а шагал по безлюдным улицам Девичьего поля, в сердечной надсаде размышляя и порою даже вслух произнося слова мучительного монолога. Здесь, в этой стране, нельзя было жить, нельзя было любить женщину, нельзя было иметь детей, потому что каждую минуту твоя судьба, судьба твоих близких находится во власти чужой садистской воли... И человек просто не имеет права бросить в этот мир своего беззащитного ребенка!

Алька впала в какой-то психоз — не только нечувствительности, но и жесточения. Порой, когда она ехала на автобусе по вечернему городу, проезжая разделенные глухими пустырями новые микрорайоны, или когда шагала по своей улице-новостройке, где девятиэтажки со множеством светящихся окон вставали кругом, ей вдруг становилось страшно. Она представляла себе, как в каждой комнате всех этих корпусов сидит по человеку, а то и целая семья, и как женщины стоят у кухонных плит, — тысячи усталых людей с одинаковой едой и одинаковой усталостью...

Она видела, что жизнь, жизнь, которую она торопит, ничего не проживая в промежутках между встречами с Юрием, то есть живя одним ожиданием свидеться с ним, жизнь эта отщелкала уже столько лет, в которые она ничего не совершила, ничего не сделала для себя самой, ничего не реализовала из планов молодости... Только гнала время, только вечно ждала, чтобы скорее кончилась бы неделя и снова увидеться! Она читала книги лишь для того, казалось, чтобы ему пересказать, шила себе платье, чтобы ему понравиться, стояла в очереди за «Письмами Ван-Гога» или импортной мужской рубашкой, чтобы ему сделать подарок. И даже дышала в полную грудь, казалось, только тогда, когда в обнимку слонялись они по безлюдным переулкам в центре.

И вдруг внутри у нее что-то обрушилось. То раздражение, которое Алька стала с некоторых пор испытывать, относилось и к людям незнакомым. Однажды в метро, когда она выкатилась из переполненного вагона, какой-то старик, на которого она с гримасой неуважения налегла плечом, одернул ее: «Как можно! Вы намеренно толкаетесь!» И она вдруг поняла, что остервенение, в котором не виноват никто, а тем более не виноваты эти люди, проедает все ее существо, что это не временный накат злости, а болезнь, и надо лечиться душевно.

Теперь она, можно сказать, боялась себя. Злоба и ядовитость, прорывая грубыми сарказмами ее уныние, отравляли

и ее самое. Она пыталась насильно останавливать в себе внутренние гневные монологи, обращаемые не только к Стасу, но и к Юрию Петровичу, и к матери, долгие годы церберски стремившейся сберечь, снова склеить перспективный, как думалось ей, Алькин брак с Осповым.

Альке казалось, что и до сих пор, не прощая ей того, что произошло, за ней следит не только ее оставленный муж, но и все его окружение, хотя теперь она уже была не вхожа в прежнюю археологическую компанию. Женщины на работе в архитектурном бюро, где она уже несколько лет клепала паспорта на вновь выявленные здания старой застройки, были взрослыми, детскими, чужими ей. А новых друзей за эти годы не появилось. Все сосредоточилось для нее на одном человеке, только на нем. Она так завралась и перед родителями, и на службе, откуда ухитрилась в рабочее время бегать на свидания, так запуталась, что распутывать этот узел взаимоотношений было уже поздно. Пришло время рубить сплеча.

Чувство обиды захлестывало ее, и ей захотелось не просто отъединиться, спрятаться от всех, но и отомстить, демонстративно погибнув. Ей стали лезть в голову высказывания Годовалова, которыми в свое время он забил ей мозги, отмечая особую решительность расставания с жизнью у героев античности. Эта Клеопатра со своими змеями, и несчастная Юлия Домна, породившая сыновей, один из которых убил собственного брата... И обесчещенная Лукреция, из-за которой повернулась история Рима... Особенно же запомнилось Альке, что обычным для римлян способом самоубийства было — упасть на меч, пронзить себя кинжалом, технология этого была хорошо отработана.

Она тащилась по Рогожской и думала: «Хоть бы меня задавило!» Броситься под колеса на мостовую не хватало у нее духу. Понятие о благопристойности не оставляло ее и сейчас, и Алька мучилась вопросом, как выглядит человек, если автомобиль его переедет. Представляла себе, как неприлично это будет, когда машина потащит ее в пальто по асфальту, и подол задерется на голову...

Оказавшись на площади и слоняясь у трамвайных путей, Алька услышала вдруг размеренные звуки поезда. Станция рядом! Бросилась в ту сторону и бугристыми проулками вышла к насыпи. Ветер, который, когда она шла по улицам, продувал ее до подмышек, здесь был гораздо тише. Она простояла, раздумывая, часто ли ходят по этой ветке поезда, и хватит ли запала дожждаться следующего. Необходимо было сделать это сейчас! Перебирая в памяти фразы последнего телефонного разговора с Годоваловым, когда он упрасивал подождать еще, дожждаться, когда все успокоится, и тогда решать их будущее, вспомнила его просительную немужественную интонацию и с обидой проговорила про себя: «Что же может успокоиться, если он, уверяя, что мы должны быть вместе, совсем не собирается оставить жену?». В то же время Алька не в силах была одна справиться с тем, что предстояло, и с ужасом думала о судьбе своего ребенка.

Когда она сказала: «Мама, я беременна», — и просила совета, как быть с жильем: разменивать срочно их со Стасом квартиру или снимать комнату, — то, надеясь, что мать просто предложит ей остаться в отчем доме, дождалась только нотации. Мол, ты не спрашивала моего мнения, когда уходила от Стаса, почему же родители должны запрягаться и расхлебывать последствия твоей сомнительной связи? «Что он может тебе дать?» — с гневом спрашивала мать о Годовалове. И ведь Алька ей на это не сказала в ответ, что ничего и не хочет брать. Она мысленно увидела раздраженное лицо матери, представила себе, как будет снова зависеть от нее, вспомнила попреки, на которые та была мастерица, и решила никого ни о чем не просить больше. С отцом, который, она знала, любит ее, она не могла говорить о своей измене, о любви к женатому мужчине, о внебрачном ребенке. Его, безгрешного, преданного семье человека, это убило бы.

Она вскарабкалась на полметра вверх по рыхлому снегу насыпи, нетронутому, чистому, но посурмленному кое-где на вершинах сугробов черной копотью. Отсюда рельсы еще не были видны. Так простояла она довольно долго. Слезы время от времени выкатывались из-под ресниц и на холо-

ду мгновенно соскальзывали вниз по леденеющим скулам. Обострившимся зрением она видела далеко и подробно все вокруг себя. Видела трубу завода, истошно тянущую в небеса свою кирпичную выю, и выходящий на зады промзоны зияющий дырами забор, и черный мост вдаль, по которому ехали грузовые машины, причем каждая посередине моста двигалась с резким грохотом, очевидно, задевая крышку люка на асфальте. Видела обломанные пристанционные кусты и сиротливые деревья с отпиленными несимметрично ветками, и совсем у своих ног — сухие сорняки, жилистые и шелудивые, и почти все клонящиеся дугой в одну сторону, по ветру... Полюнь с неряшливой бахромой скукожившихся листьев, бурые, кожистые головки тысячелистника, соломины овсяных остей с раскрытыми клювиками неопавших зерен... И только несколько зонтичных с прочными стеблями торчали вертикально, а поверх их засохших соцветий лежали крошечные горочки снега, раскачиваясь на растопыренных былинках, но не слетая. Она учуяла вдруг нюхом особую свежесть воздуха, и ей показалось, будто природа бессловесно сочувствует ее мучению.

— Фух-фу! — заорал электровоз, но она не осознавала, что машинист как раз ее и предупреждает этим сигналом. И забухали грязные дощатые вагоны, только просветы между ними мелькали — долго-долго, и запахло так горько, что заболело горло.

Ветер обжег ей кожу, нечувствие внезапно кончилось, и маска скорби, стягивающая лицо и сделавшая неподвижными губы, словно бы разорвалась по линиям мимических движений. Длинный шарф ее размотался, а в ботинки попал снег. И вслед поезду, который пронесся мимо и уже тормозил у платформы «Серп и молот», она односторонне заплакала. О себе и об утраченной простоте и беззаботности прежней своей жизни, о глуповатой ее праведности... Глаза ее исторгли целый поток горячей влаги, которая как будто оживила и согрела ее всю...

И в наступившей потом тишине, среди мерзлого сухостоя, Алька вдруг поняла, что, вместе с нею переждав вихрь,

поднятый движением состава, бедная беззаконная поросль, кольшась и пришепетывая что-то, словно разделяет с ней человеческие ее горести. Так и в этом мире, так и в судьбе близких людей: несчастной своей матери и Годовалова, запутавшегося в искуплении одной и другой вины, — она, она сама есть тоже стебель и тоже ствол, на котором многое держится...

Ребенок должен был родиться в августе. Альке полагалось есть витамины, гулять и дышать свежим воздухом.

Однажды вечером, возвращаясь с работы, возле своего дома, в заснеженном садике она увидела Илью, как видно давно ее поджидавшего, какого-то нервного и без конца шмыгающего носом.

— Надо поговорить, — серьезно сказал он поздоровавшись, и пошел за ней в подъезд. Поднялись вверх по лестнице, и на площадке перед ее квартирой остановились. Илья стал ей рассказывать о своих делах, о том, что он собирается ехать на постоянное место жительства в Израиль, уже подал заявление.

Алькина мать, на их голоса высунувшаяся из двери, довольно неприветливо спросила, почему они не идут в дом, но Илья отказался войти, а когда мать скрылась, вдруг сдавленным басом пробормотал:

— Выходи за меня замуж, и едем вместе! Тебе же здесь тоже ничего не светит! А из Израйля можно перебраться в Америку.

Алька только испуганно хлопала ресницами.

Теперь встречались они с Юрием Петровичем нечасто. Теткина квартира стала недоступна, да и Алка не могла отлучаться с работы надолго. С тех пор, как четыре года назад Годовалова уволили из пединститута (после того его послания в Верховный Совет), он где-то подрабатывал. В институте в свое время прошло все тихо, даже собрания с обсуждением его поступка не устраивали, но витало между сотрудниками: «Бред реформаторства. Фронтовик, контуженный...». Сверху дали понять, что раз он решений партии

насчет Афганистана не поддерживает, надо его от работы со студентами отстранить. Еще легко отделался...

В майские праздники народ ринулся на дачу, на свои садовые участки. Первого мая они тоже решили поехать за город. С трудом втиснувшись в электричку, стояли в тамбуре. Миновали Люберцы, но никто не вышел на остановке, а даже еще кто-то вломился в двери с сидором на голове.

Годовалов попытался встать поудобнее и отвоевать для Альки, стоящей впереди него, хоть какое-то пространство, но не смог и пошевелиться. Все стояли вплотную, не двигаясь и даже, показалось ему, как-то нарочно раскорячившись. Поезд мчался, стучали буфера. В вагоне вдруг страшно потемнело, но света не зажгли. «Гроза, что ли?» — произнес он про себя и огляделся. Кругом были угрюмые, грубые физиономии, какие-то чернолицые, с мясистыми плечами мужики, толстые негры какие-то. Обострившимся нюхом он улавливал запахи пива и чеснока, и его воротило от всего этого. И тут в тесноте ему вдруг сделалось худо, он как будто оказался в другом времени. Сжался, чтобы не чувствовать прикосновения потных рубах, и сердце зашлось заботой: куда везут? Потому что он забыл, куда они едут сейчас (забыл, что едут смотреть церковь в Раздорах). Его бил озноб, и казалось, что холодно, что едут они зимой. За окнами в темноте мелькали белые деревья. Везут не в стольпинском — в стольпине хорошо, в стольпине не замерзнешь, — а в скотском вагоне без нар. Куда везут, неизвестно! По своему опыту он как будто знает: везут на север, на шахту, как тогда... Когда в лагере произошли беспорядки, «шум» из-за зачетов, то есть за право на сокращение срока, стали расформировывать бараки, решив перебросить несколько тысяч на Воркуту и выводя самых активных, самых языкастых в другие лагеря. И тогда, при спешной той транспортировке народу в вагон загнали столько, что ехать можно было только стоя, и они стояли всю дорогу, по много часов подряд без вывода на opravку. А когда на узловой станции состав остановился, и отодвинули засовы: «Выходи!» — один из них, как оказалось, был уже мертвым, умер по дороге, так и ехал, так и стоял, сжатый телами сотоварищей...

И чувствуя, что вот так и он сейчас умрет, задохнется, если ему не дадут распрямить плечи, Годовалов, застонав, рванулся, чтобы пробиться к дверям. Впереди него, к нему спиной, стояла смуглая девушка, и он решительно, но осторожно, взял ее за плечи, чтобы отодвинуть, но внезапно с ужасом увидел, что это Алька — белые губы и совершенно седая, космы бесцветных волос лежат по плечам... Значит, и ее везут туда же... Она повернула голову вполборота на его стон, на его движение и среди множества рук, рюкзаков и кошелок отыскала наощупь его ладонь и сжала ему пальцы, подаваясь назад и припав к нему всем своим телом, — и спиной, и ягодицами, и затылком, — все затаенное тепло родства передавая из себя в него. И тогда он вернулся из этого свирепого холода в свое действительное время.

Белесые деревья за стеклом налились корявой чернотой и первой зеленью, вокруг него в поезде стояли обычные люди с усталыми лицами, и то черное солнце, которое только что паялилось угрожающе в вагонные окна, вдруг засияло золотую своей желтизной. И он, вновь обретая нормальное зрение и поняв, что припадок прошел, облегченно уткнулся в рыжеватые завитки Алькиных волос, пахнущих ромашкой и железнодорожной сажей.

Вообще же по выходным Алька томилась в одиночестве. Годовалову даже и в воскресенье надо было выходить на работу. Алькины подруги все уже вышли замуж и занимались своим бытом, своими мужьями и детьми. В один из воскресных дней она отправилась на Волхонку, в музей. Ходила по греческому залу. Посетителей здесь не было, и она полчаса одна слонялась среди знаменитых статуй. Угол античного храма в натуральную величину... Белый бык с белыми же рогами... И вдруг прямо замерла, словно впервые увидев вакханку. Запрокинутая назад голова, экстатический выгиб торса, открытый в призывном стенании рот ... Невозможно было отвести глаз, хотя мрамор изъязвлен временем, у женщины нет ни рук, ни ног, а может быть, их никогда и не было... Телесная

страсть, страсть такого накала, что детали излишни... Дикий, лишаящий рассудка инстинкт, когда нет никаких запретов, никаких приличий, ни долга, ни семейных уз... Только биение плоти, пляска, ввинчивающая неистовое тело в пространство, где и сам воздух — плотен, осязаем, он ласкает грудь, обжимает бедра... Но словно какое-то отчаяние остановило навсегда эту женщину в судороге желаний... И Алька подумала о том, как страшна и трагична плотская страсть, крайняя степень человеческого себялюбия... Великолепие и ужас...

Хотелось пить. Она вошла в столовую самообслуживания напротив музея, и в довольно пустынном зале нашла себе недалеко от входа столик почище. Винегрет, и пончики, и кофе с молоком — эта стандартная еда, которую можно купить в любом городе страны и которая везде одного вкуса и одинаковой стоимости... Надо было успокоиться. В полумраке, автоматически жуя это почти резиновое жареное тесто, Алька вдруг заметила, как в глубине зала, пока еще далеко от нее, появился высокий человек в белом фартуке и стал собирать со столов грязные тарелки, стопками ставя их в стандартную тележку. Алька взглянула на него искоса, пристальной, увидела, кто это, и выбежала из столовки. Она не призналась Годовалову, что знает, где он теперь работает. Сам же он никогда не говорил с ней об этом.

Врачиха в женской консультации чего-то опасалась, и в роддом Альку взяли загодя. Дали направление, и она оказалась в «патологии». Публика была разная. Алька ни с кем почти не разговаривала, день и ночь спала. В то же время другие беременные, принятые сюда «на сохранение», без конца болтали и ели, а по вечерам через окно разговаривали со своими мужьями, выкрикивая тем всякие бытовые приказания и на веревке втаскивая наверх, в палату, авоськи со сладостями, которые вообще-то им были категорически противопоказаны.

«Роди жирненького!» — кричал снизу один мужик своей жене, распухшей от токсикоза. «Не ходи разутая!» —ставляла громко другую женщину ее свекровь, специально

приехавшая из деревни, чтобы помогать после рождения внучонка. К Альке же никто не выбрался, и она наблюдала копошение под окнами чужой родни, даже не представляя себе, чтобы Юрий Петрович вдруг мог оказаться здесь, среди этих людей, так озабоченных продолжением своего рода. Однако через несколько дней она получила от него записку, хотя те цветы, что принес Годовалов, к ней и не попали, — цветы тут, в «патологии», были запрещены.

Понятно, что беседы в палате велись в основном на физиологические темы, и Алька поневоле наслушалась обо всяких ужасах при родах. Между тем пришло и довольно скоро и ее время. Ночью, когда уже здорово прихватило, Альку на каталке отвезли в родильное отделение, где в ярко освещенном зале на столах лежали роженицы. Слыша крики этих женщин, она здорово испугалась, и по мере учащения схваток и нарастания боли сама уже не могла терпеть и тоже начала стонать. Соседки ее по родильной палате благополучно разрешались от бремени, а она все мучилась, роды оказались затяжные. Наступило утро, и доктора сменились. Новый врач, грузный, с волосатыми руками армянин, стоя над ней, над столом, начал командовать, что ей делать. Для того, по-видимому, чтобы ей помочь, он неожиданно и как бы отождествляясь с нею самой, вдруг заорал: «Х-а-ч-ю родить!» И она сделала то необходимое последнее усилие...

Первый крик ее ребенка, звоночек, мелодичный, кроткий его плач, навсегда запечатлелся у нее в памяти. И потом она издали различала его зов среди множества младенческих голосов, когда на тележке развозили детей по палатам на кормление.

Она знала, что из роддома вернется к родителям, что мать ее, конечно же, не выгонит, но мысли о том, что же будет дальше, изматывали ее, несмотря на то, что сразу после родов пришло к ней чувство огромного облегчения. Но с первого же дня все у нее было не как у всех, не как у окружавших ее мамочек. После этой тяжелой своей ночи, в палате, куда ее привезли из родилки, рано утром она была разбужена медсестрой, которая срочно, прямо здесь, взяла у нее кровь

на анализ. Вбежала дежурная врач, зажгла свет и, задрав Альке рубашку, поспешно осмотрела грудь.

Всем женщинам в палате, кроме Альки, привезли детей — аккуратные белые свертки — голубоглазых, смуглых («послеродовая желтуха», — объяснила их смуглость сестра). Отличались они, с первого взгляда, только цветом волос, но их матери узнавали в этих рожицах родственные черты, громко умиляясь и во время кормления прекращая наконец свою болтовню. К Альке же пришел тот самый врач-армянин, что принимал у нее роды. Ровным голосом стал говорить о том, что волноваться не надо, но сегодня ребенка ей кормить пока не принесут, и еще — о подозрении на то, что у него какая-то врожденная болезнь, возможно, кормить молоком нельзя, да и самой ей надо пройти специальное обследование. Когда врач ушел, Алька забралась под одеяло и так, окаменевшая, долгие часы пролежала лицом к стене. Она понимала, что наказана, но за что же наказание маленькому?

Между тем вокруг Альки кипела жизнь, и новоявленные родительницы громко, вперебой обсуждали, что нужно есть-пить, чтобы не пропало молоко. Превращаясь, в полном смысле этого слова, в какие-то установки грудного доения, они поглощали в невероятных количествах и чай со сгущенкой, и грецкие орехи, и множество снеди, которую на законном основании им можно было теперь есть.

Весь день, вскидываясь только тогда, когда соседкам приносили ребят на кормление, Алька промолчала-проплакала. У нее поднялась температура, но сестры не обращали на это внимания: «Молоко пришло!» Действительно, время от времени она испытывала прилив тепла к груди, и это ощущение было очень приятным, но душа ее болела нестерпимо, ведь она осталась в полном одиночестве перед несчастьем.

Начались сумерки, тягостные, долгие... Чужой галдеж и чужая радость не трогали ее, а тоска не отпускала. Она понимала, что нужно молиться, и легче станет, и хотела этого, но не знала ни одного слова, с каким можно было бы обратиться к Господу Богу. Бабушка, отцова мать, к которой

в свое время школьницей Алька ездила на лето, молитвы знала, но Алькина мама тогда категорически запрещала всей этой ерундой забивать девчонке голову.

В больнице рано ложились спать, тушили свет и быстро засыпали. Алька же не могла уснуть, не могла побороть в себе чувство безнадежного, страшного горя. У нее из глаз, действительно, бежали, попадая в уши и заливая подушку, какие-то горькие, а не соленые слезы. И вот, лежа так с закрытыми глазами, она вдруг нашла то слово, которое как будто отворило для нее совершенно новую жизнь, и слово это было из детства, из шепота бабушки, к которому когда-то перед сном прислушивалась Алька. «Радуйся!» — твердо и вслух сказала она самой себе, и подумала отчетливо, что свершилось главное событие ее жизни. И, впервые осознав по-настоящему, что она теперь мать, Алька безотчетно поняла и другое: какое-то, потрясшее ее соотношение своих переживаний с тем, что переживала некогда та, другая, вечная мать, тревогу за жизнь своего сына. И Алька стала говорить и своими словами просить, повторяя святое имя и взывая к Богородице, к Деве Марии, потому что, как казалось, только она одна и могла защитить ее ребенка.

Когда на следующее утро привезли кормить младенцев и, ничего не объясняя, положили Альке на грудь сыночка, она сначала обомлела, а потом прижала его к себе в почти животном восторге. Поняла, что прощена, и знала внутренним прозрением, кого благодарить. «Нельзя ныть, надо силы собирать», — думала она, жадно рассматривая мальчика. С непокрытой головенкой, светловолосый, он сразу поразил ее гладкостью лба и тем, как аккуратно были вырезаны дырочки ноздрей, как тонко выведены брови, словно бы нанесенные кисточкой, поразил и какой-то серьезностью в облике, сосредоточенностью, с которой схватил и потом крепко держал ртом сосок материнской груди. Вглядываясь в его лицо, — невесомое тельце, ручки и ножки были не видны, туго запеленутые в белое — она пыталась понять, что же такое в нем происходит, что так озаботило медиков. Но о болезни малыша с ней больше не говорил здесь никто, и

потом, при выписке в справке для детской поликлиники по месту жительства не было указано ничего такого.

Неделя пролетела, малыш набирал вес, но когда на восьмой день всю палату, всех женщин выписали, Альке пришлось остаться, потому что у нее был низкий гемоглобин и температура все еще держалась. Пичкали лекарствами, а детский врач досадовала на то, что Алька застряла тут, в больнице: «Парня купать пора!» Теперь ее ребенок отличался от других младенцев, родившихся неделей позже него. Желтушка у него прошла, и он больше не казался загорелым, смуглым, и Алька спрашивала няnek, работающих с новорожденными: «Как там мой беленький?».

Сидя в палате одна, среди голых кроватей со скатанными матрацами, она опять и опять задавалась вопросом, как ей жить дальше. И тут в палату, которую из-за Альки все еще не могли промыть с хлоркой и прожарить кварцевыми лампами перед вселением новой партии рожениц, неожиданно пришла Жанна. Вообще-то в родильное отделение никого не пускали, но Жанна как-то прошла и сейчас стояла над Алькой — высокая, строгая, в белом халате. А потом села к Альке на кровать, на одеяло и заговорила, просто, поделовому. Сказала, что сюда попасть Юрий Петрович, понятно, не может, но он в курсе всех событий, и скоро они с Алькой увидятся, хотя при выписке присутствовать ему не стоит. Пусть Алька не волнуется, он их не оставит, и она, Жанна, тоже будет участвовать. Из-за высокой температуры Алька плохо соображала, что происходит, но ее почему-то страшно растрогало то, что сделала Жанна: достала из сумочки два носовых платка и сунула их Альке под подушку, под один и другой угол. Попрощалась и ушла.

Из роддома брала их мать. Как водится, дали персоналу выкуп за малыша, рубли и шоколадки, и повезли домой на такси нового члена семьи — в шелковом одеяле, перевязанном синими капроновыми лентами с большим бантом.

И понеслось-завертелось. Дни и ночи смешались в один поток забот, сомнений, бытовых ошибок и редких радостей, по большей части связанных с тем, что происходило с ребен-

ком. Стал держать голову; начал улыбаться; стал узнавать мать, именно к ней, Альке, обращая лучащиеся наивностью серые свои глаза; повадился выбрасывать игрушки из кровати на пол, орет, требует, чтоб на руках носили, характер проявляет... Алькина мать ворчала, но бабушкой сделалась замечательной. Ночью вставала, чтобы Альке помогать.

Имя выбрали давно, но мальчик, которому исполнилось уже три месяца, до сих пор не был оформлен в загсе, у него не было отчества. В детской поликлинике это стало известно, и Альке заявили, что не имеют права брать на патронаж незарегистрированного, нигде не прописанного ребенка...

Произошли также события, которые, вроде бы, могли навсегда изменить Алькину судьбу, но кончились ничем. Чуть ли не в первый же день после прибытия из роддома пришел Илья и объявил, что берет ее с ребенком, что в Израиле тепло и много фруктов, и она не пожалеет... Но когда в передней, на прощание он, ее воздыхатель с многолетним стажем, сказал это свое: «Я тебя лю!» — ее охватила такая досада на его инфантильность, что она едва удерживалась, чтобы не сказать ему чего-нибудь эдакого. А в какой-то особенно безнадежный и горький вечер, когда Алька с трудом дотянула до прихода матери с работы, и у нее раскалывалась от боли голова, заявился Осповой.

— Давай съезжаться, — сказал он. — По документам — это мой сын, развода ведь не было, и он может носить мою фамилию. Кому какое дело, что у нас с тобой было! Никто и пикнуть не посмеет!

И мать, услужливо и как-то виновато разговаривавшая со Стасом, сказала Альке, когда он ушел:

— Ты подумай! Вернешься к Стасу — и у ребенка будет отец, будет дом. Опять же квартиру не надо разминывать...

Альку отвращала и эта расчетливость матери, и самодовольный вид бывшего мужа, и наглое предложение, с которым он нагрязнул к ним, и особенно его чисто мужской порыв к ней. «Какой же ты бабой стала, Алька!» — похвалил он ее, прощаясь. И тут к горлу у нее подкатилась тошнота, хотя в

какие-то прежние дни она думала о Стасе, и о своей вине, и о том, что после их разрыва, как раз переживая этот разрыв, Осповой как будто стал человеком.

И только ребенок, колокольчик его голоса, эта полуулыбка, которую она видела на простодушном младенческом лице, — вот что было ей утешением в этой тоске, в этой постоянной неловкости положения. Ведь Алька страдала не только от того, как сплетничают о ней соседи или сослуживцы на работе, но и от того, что сидит на шее у родителей (после родов оплатили бюллетень за два месяца, дальше — «без сохранения содержания»).

Годовалов не пришел в дом ни разу, но она прощала его, понимая, что, действительно, ему невозможно к ним сюда явиться. Они виделись только тогда, когда Алька вывозила малыша погулять, да еще подолгу разговаривали по телефону, и это выводило из себя Алькину мать. И так длилось годами...

Ночь с субботы на воскресенье была трудная, с сердечными перебоями. Опять одолела аритмия, и каждый четвертый удар пульса (он, лежа без сна, автоматически считал) был какой-то смазанный, то совсем не улавливался, то болью словно дергал сердечную мышцу. А потом начался такой свист в груди, что пришлось встать и закрыть дверь в соседнюю комнату, чтобы не проснулась Жанна.

Задремал только под утро, но, вскинувшись часа через два, неожиданно почувствовав себя свежим и, удивляясь, что в груди не болит, скоро оделся и вышел из дому, хорошо зная, куда надо идти. И пришел в красную приземистую церковь у метро, на раннюю службу.

Встал в сторонке от всех и смотрел, как от солнечного луча загораются красные точки — то одна, то другая — на стеклышках лампад. Пламя свечей казалось совсем прозрачным. Время от времени в храм, под невысокие его своды сверху, сквозь окна барабана, врывается волна теплоты, прославая воздух благоуханием и достигая даже и того угла в притворе, где далеко позади собравшихся на литургию старух стоял он сам, в прострации умиления ничего не слыша, и слушая нечто внутри себя.

Те, что не успели исповедаться накануне, встали в очередь к молодому священнику, который терпеливо выслушал у аналоя одну за другой кающихся женщин.

Годовалов в храме никогда не мог сосредоточиться собственно на богослужении, чтение обычно было невнятным, проповедь примитивна, а к священнослужителям в этих золотом шитых одеждах он всегда испытывал какое-то недоверие. Смущал его порою и тот фальшивый тон, каким произносилась молитва. Но в этот день было что-то такое и в светлом пространстве церкви, и в добром лице батюшки, внимающего его довольно долгой сбивчивой речи, и в нем самом, первый раз в жизни решившемся на исповедь... Что-то такое, что внезапно сделало ему понятными не толь-

ко величаво-архаичные слова церковного языка, как нередко бывало и раньше, но словно и весь смысл общего моления...

И когда начали «Верую», он вдруг, впервые во взрослом своем бытии, стал читать вслух вместе со всеми, и не шепотом, а голосом, пением даже. Выводил бережно слова, испытывая странное ощущение единства, но не только с теми, кто стоял сейчас с ним рядом, а как будто и с тем множеством людей, что каждый день повторяли наизусть Символ веры во все тысячелетие со времени крещения Руси. И его осенило, почему предписано и до сих пор вести службу, как и в древности, на церковно-славянском. Все огромное братство, включая и предков, многие родовые колена верующих — так услышалось Годовалову — возносило сейчас вместе с ним просьбу о милости, молитву за эту страну и за него самого. И эта всецелая сила заполняла и толкала биться надорванное его сердце.

«Имя?» — спросил священник, задержав лжицу у лица Годовалова, тогда как всех остальных причащающихся знал он по имени. «Как зовут?!» — подсказывали ждущие у престола старухи. «Георгий» — отвечал он твердым шепотом,

После причастия, отойдя от священника со сложенными перед грудью руками и испытывая тот бесценный и редкий миг, приятие благодати, когда всех любишь, он стоял и стоял перед иконостасом, а старухи все пели «Тело Христово прими-и-и-те, источника бессмертного вкуси-и-и-те», все пели и, казалось, тоже не хотели уходить. Но в тот момент, когда, торжественно просветленный, Годовалов остановился уже на пороге храма для последнего поклона, он заметил вдруг нечто, больно его поразившее. Как служительница гасит свечи — грубо, поспешно и не с помощью палицы, которую обычно для этого употребляют, а резко набрасывая на огонь какую-то черную тяжелую тряпку...

В этот год на экспедицию денег дали с гулькин нос, поэтому раскопный сезон закончился уже в июле, и до сентября времени было достаточно, чтобы привести в порядок документацию.

Того, что пережито было за последние пять лет, правду сказать, никто не ожидал. Годовалов, как и все кругом, был

так убежден в нерушимости советской власти, что когда она с неожиданной быстротой повалилась, сначала не верил себе, хотя те события, участником которых был и он сам — и митинги, и сбор подписей, и листовки за «Дем. Россию», распространяемые перед выборами — в какой-то мере тоже, как хотелось думать, способствовали падению того, что давило его всю жизнь. На работе он восстановился, многое там изменилось. Во всяком случае, тот преподаватель, что читал раньше научный атеизм, теперь вел курс «Религиоведение». Протыкан притихла и больше не требовала, чтобы вставляли в программы лекций «генеральную линию партии», хоть и позволяла себе критиковать Горбачева: «Развалил мировое коммунистическое движение!». И даже писала диссертацию «Римская вилла как памятник античного художественного вкуса». А Годовалова вдруг покинуло обычное и как будто навсегда присущее ему уныние.

Когда в понедельник девятнадцатого августа они с Жанной услышали по радио о Государственном комитете по чрезвычайному положению, он спросил: «Неужели так быстро все кончилось?» — прекрасно представляя себе, что будет дальше: все вернется, а тем, кто засветился, не поздоровится.

Он пришел в институт к десяти, как установлено это было летним распорядком, но, что называется, поцеловал замочек. Все были в отпуске, и Протыкан тоже. В растерянности вышел он на улицу. Ноги сами понесли в центр, точно его вел какой-то условный рефлекс.

Солнце грело желтым приветным теплом, и он шагал, глядя на далеко видную и отсюда золотую главу колокольни Иван Великий. Москва словно затаилась и ждала, но, хотя улицы были пустынные, в движении тех людей, что все-таки вышли в город, явно улавливалось некое общее направление. Такими привычными сделались в последние годы эти многотысячные сходки вблизи Кремля, что и сейчас народ устремился именно туда. Пока Годовалов дошел до Манежной площади, стало жарко, парило, солнце слепило так, что было больно смотреть, и даже в самом воздухе чувствовалась тревога. Одна мысль его не отпускала: «Разве это возможно,

чтобы опять все вернулось?»), — но в глубине души он знал, что возможно, и более возможно, чем невозможно. Ему вдруг стало не по себе, почему так мало людей на площади? Он подошел к небольшой группе у гостиницы «Москва». Все были какие-то пришибленные, с растерянными лицами, стояли, нервно переговариваясь. Над ними возвышался самодельный, сшитый, как видно, на скорую руку российский флаг-триколор.

Начался стихийный митинг, может и не стихийный, но организаторов как-то не было видно. Девушка раздавала листовки. Годовалов тоже потянулся за листком. «К гражданам России!...» Все было внятно, конкретно, без демагогии. Забастовка! Да, конечно! И Годовалов пожалел про себя, что ему-то самому практически бесполезно бастовать, потому что этого никто не заметит.

Народ прибывал, митинг продолжался. Чтобы чувствовать себя единой массой, время от времени скандировали лозунги, те, которые и раньше звучали на митингах, но к этому моменту, вроде, и не имели отношения: «Фашизм не пройдет!» Со ступеней гостиницы говорили в мегафон, но слышно было плохо. Люди на площади сменялись, некоторые уходили, но подходили и подходили новые. Годовалов передал кому-то из подошедших листочек с обращением, но все стоял, держа в руке свой дерматиновый, набитый бумагами портфель, и зная, что уже не вернется сегодня в институт.

Солнце передвинулось, покраснелось багрово, облака стали серыми, плотными, и беспокойство усиливалось. Вдруг со стороны «Метрополя», издали стал нарастать гул техники, и кто-то крикнул: «Танки!». Было странно, что народ не разбегаются, все повернули головы на шум, а некоторые сразу же двинулись толпой и как раз в ту сторону, откуда грохот. Годовалов тоже быстро пошел, хоть и не бежал («не видал он танков, что ли...»). Действительно, это были танки, может быть, и не тяжелые — он видел далеко из-за своей дальнорукости — но и не легкие, а средние танки, которые он так хорошо знал в свое время. Маневренные, красивые, сволочи!

Вылетела первая машина, и народ весь дрогнул, зыряка по сторонам: куда отходить? Водитель затормозил, выбивая снопы искр из асфальта и, знаками спросив милиционера, куда ехать, рванул по направлению к Манежу. Второй танк в клубах вонючего дыма — за ним. По гулу моторов было слышно, что прет целая колонна.

Народищу тьма, но все расступились, прянули по сторонам, образовав широкий пустой коридор, замолчали, и Годовалов вдруг понял, что один стоит посередине дороги, стоит со своим портфелем в руке, торчит, вытянув шею и самому себе представляясь очень высоким, каким он был тогда, сразу после войны, когда в университете его звали «Жердь»... Танк, со страшным скрежетом тормозя то одной, то другой гусеницей, так что машину бросало из стороны в сторону, остановился в полуметре от него. Асфальт задымился и осел. Мальчишка-водитель, который вывалился из люка, почти на четвереньках отполз в сторону, к тротуару, у него была истерика. Остальные машины тоже встали, у одной из них дико вращалась башня. На мгновение сделалось совсем тихо, но через три секунды все они уже были облеплены людьми, которые заговаривали с солдатами и лезли на броню. Годовалов увидел, как взобравшаяся на танк с полной хозяйственной сумкой тетка что-то горячо втолковывает сидящему наверху стрелку пулеметной установки.

— Куда вы едете? Неужели в своих стрелять будете? — кричали женщины, кричали слишком резко, как будто намеренно провоцируя на агрессию.

Солдаты выглядывали из люков, озирались по сторонам, наверное, впервые попали в Москву. Так когда-то, когда наши войска вошли в Берлин, он, этот город, для многих деревенских ребят, его однополчан, тоже был первым в жизни большим городом.

Какой-то немолодой человек сжал Годовалову руку: «Спасибо, товарищ!» — но через минуту о нем уже забыли.

Начался ливень, полило как из ведра, но никто не уходил, ждали чего-то, и тут из охрипших мегафонов закричали, что надо идти к зданию Верховного Совета. Все стали пере-

глядываться с недоверием: «Это провокация!» — но кто-то вдруг крикнул: «Кремль пустой! Ельцин в Белом доме, он нас ждет!» И в микрофон объяснили, что Белый дом — не в Вашингтоне, потому что большинство на площади и не знало, что за Белый дом такой, где этот Верховный Совет.

Когда Годовалов добрался до этого, разъехавшегося на целый квартал белого домища, там уже вовсю кипела работа, строили баррикады из подручных средств: железные прутья какие-то, парковые скамейки, контейнеры с помоек, — и сновал взбудораженный, решительный народ. Рядом находилась стройка, оттуда и несли арматуру, ящики для песка и кирпичи, сперва на себе, а потом пригнали красный трактор, чтобы перетаскивать бетонные блоки. Завалы делали, как видел Годовалов, совершенно беспорядочно, а против танков это все было ерунда.

Его удивило, что так много кругом молодежи, ведь молодые обычно на митинги не ходят, а сейчас именно они тащили плиты, вывороченные из мостовой, а на одном участке уложили поперек дороги вырванное с корнями громадное дерево. И видя, сколько вокруг здоровых, сильных парней, Годовалов подумал, что ему, семидесятилетнему, здесь, в общем, делать нечего.

Кроме него были и другие старики, которые по большей части для физической работы уже не годились, а просто стояли тут. «Тоже мне, защитники», — подумал Годовалов с иронией. Тем не менее, видел он там и одну, по виду очень старую даму, которая, планомерно делая ходки на стройку, притаскивала в своей сумке по два-три кирпича за раз, и поразительна была эта ее работоспособность. Вообще же многие, казалось, были просто упоены работой и радостью такого общественного служения, особенно женщины. Некоторые пришли сюда с детьми и, несмотря на то, что их гнали домой и в микрофон уговаривали, чтобы женщины уходили, они не оставляли площадь.

Как он понимал, люди, что собрались сейчас здесь, представляли собой ту небольшую часть народа, которая вообще чего-то хочет. Основная же масса была совершенно пассивна и выжидала, что будет, а кто-то и надеялся, что ГКЧП

наконец-то установит порядок. Один такой агитировал в толпе, мол, уходите, а то всех здесь положат.

Из окон Верховного Совета время от времени выбрасывали листовки, внизу их ловили, но часть всегда оставалась на кровле под окнами. Глупо, подумалось ему, почему бы не передать из рук в руки...

К телефону-автомату стояла очередь, Годовалов тоже пристроился. Поневоле он слышал, что говорят те, кто решил остаться здесь надолго: «Я еду в командировку, скоро вернусь»; «Я задерживаюсь по делам, не волнуйся!»; «Я у приятеля переночую».

Все время шел дождь. Он позвонил Альке (слава богу, дома):

— Как там Глеб?

— Не слушается, — пожаловалась она.

Он засмеялся:

— Ты на него не нажимай, — и сказал как можно спокойней, — сиди дома, не трепыхайся, на работу не ходи. Неизвестно, когда это кончится. — И повесил трубку.

В восемь стало темнеть и зажгли костры. Годовалов подошел к одному из них. Черноглазый парень-иностранец рассказывал, что прибыл на конгресс соотечественников, собравший сейчас в Москве тех русских, что жили теперь за границей, в том числе и потомков первой русской эмиграции.

— Александр Матэ, — протянул он Годовалову ладонь, представляясь, — из Парижа, но я русский, мои предки жили в Крыму.

«Как все неслучайно!» — сказал про себя Годовалов. И вспомнился тот старик, которого он никогда не видел и видеть не мог, старик Матэ, чьи письма, адресованные в Петербург другу и вынутые из музейных завалов, пытался он тогда прочесть, натужно разбирая летучий почерк знаменитого коллекционера, его, полный орфографических ошибок, рассказ о горестях старости. А молодой парижанин все мок под дождем и распинался о том, как он рад, что оказался здесь в эти дни.

Годовалов то хотел уже уходить, то опять возвращался, и, пытаясь отдать самому себе отчет в том, зачем он здесь, все слонялся, подняв воротник, под дождем вокруг Белого дома. Он был на ногах уже много часов, целый день ничего не ел и очень устал.

Часов в десять вечера с набережной неожиданно двинулась к Белому дому колонна танков. Народ перекрыл им движение. «Вы за кого?» — заорали чуть не в сто глоток. Оказалось, что эти танки пришли на защиту Белого дома, однако орудия были без боекомплектов...

Вообще же в этот день Годовалов не раз видел, как толпа с ненавистью бросалась на военных, как будто не разумея, что тем невыполнение приказа грозит трибуналом. Сам он понимал, что при нынешнем раскладе все зависит только от того, будут ли идущие в Москву дивизии выполнять то, для чего их вызвали. В свою очередь, он знал, какими непостоянными в настроениях могут быть военные, какая это гневливая масса. Когда римское войско, скинув развратника Коммода, возвело в императоры доблестного Пертинакса, правил тот недолго. Как только, чтобы восстановить в стране порядок, он потребовал дисциплины и от воинов, они его убили. И хотя здесь не Рим, можно было предвидеть, как все зыбко сейчас в войсках. Правда, сюда, по разговорам, должны были бросить и те части, которые еще недавно выполняли приказ по усмирению непокорных республик, где ребятам в таком пришлось участвовать, чего и видеть восемнадцатилетние не должны. Но, как говорили, «там чучмеки, а тут свои»...

Но и речи не могло быть о том, что возможно как-то силой задержать войска. Казаки, еще днем пришедшие к Белому дому и показавшиеся тогда ему какой-то компанией ряженных... Подростки, очкарики, явно не готовые к какому бы то ни было силовому противодействию, детский сад какой-то... Были и здоровые ребята, наверняка отслужившие в армии, похоже «афганцы», но оружия у них тоже не было. На бывшие танки повесили российские флаги, и присутствие их, казалось, вселяло в людей какую-то уверенность. Дождь не

прекращался. Годовалов промок насквозь и решил ехать домой. Вот-вот уже должно было закрыться метро.

На столе лежала записка Жанны: «Я на дежурстве».

Годовалов скинул с себя мокрое и через минуту уже спал тревожным одышливым сном, время от времени дергаясь в импульсах окопной, пригнетенной к земле жизни, потому что в сон неожиданно вернулась война, тот его первый день на передовой, когда он убил немца. Передний край — колючая проволока и траншеи. Наши и немецкие совсем рядом, поэтому тогда, увидев так близко этого фрица, до пояса высунувшегося из своего укрытия, он инстинктивно выстрелил. Тот вывалился из окопа наружу, головой в снег и лежал ничком, не двигаясь. А его самого чуть не вынесло за бруствер: бежать туда и поднять! Неужели убил? Довоенные безусловные рефлексy еще работали...

Пробудившись от сильного сердцебиения, он долго не вставал, с тоской думая о том, как быстро привыкает человек на войне к смерти, привыкает видеть мертвых. Эти неподвижные тела, эти запрокинутые назад бритые головы... А лица убитых немцев на морозе почему-то скоро чернели, немцы становились какими-то неграми — оскаленные зубы и светлые волосы...

«Мальчики!» — с жалостью сказал он вдруг.

Радио (телевизора они так и не купили) бубнило, что перестройка зашла в тупик, а комитет, открывая народу глаза на угрозу голода, все сулил легендарные блага.

Когда к двенадцати часам Годовалов приехал на «Краснопресненскую», на станции было столько народу, что эскалаторы едва справлялись. Первое же, что он увидел, когда подошел, наконец, к Белому дому, было совсем неожиданно. Возле танка, украшенного цветами, стояла Алька над располосованным прямо на броне розовым батоном колбасы и предлагала всем бутерброды.

Прижавшись друг к другу, они простояли больше часа на митинге под дождем, вместе со всеми выслушав одного за другим ораторов этого дня. И Годовалов подумал о стратегическом просчете путчиков: что они сразу не арестовали кого надо. А

площадь кричала вся разом: «Долой хунту!», «Свобода или смерть!». Потом был призыв к военным не воевать против своего народа. Объявили, что командует обороной Верховного Совета генерал-полковник Кобец. Годовалов узнал об этом еще вчера, потому что парни ночью кричали хором: «К нам пришел Кобец, хунте — копец!». Была произнесена фраза, которую повторяли потом много раз, так она проняла народ: «Мы не быдло!». Хотя Годовалов на нее внутренне не реагировал, он был немало удивлен ее действенностью.

После митинга, велев Альке ехать домой, он опять остался на площади. Иногда видел чье-то знакомое лицо, кто-то и его узнал и сжатой в кулак рукой приветствовал издали. Предлагали сигареты и еду, продуктов было навалом: хлеб и пакеты с молоком, — но ему есть не хотелось. Бредя от одной баррикады к другой, он решил для себя, что стар уже воевать, но кружил по примыкающим к Белому дому улицам, по мосту, по набережной, — чтобы все видеть своими глазами.

Несколько тяжелых самосвалов, нагруженных щебнем, блокировали проезды к Белому дому. Годовалов наблюдал, что творилось вокруг, отмечая про себя, что народу здесь становится все больше, пришли и рабочие парни. А ведь вчера, когда он шел сюда от Манежа по Тверской, сидевшие на строительных лесах работяги на призыв бастовать отвечали: «Работать надо!» — и продолжали сидеть и курить, свесив ноги. Баррикады дополнительно укрепляли, они сделались выше, однако Годовалов знал, что тренированному человеку ничего не стоит в три прыжка преодолеть любую из этих смешных, похожих на мусорные кучи преград. Подумал вдруг, что и он здесь мог бы пригодиться (офицер все-таки, военный человек), например, организовать этих тощих, явно не служивших в армии ребят. Но и без него организовали.

Вокруг Белого дома сформировалось внешнее живое кольцо, а за ним — цепь в несколько рядов из мужчин, собранных в «сотни». Правда, оружия до сих пор никакого, только деревянные палки, у кого-то — железная арматура. Ясно было, что тут, как говорится, не ангелы собрались од-

ними словами останавливать войска. Он брел вдоль цепи и думал о тех временах, когда еще не имелось огнестрельного оружия. Сначала было только бронзовое, им вооружены и герои Троянской войны, «меднолатные данаи». Оно тяжелое, его мало, только у богатых воинов, поэтому армия была профессиональной. Когда же появилось железо, в том числе скифское «твердокованное», которое шло из Северного Причерноморья, его, оружия этого — легкого, прочного — стало много, оно сделалось доступно всем. «Железная революция» демократизировала войска, превратив земледельцев в копьеметную рать, и войны, где человеческие силы и сноровка тратятся на убийство, с тех пор не прекращались...

Обойдя Белый дом раза два подряд, он забрел передохнуть в какой-то садик. Ручеек в зеленых берегах и памятник Павлику Морозову... И над прудом, возле мостика вдруг увидел вот что: сидит на лавочке Протыкан и поглядывает то в одну, то в другую сторону. Вот уж кого невозможно было ожидать здесь! И тогда он понял, что те, гэбэшники, тоже тут, это все ведь их тоже касается. Ждут, как повернется дело, все наготове, если дадут сигнал. Они, конечно, в штатском, но у кого-то и оружие с собой, и рация, и вдарят нашим ребятам в спину, чуть что. Он знал, что они беспощадны, и знал, что они будут служить тому, кто победит, любому строю, но знал и то, что они должны быть уверены в своей правоте («так надо!»), иначе сойдешь с ума. Когда началась «перестройка» и твердили, что партия должна покаяться, подразумевалось, что и КГБ тоже. И что же, получается, что народ должен простить?

Часов в шесть вечера на площадь привезли противогазы, но они оказались непригодными, какие-то маленькие, предназначенные, по-видимому, для детей. Организация во всем была никудышняя, все как-то по-дурацки. Через микрофон инструктировали, как себя вести, если будет газовая атака. Девушки стали раздавать марлевые маски, только что изготовленные здесь же.

Беспрерывно шел дождь, но поначалу зонты не разрешали раскрывать, они мешали обзору. Потом о запрете забыли.

Стало зябко, муторно, и народ начал впадать в какой-то нервический пессимизм. Лица хмурые. Все готовились к штурму.

«Вита! Вита!» — закричали рядом. «Вита — это жизнь», — подумал Годовалов, и подошла девочка лет пятнадцати — рыжая, худющая, с тяжелым чайником. Крышка на чайнике дрынь-дрынь-дрынь. Девочка стала разливать кофе в протянутые ей кружки и бумажные стаканчики. В холоде, в промозглых сумерках кофе был очень кстати.

— Из Питера, — рассказывали про девчонку. — У нее тут тетка живет рядом. Тетка кофе варит, а эта носит.

Он взглянул пристальней: рыжая, совсем рыжая, с веснушками и ободранным от загара носом; разливает кофе и беспрерывно говорит, с жаром перечисляя те молодежные группы, что находятся сейчас здесь, на ближних баррикадах (и панки, и хиппи, и кришнаиты)... Неизъяснимо сладостное и тревожащее чувство покровительственной нежности, что ли, охватило вдруг Годовалова. Он не попросил у нее кофе, а только смотрел вслед, когда она отошла, и потом время от времени находил ее глазами то в одном, то в другом месте.

Быстро темнело, предчувствия были самые мрачные. С Годоваловым заговаривали незнакомые люди, один раз стали угощать водкой, но вообще-то таких, с выпивкой, прогоняли из рядов. Время от времени раздавалась команда сомкнуться и люди брались за руки. Он разговорился с одним бородачом, хотя и не старым еще, но уже без передних зубов человеком, который дежурил здесь вторую ночь.

— У меня трое детей и парализованная теща, — рассказывал тот. — Жена в деревне с детьми. Мне нельзя бастовать, я в больнице механик по лифтам. С утра наварю побольше вермишели, поставлю теще возле кровати и на работу, потом сюда на ночь, потом домой на два часа — тещу обиходить. Я не знал, что можно спать один час в сутки...

— Почему же вы тут? — пытал его Годовалов.

— Потому что сапоги страну не накормят, а лизать сапоги я не намерен. — И признался вдруг, глазами указывая на ви-

сящий над площадью на аэростате трехцветный российский флаг: — Я не знал, что можно так любить флаг, так его защищать. Я знаю, что делаю мало, только стою со всеми. Я хотел бы делать больше. Я думал, что у меня внутри уже ничего не осталось, но вот надо — и я стою.

Годовалов слушал его с острым чувством жалости, в очередной раз подивившись наивности народа нашего, открытости его всяческому пафосу.

Нудный, нескончаемый дождь, он все лил и лил. Но сердце ... в дождь оно не болело.

— Вита! Велецкая! — закричали громко и требовательно промокшие, озябшие люди. Годовалов замер. До него вдруг дошло, кто такая может быть эта Вита! И он бросился в ту сторону, откуда звали девочку.

«Дрын-дрын-дрын», — звенело то ближе, то дальше, потому что она со своим большущим чайником переходила из ряда в ряд. Он запыхался и был уже совсем близко от нее, но когда попытался протиснуться сквозь людское кольцо, его не пустили. Он не знал пароля, а под видом защитников к Белому дому могла просочиться группа захвата. «Этот дед наш, с первого дня тут», — поручился за Годовалова какой-то парень из «сотни».

Просто и точно найдено было слово! Он ведь, и вправду, был ей дедом, этой рыжей, с тонкими ногами ленинградочке, девчужке этой, о рождении которой он ведь знал...

— Вита! — окликнул он ее. Как давно он не произносил этого имени! И с каким отчаянием повторял его про себя там, в лагере... Мужики в цепи расступились, чтоб его пропустить...

Темнота сгушалась. Послышались издали автоматные очереди, казалось, что это просто треск, вроде как доски ломают, но Годовалов-то знал, что это на самом деле!

Где-то в двенадцать раздался крик: «Техника идет по Садовому!» — и пошли приказы срочно отойти от стен, а в случае применения «черемухи» делать то-то и то-то. И встала живая стена. У кого стальной прут, у кого бутылки с бензином... И напряжение такое, что все готовы с голыми руками бросаться на танки, драться до последнего.

Годовалов подумал, как хорошо, что Виту прогнал, довел до подъезда (ногами топал даже на нее, чтоб уходила), хоть одного человечка спас...

Страха он не испытывал. Пытаясь оставаться только свидетелем происходящего, стоя отдельно, сам по себе, снаружи кольца, на мосту, он понимал, что так даже более уязвим, чем в цепи. И ощутил вдруг, что хочет быть вместе с ними, с этой, единой духом, тысячеголовой гвардией, вместе со всеми, словно победившими в себе эту привычку быть покорными злу. Какие лица видел он кругом! На них не было больше того выражения, по которому узнаваем обычно советский человек...

Они стояли под дождем рука к руке, и зарево освещало им лбы, и когда взмыла ввысь сигнальная ракета, неизвестно чья, все глаза глядели на небо, только белки засверкали. А когда от далекого гула затрясся город и в темноту покатилося «Рас-сия! Рас-сия!», Годовалов вдруг безотчетно присоединился к этому воплю своим голосом и своим живым дыханием.

Было время, он думал, что вырождение наступило полное, что, страшно ослабленная атеизмом, кончилась нация навсегда, и больше нет никакого русского народа. Но это было не так!

Да, он чувствовал себя сейчас каким-то очень русским, как тогда, в Германии, когда они только что вступили на белый бетон ее дорог.

Клиника была далеко от метро, на пятнадцатой Парковой. Он ждал Альку, но знал, что добираться ей к нему долго, через всю Москву. Лежал в палате и тихо дышал. Сейчас было сносно, но тогда, на Манежной, когда Ельцин попросил прощения за гибель молодых ребят, у Годовалова так прижало сердце, что Альке пришлось звать «скорую», и он попал сюда. Правда, в терапию, а не в кардиологию... Надо сказать, что в тот день рядом с ними, в толпе, не раз кричали: «Врача! Врача! Человеку плохо!» Это у кого-то из стариков, и не помышлявших о том, что советской власти придет конец, распирало и лопалось от радости сердце: «Дожил!»

В больницу быстро вызвали Жанну, и теперь она день и ночь сидела у него в палате, благо, что стоящая рядом соседняя кровать уже сутки пустовала, и Жанне как медику удалось договориться, что на выходные в эту их палату никого больше не положат. Сейчас у него ничего не болело, боль за грудиной прошла, лекарство действовало. Было как-то по-своему хорошо, спокойно от собственной слабости.

Жанна рассказывала, как, услышав на работе, еще девятнадцатого, что из больницы выписывают больных и освобождают койки, поняла: что-то планируется, и ожидаются жертвы. Вечером того дня, на полчаса прибежав, оставила ему записку, чтоб не беспокоился, и потом все трое суток домой не приходила. Странно, что за все эти дни они так и не встретились там, у Белого дома... Их санитарная машина подъехала тогда под самую стену этого дома, и они попросили охрану, чтобы кто-нибудь к ним вышел. Вышедший к ним человек был растерян и сказал, что врача у них там пока нет, да и перевязочных средств маловато. «Мы все привезли», — сказал на это врач из их самодеятельной «скорой помощи», заранее надевший на себя поверх халата еще и фартук с красным крестом на груди.

Но, слава богу, все это время, пока Жанна там оставалась, медицинская помощь никому не понадобилась. Много чего

повидала она за эти дни и видела, конечно, что народ тут был всякий: и любители покрасоваться на публике, которые потом быстро исчезли, и зеваки, не отдававшие себе отчета в том, что все это далеко не шутки; немало было и психопатов, кого всегда тянет туда, где происходит что-нибудь неладное. Однако по ночам на площади оставались только нормальные люди, и сначала их было не так уж много. В первую ночь, когда просили остаться до утра и кричали в спины уходящим: «Труссы уходят, мужчины остаются!» — их и вообще было совсем мало, и будь гэкачеписты попроворней, и танками давить никого не пришлось бы, все опять очень быстро было поставлено на свое место...

Одеяло у него сбилось, и простыня съехала до полу. «Давай, я перестелю», — сказала Жанна, и он поднял на нее глаза.

Когда-то, оказавшись в палатке полевой больницы, после того как довольно долго пришлось лежать на земле, а спина была разворочена, и много вытекло крови, с температурой от сепсиса, примостившись на низеньком, наскоро сбитом топчане, слышал он такие же слова и слышал их именно от Жанны. Должно быть, она сейчас и не помнила этого, а у него все всплыло в памяти: как пришла — такая строгая комсомолка, и не в белом халате, а в гимнастерке с медицинскими значками в петличках, — перестелила постель и перевернула подушку. И ему стало легче, а она, думая, что он заснул, еще какое-то время сидела рядом, и он улавливал в ее шепоте: «Господи! Господи!».

Ему и сейчас сделалось легче, но по-другому: словно уходила навсегда эта отяжеляющая его сила.

Наконец пришла Алька. Он слышал, как дружелюбно говорит с ней Жанна, оставляя Альку сменить ее.

— Не хотел я, чтобы ты застала меня в таком виде, — сказал он, когда Жанна ушла.

— Вид родной, вид любимый, — отвечала Алька, не решаясь его даже поцеловать.

Успокоившись окончательно, он задремал. Ему привиделась та зима и тот вечер, когда они забрали Глеба из дет-

ского сада, потом зашли в прачечную, и погрузили белье, два больших свертка на санки, а Глеба посадили сверху. И вот они едут проходными дворами, снег идет, и полозья в снегу увязают. Санки кренятся на ледяных буграх и время от времени переворачиваются, свертки с бельем сползают, а Глеб вываливается на дорогу, в снег, и хохочет, и кричит что-то — румяный, ловкий мальчишка, в шерстяном шлеме, связанном матерью, и новом импортном пальтишке на рыбьем меху. И в восторге от того, что отец везет его, и погоняет отца. Однако домой, к Алькиным родителям, куда они везут белье, всем вместе им нельзя, и о том, чтоб явиться к нему в дом, где его ждет Жанна, тоже не может идти речи, хотя все знают, что это его сын, его ребенок.

«Боже мой!» — произнес он с отчаянием, открыв глаза, но тут же сощурил их от внезапно ударившей, раскалывающей грудную клетку боли. Лежал, боясь пошевелиться, в приливе горестного чадолюбия, задавленного отцовского чувства. Исчезли и этот снег, и дорога, и детский смех... И горько стало, что у него нет и никогда не будет нормальной собственной семьи. Да и не жил он никогда с любимой женщиной под одной крышей, даже и уединиться ненадолго с той, кого любишь, было так трудно, почти невозможно. И дети его — без него, без отца — живут, а обыкновенная, простая жизнь всегда была недоступна для него... Сначала арест отца, а потом и война, и лагерь, и высылка, но он и сам виноват, что пустился тогда в бега, не дотерпел, когда до реабилитации оставалось, может, всего полгода, и из-за этого оказался потом на всю жизнь с бесправным паспортом...

Он пытался опять вернуться в сон, понуждая к тому свое воображение, представляя себе снег, много снега, щедрый обильный снег, и как счастливы они там все втроем... Но Алька в сне этом стала уже совсем не видна...

Алька сидела у его кровати, держа его за руку и сжимая ему пальцы, когда ей казалось, что он отключается (подбородок задран и торчит кадык). Пришла сестра ставить капельницу, но не удавалось: вены были плохие, глубокие.

«Не надо туда, — сказал он, морщась, — сюда колите!» И выставил вперед сжатый крепко кулак с проступившим под кожей синим иероглифом сосудов. Альку предупредили, чтоб следила: капать должно медленно, а то начнет падать давление. И хотя рука его лежала неловко, но боль снова стала терпимой, и беспокойство ушло. Он даже нашел в себе силы, чтобы поговорить с Алькой. И был счастлив, что она здесь. И воспоминание — что-то такое сладкое, из прежней, из далекой жизни — тоже близко...

Кажется, видно ему и то, чего он помнить не может. Видит женщину с ребенком на руках. «Мама?» — говорит он. Высокая, молодая, и солнце освещает ее со спины. Он как бы со стороны смотрит на женщину с младенцем в ореоле света... И одновременно ощущает себя этим ребенком, и не понимает, что она говорит ему, но, прижатый к теплому холмику родной плоти, видит, как лицо ее склоняется к нему сверху, видит открывшуюся в сорочке ее грудь, и губами вспоминает все, и слышит, как бьется ее сердце... И так час прошел и даже больше...

Убрали капельницу, сделали укол, и сразу боль откатилась совсем, стало легче дышать, и он задышал, глубоко, до головокращения, втягивая в себя воздух... Дышать — счастье-то какое, надышаться невозможно! Точно те двадцать минут прогулки... Целых двадцать минут движения, когда их выводили на тюремный двор... И он дышит, дышит самозабвенно, истово, забирая кислород не только в грудь, но и в живот... А вохра отсчитывает двадцать минут по циферблату, ни минуточки больше, гады! А после вывода опять вонючая камера, и старый зэк говорит, что до войны время измерялось песочными часами, которые стояли на виду у арестантов во дворе тюрьги...

«Дьем!» — грохнуло вдруг ему в уши, и он тут же спустил ноги с койки, чтобы встать, потому что утро и это надзиратель орет, открыв кормушку, эту малую дверцу на тяжелой двери камеры. В обед он кричит: «Обед!» — но утром кричит «Дьем!» вместо «Подъем!», потому что разбудить ему надо много камер, и он экономит голос...

Годовалов сел на кровати, тараща глаза, и Алька стала успокаивать его, не понимая, конечно, что же опять ему при-
виделось.

А в голове его неотступно, как будто ему гвоздь в темя
забивают, эта песня, отвязаться невозможно:

*Зачем ты ходишь пред тюрьмою,
Зачем ты мучаешь меня...*

Опять и опять... Не отпускает его этот морок, лагерь
жрет его изнутри... Хотел бы навсегда забыть этот гряз-
ный блатной треп, эти песни, что пели урки, хотел и не
смог...

После смерти Сталина началось соревнование лагерей за
меньшее число умерших, и даже самодеятельность на КВЧ
завели, и с десятков эков каждый день, вернувшись с рабо-
ты, надрывали глотки, готовились к празднику песни... И
ведь только там, на Воркуте, вдруг пригодилось людям то,
что в обычной жизни ни разу никому не понадобилось, эти
довоенные его уроки культпросветшколы. Пригодилось на-
кануне его освобождения, под самую под завязку...

*Так не ходи ж ты пред тюрьмою,
Так не звени подборами,
Катись ты к ям-бам-бам,
тири-тири- тири ям-бам-бам
С твоими ра-а-аз-говорами!*

— этого-то как раз на празднике петь нельзя было, и они
репетировали «Раскинулось море широко» — целый муж-
ской коллектив, указники, бытовики, работяги. Через неде-
лю праздник, а у него конец срока, и ему уезжать! С отчая-
нием, с матом наступали на него товарищи, что, вот, мол, он
сваливает, а без него участвовать в соревновании хоров им
смысла нет, зря горло драли, победы им и награды этой обе-
щанной, пирога какого-то, что ли, уж точно не выдать! И тут,
чтобы кипеж погасить, он им обещал, что не уедет сразу. А
если его как освободившегося на праздник не станут пускать,
он сказал: «Что ж, я с вами под собаками пойду!» — так и

сказал им. И вспомнил сейчас тех злющих, поджарых, ната-сканных на эков овчарок, с которыми водили их на работу. Правда, тогда уже не травили людей собаками...

И теперь, в параллельном чувствовании, снова и снова поражаясь тому, как все мудро задумано у Господа Бога, он объяснял сам себе, что на старости лет память для того и обостряется на давнее и высвечивает давно ушедшее, чтобы прошлое не пропадало в сознании человечества... Накатывали какие-то другие сцены, другие образы, подробности самых последних событий, чередуясь, будто кадры хроники, которую показывают в кино перед сеансом...

Он видит опять: жалкая баррикада, несколько женщин, дождь размывает буквы на плакате, на куске обоев, который они держат в руках: «Солдаты! Не стреляйте в матерей!» — и девушка, почему-то с голыми плечами, в сарафане каком-то, дрожащая от холода...

На завтра была назначена консультация профессора, и Годовалов, веривший в медицину, знал, что придут и придумают что-нибудь, как это бывало и раньше, подштопают ему сердце. Терпел и старался не дышать громко, отдаваясь своим видениям. Альке же стало тревожно, стало непонятно, что с ним происходит, спит он или не спит. Глазные яблоки у него подолгу оставались неподвижны, глаза были подернуты какой-то перламутровой пленкой, и если из-под его по-прежнему черных ресниц на Альку взглядывал блестящий зрачок, она радовалась и кивала, просидев так около него несколько часов.

Он старался не показывать этого своего нарастающего страдания и в какой-то момент подумал, что лучше бы ей уйти и всего этого не видеть. Он не мог разговаривать и, когда она задавала вопрос о чем-нибудь совершенно необходимом, отвечал еле слышным голосом, и вместо «Да» выходило какое-то «Дя-а».

Дышать становилось ему все труднее, словно разбухли бронхи, и встала внутри преграда вдыханию. Вбирал он в себя воздуха совсем чуть, но время от времени из груди его исходили долгие, слышные, с трагическим хрипом выдохи. Алька встревожилась и попыталась посадить его в поду-

шках, но движения были у него теперь как-то замедлены, механичны, точно двигаться ему мешали невидимые какие-то перевязи или жесткие наколенники.

Сидеть он не хотел, замотал головой, что не хочет, и лег неподвижно, неподнимаемо. Лежал, уже не открывая глаз, словно бы окостеневая. Но между мучительными этими выдохами, в минуту затишья, ему представилось вдруг, что не лежит он вовсе, а стоит, стоит во весь рост — еще тот, здоровый, двадцатитрехлетний — и становится все выше, сильнее, стоит, делаясь даже как-то по киношному мускулистым... Стоит все так же под дождем...Продолжается дождь, который лил чуть не трое суток — от начала путча, от девятнадцатого дня августа, от самого Преображения...

Он стоит с той же армейской полной выкладкой в тридцать два килограмма и с автоматом за плечом. Ноги в зимних, в суконных портянках, какие лишь в последнюю зиму войны довелось ему получить... Ноги в больших сапогах, такие крепкие, тяжелые, широко расставлены, только в коленях не гнутся. Шинель колоколом, длинная-длинная... И портупея наискось на спине, и пистолет в кобуре справа, и сумка походная слева на бедре, и еще планшет на ремешке, даже кнопку на нем он чувствует... И в планшете карта-километровка и та, главная бумага, про отца написано: «Петр Тимофеевич Голованов» — и год рождения, и дед записан (со слов отца заучили наизусть еще детьми оба брата). Дед — Голованов с именем и отчеством, со званием своим, и адрес дедова собственного дома...

Он стоит будто тот памятник, где у солдата на руках спасенная девочка, а малышка, которую он держит, прижимая к себе, — живая, горячая! Он приник щекою к рыжеволосой ее голове, у него щетина, три дня не брился, и на небо вылезает большая радуга, как она в последний тот день путча встала над Москвой...

И тут, внезапно возвращаясь в действительное свое время и чувствуя лопатками тугую вату больничного матраса, он спрашивает этого ребенка из сна, свою девчущку — рыжую, легонькую, родную: «Вита! Меня не спасли?» — имея в виду то физическое оцепенение, что не дает ему там даже головы наклонить, чтобы поцеловать девочку, тот спазм реально

наступающих последних минут, который сковал уже его всего... Спрашивает сквозь грудной свист, и не только воздух выдавливается у него из легких, а исторгается сам дух жизни. Спрашивает вслух, испугав бедную Альку, и перестает дышать.

Из палаты, из наступившей внезапно тишины Алька побежала, понеслась за сестрой, за врачом, и по тому, как быстро они прибежали, стало понятно: то, о чем он не раз говорил ей и что сам не считал страшным, случилось! Она еще не могла понять, что это произошло — обездвижение его бытия, и для него кончилось будущее... Однако то, что с ним стали творить дальше — грубо, бесцеремонно, сначала вдвоем, а потом и вчетвером, призвав реаниматоров и называя это стимуляцией, — казалось Альке ужасным, казалось просто издевательством над человеком. Нажимали на грудину, сильно давя, так что хрустели ребра, делали искусственное дыхание, буквально ложась на него, наваливаясь, чтобы вдуть ему внутрь воздух «рот в рот», длинными иглами кололи прямо в сердце...

Бледный, с синими губами, уже совсем без пульса, простертый на полу перед людьми, пытающимися оживить его тело, он все еще слышал, о чем говорят в палате («остановка сердца», «эмфизема», «непрямой массаж»), слышал, что Алька плачет, плачет, но плакать боится, что зудит лампа дневного света... Все тело его словно бы онемело. И кто-то, пальцами резко раздвинув ему веки, чтобы посмотреть, сужается ли еще от света зрачок, сказал: «Через полчаса подвяжите челюсть». Он же, знающий, что так обязательно надо сделать ради благообразия посмертного вида (ибо окоченение начинается с нижней губы и идет книзу), очень пожалел Альку, понимая, что делать это придется именно ей. И нечто алчное, вражье уже отбирало из тела у него последнюю теплоту, огонек старческой жалости. Он уже почти ничего больше не чувствовал. Холод медленно завладевал телесным его веществом, и, остывая, оно все больше твердело. Он становился совсем ледяным, каменным, бетонным почти... И, как он читал когда-то и до сих пор не позабыл, та

самая темнота, тот самый мрак, что осеняет взор умирающих гомеровых героев, затмила ему и зрение, и сознание...

И пришла свобода, о которой он давно догадывался, какая она для него только и может быть... Которую он даже ждал... Но, уже готовый к небытию, он увидел вдруг с закрытыми глазами, как эту тьму пробивают время от времени лучащиеся точки, скачущие, словно пузырьки морского воздуха в волнах... Как обстают его затененными своими склонами округлые холмы, лиловые от усеянного ягодами августовского терновника... И, светом прожигая черную материю смерти, этот ее антрацитовый тяжести полог, плывут к нему облака светлой синевы, сливаясь затем в теплое, с жемчужной поверхностью море... И этот мир хочет принять его всего в себя навеки...

Дорога, идущая в гору, была мощена крупным булыжником и в общем разоре, царящим вокруг, казалась на диво хорошо сохранившейся. Ровная, с аккуратными лотками водостока, тщательно пригнаны друг к другу камни, до белого блеска истертые временем...

Две женщины и ребенок бодро поднимались вверх по улице, иногда останавливая шаг и оглядываясь, и видели заросшие дворы и брошенные дома — с облупленными фасадами, без дверей, без оконных рам, у некоторых с крыш снято кровельное железо. Никого не встретив на пути, двигались они по эспланадам — Жанна, Алька и Глеб — только что приехавшие московским ранним поездом и сразу же, побросав вещи в гостинице, ринувшиеся сюда, на гору. Так давно они хотели побывать здесь, так много об этом месте знали...

Ехали они из Москвы целый день и ночь, и Алька, проснувшись рано утром, жадно смотрела в окно вагона. Когда въехали в крымские степи, все было так узнаваемо! Подвязанные к столбикам лозы на розоватой и уже пересохшей почве виноградников, сороки в придорожных посадках, крылья веером, шарообразные кустики «перекати-поля» по обочинам — с такими тонкими, невидимыми стебельками, что фиолетово-синие соцветия, казалось, парят над землею... С удивлением видела она и нечто новое: полевые делянки вдоль железной дороги, с одинаковыми, из местного ракушечника домиками, все еще без крыш. И кто-то из пассажиров сказал, что крымским татарам дают здесь участки.

Шли на гору молча. Уличная колонка стояла сухая, без воды. Не видно было и собак, хотя два-три крепких дома и выглядели живыми. Один из них был даже обнесен новым забором, кирпичной стеною с зубцами. Больше того, на углу этой стены возвышалась башня, тоже из красного кирпича, и, когда Глеб подбежал ближе и заглянул в нижнее, забран-

ное решеткой окошко, оказалось, что в башне живет поросенок, который, услышав человеческие голоса, весело поднял кверху свое рыло.

И Алька, и Жанна думали о своем. Алька была поражена запустением, которое наступило здесь сейчас, помня, как живо были заселены лет десять назад все эти улицы с белеными каменными особнячками, тогда засаженные цветами и виноградом. Лишь старые акации все так же простирали ветви над квадратами дворов...

Жанна, попавшая сюда впервые, ведь никогда в экспедицию со своим мужем она не ездила, только с его слов и зная о Городе, оглядывала местность, глубоко вдыхая запахи цветущих трав, хотя, как оказалось, подъем в гору был для нее нелегок.

Алька приехала в Город по делам. Она начала свою аспирантскую работу, наполовину архитектурную, наполовину археологическую «Консервация руин античных сооружений». И хотя кандидатская степень теперь ничего не давала, надо было сберечь не только в памяти, но и в их материальной сущности эти сурового вида развалины на горе, которые были не только остатками древней культуры, но как будто и веществом собственной Алькиной жизни. Ученый совет института в Москве утвердил тему, но здесь, в Городе, стало понятно, что дело это совершенно бесперспективное. Кто же захочет тратить средства на какие-то развалины, когда тут и на ремонт жилья денег нет! Обдумывая это все, шагала она по знакомым улицам, по любимейшим своим местам.

В Крым решили ехать втроем как-то сразу, и перед отъездом Алька попросила Жанну показать Глебу фотографии его отца. На тех, экспедиционных снимках, что были у них в доме, стоял Годовалов обычно с краю, боком, лица не разобирать.

Они рассматривали фотографии в альбоме, и среди них — те, которые, по словам Жанны, Годовалов привез из питерской командировки. Отдала их ему тогда найденная им в Ленинграде дочь.

Послевоенных фото почти не было, все военные. Алька видела их впервые. Вот он в полушубке, в ушанке, и улыбается так широко, что даже виден кривой зубик справа...

— Тут, — указала Жанна на небольшой бледный снимок (Годовалов в шлеме танкиста, в темной кирзовый куртке, с воспаленными глазами), — тут он еще до ранения... А это, — она вынула гляцевый квадратик с датой на уголке «7 мая 1945 года» — это уже в Берлине, уже запасные гимнастерки вынули из вещевых мешков и надели, а так — всю войну в телогрейках...

Годовалов среди товарищей, возле какого-то памятника, и все они держат в руках веточки белой сирени... Он говорил когда-то, что тогда, в начале мая, сирень уже цвела вовсю, перла даже из-под развалин, запахом перешибая смрад разлагающихся трупов. И везде у него такое открытое, просто-душное лицо...

Показала Жанна и свои фронтовые фото: в белом платочке с красным крестом и белом халате, потом в гимнастерке с нашивками. Темные гладкие волосы, скорбный рот и этот тревожный взгляд из-под век, выпуклых и продолговатых, как виноградины. И тут она рассказала Альке, как еще до отправки на передовую пережила ту страшную бомбежку, после чего ее уже не пугали ни кровь, ни пули, и оупение пришло такое, что не ужасал больше даже вид человеческих внутренностей, валяющихся на земле. Рассказала про тот самый день в начале войны, когда она проходила учебу в гарнизонном госпитале и бомбили вокзал. «Бомба, большая бомба», — сказала она, и все снова встало у нее перед глазами. Угольно-черные платформы, остовы вагонов и полувагонов, где вчера стоял состав с эвакуированными, разметанные по насыпи ошметки одежды, кишки, повисшие на электрических проводах...

Алька увидела, что колоннада на северном склоне стоит, как и прежде. Одна из колонн накренилась, и вся конструкция с тяжелым антаблементом вот-вот могла рухнуть. Остатки римской стены и углового бастиона все так же высились серой грудой над кустиками цветущего дрека. Нимфей тоже был на месте, а на вершине горы горел не погасая «веч-

ный огонь» и, видно, как и прежде, гоняли наверх машину с мазутом, чтобы заправлять горелку.

Сошли с дороги, потому что Альке хотелось осмотреть старый их раскоп. Ей помнился здесь каждый взгорок, каждая тропка. Археологи больше не вели здесь работ. Отвалы поросли сорняками, края котлована осыпались. Куст шиповника, единственное крупное растение на всем склоне, за эти годы вымахавший больше человеческого роста, возвышался, повернув розовые мордочки цветов навстречу солнцу. Впервые видела его Алька в цвету, ведь экспедиции обычно проходили в июле-августе, когда шиповник уже отцветает...

Вернулись на дорогу, и Алька стала рассказывать со смехом о том, как в свое время приходил к ней Илья свататься. Тогда Илья хотел ехать в Америку и Альке предлагал руку и сердце: «Глеба надо от армии спасать», — уговаривал он ее. Самому Илье в свое время удалось избежать воинской службы. Еврейка-врач, понимая, как видно, что ждет его в казарме, пожалела и дала направление в психдиспансер. Долгие годы потом он не мог найти той работы, где сумел бы показать свои способности, но сейчас нашлось им применение. Он в совершенстве освоил компьютер, был при деле и в упоении этой своей профессией.

Жанна этого парня знала, Илья часто бывал у Годовалова, и именно он приносил им когда-то Солженицына, эти компактные, с таким четким шрифтом книги тамиздата.

— Выходи за него! — настойчиво советовала Жанна. — Плохо одной! Но как же ты уедешь?

Алька хотела сказать, что за границу, конечно же, она не поедет, чего она там не видела! Да и сам Илья никуда не уедет, потому что внезапно такое с ним произошло, чего и предположить никогда нельзя было при его-то богохульстве и взрывном характере. Он еще до «перестройки» получил вызов и тогда-то, оформляя анкету на выезд, вдруг записался христианином. А теперь и вообще вступил в общину «Евреи за Христа» и волонтером служит по программе какой-то, в колонию ездит с книжками.

— Глебу осенью в школу идти, — только и сказала Алька.

Глеб, ее ребенок, был с ней — ничего больше ей и не нужно! Светловолосый, глазастый, такой смысленный, вострый такой! Развинтил недавно телефонный аппарат, и, несмотря на то, что потом, после сборки, остались лишние детали, телефон работал! Длинные пальцы, тонкие запястья, но руки сноровистые, руки сильные уже! Когда они с ним выехали на природу и жили в сарае с чугунной печкой, снятом за копейки в Поваровке, он сам колот дрова маленьким топориком, и это в шесть лет! Лишь по окончании Алькиного отпуска, когда сидеть с малышом в деревне заступила Жанна, по ее аханью Алька, глупая мать, поняла, что нельзя еще ему доверять такой работы, мал еще, может покалечиться!

Глеб бежал впереди, порою пропадая из виду на повороте улицы, и тогда Алька бросалась вперед с громким приказом: «Осторожно!». Неизвестно, что там за углом, может быть, яма в земле или аварийный дом!

— Глеб! — звала она сына. — Глеб, вернись!

Они ускорили шаг, чтобы догнать мальчишку.

— Глебушка! — позвала его Жанна, и он, непослушный зову матери, обернулся. Обернулся, увидел, что Жанна остановилась и, раскинув руки, зовет его к себе, и скоро побежал назад, к ней, в старушечьи мягкие ее объятия. Жанна подхватила его и — откуда силы взялись! — прижав к себе, восторженно закружилась на месте. И когда снова пошли они по дороге, и Глеб снова заскакал впереди, Жанна вдруг приостановилась и сказала Альке:

— Как же я ненавидела тебя! Ты молодая, здоровая и ребенка родила! А на фронте ведь разные были люди и разные женщины, по-разному вели себя, но представление такое, что на войне — все женщины доступные, все женщины публичные. Ты этого нигде не прочтешь — как девчонку принуждает командир к сожительству... Но у меня другая история была. И я до сих пор не понимаю, знал он или не знал... Были такие боевые группы, и такой батальон забросили немцам в тыл, как теперь говорят, вглубь немецкой обороны.

Батальон, конечно, неполный, уже много ребят погибло, а переформирования не было. Я к ним послана была, командир был ранен, но пока доползла, он уже умер. А потом несколько суток никто никакого приказа нам не отдавал, а наши части все отошли, отступили, а мы сидели, и даже не знали, что идет передислокация. На войне хуже всего неопределенность, неизвестность, и когда связь три дня молчала, было так тошно, что все ребята о смерти думали, что в последний раз видимся, что наши бросили нас. И я с ними одна оставалась... А это ведь солдаты, мужики...

— Одна медсестра? — спросила Алька.

— Одна женщина, — сурово ответила Жанна. — На войне все по-особому. Сейчас живой, а через полчаса убили. И потом всю жизнь я боялась, что он узнает...

— Что узнает? — не врубалась Алька.

— Что я с ними бы-ла, понимаешь? — строго, жестко произнесла Жанна. — Те, что погибли, уже ничего не скажут, но про меня потом болтали, и ему, наверное, тоже рассказали!

И Алька вдруг всем своим бабьим нутром поняла, что она имеет в виду. Но вспомнила и то, как Юрий однажды, при разговоре о фронтовых медсестрах, сказал о них с жаром, с благодарностью: «Не забудем!» А Жанна все говорила и говорила о Годовалове:

— Так любила его, наглядеться не могла! Он спит, а я подойду и слушаю, как он дышит. У него грудь поет во сне! Сначала я все боялась за него — туберкулез! А потом привыкла, это у него уже хроника была. Не спится мне — я слушаю. Слышу: дышит. Слава богу — живой, слава богу — со мной! Мы с ним в больничке полевой познакомились, но тогда ничего не было. Уже через десять лет после войны он меня нашел. Расписались мы с ним в городе Клин, у него ведь тогда прописки московской не было. Регистратор нас записала в книгу, мы свои подписи поставили, а она говорит: «Молодые, поздравьте друг друга!». Он мне руку пожимает. Она: «Потеплее поздравьте друг друга!». Он не догадался даже, что тут надо поцеловаться.

Жанна замолчала, а Алька, ошеломленная ее рассказом, сама уже была переполнена воспоминаниями, потому что и она до самой кончины Годовалова, до смерти отца своего ребенка, жила, можно сказать, с перекошенным от стыда лицом. Глаза боялась поднять, и в любой компании, и на службе, и среди родных мучима была неверным своим положением. Изменница, с чужим мужем спит, незаконнорожденный ребенок! Но если бы кто знал, как она жила все эти годы, уйдя от мужа, как это — встречаться тайком, ждать телефонного звонка и от сослуживиц скрывать, с кем говоришь. И в жизни всего одну ночь — но целую ночь! — пробыли они вдвоем, там, в Херсонесе, где она поклялась любить его вечно. И хотя, бывало, порой сама Алька решала тогда: «Больше невозможно, надо расстаться!» — а мать, так та просто на этом настаивала, тяга к этому человеку была сильнее ее, Алькиной, воли. Ведь если она видела где-то на улице, вдалеке высокого седого мужчину в белой рубашке, ей хотелось к нему бежать. И так до сих пор, потому что временами она забывала, что его не стало, он словно и сейчас был с ней, был с ними.

Пока он был жив, она не должна была обнаруживать их счастья, но теперь ее больше не мучила совесть, в горе своем она поднялась до равного с Жанной положения. Еще там, в крематории, где немало собралось народу проститься с Годоваловым, и все проходили, поднимая руку и снизу касаясь гроба, поставленного на гранитное возвышение... Алька тогда, одна из всех, вскарабкалась вверх по деревянной лестнице, прислоненной к высокому ложу, встала там, на высоте, на колени и прилюдно поцеловала его в лоб, не сдерживая больше плача, того очищающего, духовного плача, который вдруг даровался ей.

Когда он умер, у нее сделалось другое лицо, разгладилась складка на лбу, исчезла та маска, что налагается на человека, скрывающего свой грех. И кто-то тогда, в день похорон, сказал почерневшей от горя Альке, что она вдруг стала какой-то другой, какой-то очень красивой...

Когда-то жена Юрия представлялась ей враждебным, чужим существом, а потом, в больнице, на кладбище и на сорок

дней, когда они снова виделись, и особенно, когда Жанна приняла к сердцу ее мальчика...

Жанна никогда не жаловалась, а лишь рассказывала. Алька узнала, что Жанна, казавшаяся ей такой сильной, прямо сказать, двузначной, очень больна, после операции на учете у онколога, и от государства ей даже положено в год два комплекта нижнего белья, специальные бюстгалтеры по льготной цене. Но лечится она у гомеопата и принимает не те лекарства, которые выдают ей бесплатно в поликлинике, а только кониум в шестом разведении. И сейчас, после того как Жанна доверилась Альке в том давнем, в том пережитом, что до сих пор ее терзало, Алька поняла вдруг, что любит эту старую, хромую женщину, говорящую о жертве своей военной как о неисповеданной вине. Любит ее, как родную, что та ей роднее родных.

Назавтра с утра Альке предстояло идти отмечать командировку, обговорить, может ли музей стать ведущей организацией, если дело дойдет до защиты диссертации. Алька знала уже о музейных делах от Горева, приехавшего в Москву оформлять открытый лист на ведение раскопок. Знала она и о трагедии Виктории Георгиевны Велецкой, о жутком конце ее директорства. Велецкая, конечно же, была особенный человек, и этот музей, до революции так прославившийся своим собранием древностей, а потом захиревший, пыталась вывести на более высокий уровень. И как только грянула «перестройка», ей многое удалось сделать. Виктория пробила через Москву разрешение провести международную археологическую конференцию, которая потом прогремела на всю страну как праздник античников. В город, который перестал быть режимным, пустили зарубежных археологов, но именно этот пир науки, этот успех Велецкой и не простили, как раз конференция эта, проведенная с таким блеском, и раздражила темные силы.

По слухам, и было-то всего-навсего общее — наших и иностранных гостей — ночное гулянье. После итогового заседания участники конференции организованно двинулись в город. Шли вдоль моря, взявшись за руки, во главе с Викторией Георгиевной. Получилось эдакое неформальное братание всех

со всеми. Бутылки крымского вина пошли по кругу, и прямо посередь набережной начались песни и танцы. Наши граждане как будто напрочь забыли, что все иностранцы — шпионы, что вступать с ними в неофициальное общение нельзя. Кто-то из местной интеллигенции проявил и знание языков, и кавалерские навыки, и вокальный талант. Понятно, что на следующий день с утра, где следует, уже знали обо всем: и про пьянку, и про тех, кто якшался с иностранцами, и про то, как Велецкая опозорила город. Дело в том, что когда шло веселье, в археологическую компанию затесались портовые проститутки, в тот момент простаивающие на набережной без клиентов. Как рассказывал Горев, Велецкую не только пропесочили по партийной линии, но и сняли с директорского поста. От всего перенесенного здоровье ее очень пошатнулось, открылся диабет, но к врачу долго не обращалась, не лечилась...

Вдруг возникла синяя пелена в воздухе, защипало ноздри от вони горячей резины. Пыхал на средней террасе костер, и по выжженному пятачку метался с прутот в руке человек в портках с оборванными по колено штанинами. И не человек даже, а какое-то существо, словно бы материализовавшееся из этих клубов дыма...

Глеб бросился к костру, Алька — за ним, сгребла в охапку, остановив почти у самого огня. Человек обратил к ней свое прокопченное лицо, поразившее Альку тем, что у переносицы, в самых уголках глаз его выпукло сидели два черных зерна сажи. Он приостановил свое необъяснимое движение, свою пляску и, замерев, смотрел на Альку. И вдруг с интонацией узнавания обратился к ней: «Здравствуйте, Аля!» В этом исчадии огня с трудом опознала она местного археолога-энтузиаста, такелажника Бабичева. Плечи его, великанские его бицепсы опали, на руках были волдыри и ссадины. Алька стала спрашивать его, и он рассказал, что с тех пор, как появилась граница России и Украины, с той стороны пролива свободный привоз запретили. Ни картошки, ни помидоров, ни арбузов уже не везут, а рыбацкое дело захирело, потому что суда старые, а в рыбные места через границу ходу нет. Портовые работы свернули, грузить-разгружать нечего,

и всех их уволили даже и без выходного пособия. В городе страшная дороговизна на все, а завод встал, нет сырья, которое раньше поступало из России.

— Россия нас бросила, — сказал Бабичев, — Крым ведь с Россией хотел остаться, но когда референдум проводился, начали грозить, что днепровской воды Украина не даст, перекроют, чуть что, Северо-Крымский канал... Те хлопцы, что пограмотней, — продолжал Бабичев рассказ о здешней жизни, — устроились работать на таможню. То готовились уже погибать, а теперь такие деньги загребают, о каких раньше и думать не могли. А кто привык работать физически — некуда идти.

Он, Бабичев, чтобы семью кормить, собирает и сдает металлолом, и здесь на горе, на воле, из старых кабелей выплавляет медь. Цветные металлы охотно принимают, а вообще по сбору металла — большая конкуренция...

Глеб раскашлялся от дыма, а тот все говорил. О том, как довели до смерти Велецкую, как в музее взъелись на нее бабы, возненавидели за то, что она доктор наук да еще с них работу спрашивает, и стали писать и в райком, и в ОБХСС.

— Начались проверки всякие. Сверху давят и снизу давят. Она и не выдержала, — вздохнул Бабичев.

Ядовитый дым разъедал глаза. Надобно было идти, парня кормить пора было, а они еще не дошли до намеченного пункта. Когда Алька стала совать Бабичеву деньги, тот наотрез отказался и повторил, что капитализм, который так хвалили в начале «перестройки», ударил как раз по работягам. Невесело было от всех этих новостей.

Они вошли в улочку, где стояла церковь, Церковку эту помнила Алька еще с тех пор. Церковь отремонтировали, шатер сиял серебрянкой. В храме шла служба, но в пении, которое доносилось изнутри его, было что-то необычное. Алька прислушалась: «Что же такое особенное в этом пении?» И вдруг поняла: поют вместе и женские, и мужские голоса, к хору женщин прибавились басы, вот что! Пройдя через притвор, они встали за спинами молящихся. Народу было много. Глеб оторвался от них, пробежав вперед, и стоял теперь у аналая, дозваться невозможно.

Вся атмосфера службы — столб солнца между граней шатра, изображения евангелистов на парусах свода, темные иконы, женщины в белых газовых шарфах и это пение — вновь вернули Альку в то время ее молодости, когда была она здесь с Юрием, убежав с раскопа.

Пели — знала теперь, знала с тех пор, — акафист Богородице, песнопение во славу Всеблагой Матери, что некогда спасло Константинополь от нашествия. Стройно, воодушевленно зывали голоса:

*Радуйся, огненный столпе!
Радуйся, покрове миру, ширше облака!*

И слышно было на всю улицу, на всю гору, а может быть, и в городе даже: — Радуйся, невесто невестная!

Алька, как ни странно, теперь разбирала все слова, даже и незнакомые:

*Радуйся, бога невместимаго вместилище!
Радуйся, девство и рождество сочетававшая!*

И снова:

Радуйся, невесто невестная!

И Глеб пришел, прижался к Алькиному бедру и, задирая голову, спросил вдруг: «Мама, они про тебя поют?» «Что ты, что ты!» — качала она головой. Но Жанна, кротко подняв брови, тоже посмотрела на нее. И, из многих губ единодушно исходящее, молодыми звеня голосами, разливалось в воздухе:

*Радуйся, земле обетование!
Радуйся, чаши, черпающая радость!*

Альке же хотелось в этот момент, тут же, сказать Жанне, сказать прямо и не стесняясь таких слов, что никогда-никогда теперь она, Алька, не одна, что каждую минуту они с ребенком как будто неким покровом укрыты и защищены...

По мере приближения к вершине дорога становилась все круче. Они шли, а Жанна рассказывала о своем муже: что,

приговоренный Особым СовеЩанием к пяти годам заключения, он мог бы потом обратиться для пересмотра дела, но ни в пятьдесят шестом, ни потом никуда не обращался. И всегда все ее просьбы к нему об этом наталкивались на полное его нежелание что-нибудь в этом отношении делать, когда нужно было делать, пора было делать. Он же обвинение свое опровергать не собирался, как считала сама Жанна, из гордости.

— Это все равно, что жертвы Освенцима стали бы сейчас подавать заявления на реабилитацию, говорит, — рассказывала Жанна. — У нас реабилитация не восстановление в правах, говорит, а прекращение дела за отсутствием состава преступления. Без суда над теми, кто эти дела фальсифицировал. Но взгляды, враждебные советской власти, у него, действительно, были, — добавила она, — а вот притворяться он не мог, такой человек. Но когда он письмо это против Афгана наверх послал, а письмо в партком спустили и его с работы выгнали, тут он и сломался...

— Он и пил тогда поэтому, — сказала Алька, — но ведь выкарабкался...

А Жанна с волнением говорила о том, как было решение Сталина еще до войны, что репрессированные по политическим обвинениям, несмотря на отбытие срока, пожизненно подлежат ссылке в дальние районы Сибири; как затем автоматически, само собой, это подразумевалось и в отношении осужденных по пятьдесят восьмой уже после войны; как отправили освободившегося Годовалова сразу же не в Ленинград, а в Красноярский край, где он паспорт и получил, и откуда бежал; как потом всю жизнь было на нем это пятно, и как она, его жена, двадцать лет тряслась от страха, ведь в одной с ними квартире, можно сказать, через стенку, жил человек из «органов» и мог донести в любой момент... И она, Жанна, уже после смерти мужа послала просьбу в Комиссию и получила ответ. Сообщили, что его дело проверено и установлено, что Годовалов Ю.П. был осужден необоснованно и по протесту генпрокурора постановление ОСО в отношении него отменено.

Глеб слушал внимательно.

— Почему же так поздно подали на реабилитацию? — с отчаянием спрашивала Алька.

— Сначала он уверен был, что побега ему не простят, и меня боялся подвести, — проговорила Жанна, — а потом уперся: «Не хочу им кланяться», — говорит.

Она задыхалась. Пришлось остановиться. Долго смотрели сверху на город. Альке казалось, он совсем не изменился за эти годы. Деревья среди закопченных домов и море, совсем близко, у подножия горы... Кое-где живописно краснела глиняная черепица кровель. Но над старыми церквями блестели теперь золотые кресты, а у набережной, прежде всегда неподвижное, вертелось в каком-то оптимистическом безумии «колесо обозрения» с ярко покрашенными кабинками...

— Куда мы идем? — отдышавшись, спросила Жанна.

— Мы идем к источнику, — сказал мальчик.

— Милый, — возразила она ему, — на вершине воды не бывает!

Перевалив через хребет горы, они спустились на поляну, лежащую между площадками скальных выходов. Здесь, на террасе холма, увидели участок, выделяющийся свежей зеленью на общем фоне. В тени, под выступом скалы была канавка в камне, блестела влага.

— Слушайте, — сказала Алька.

И услышали, как на камень, плоско выпирающий из почвы среди бугристых глыб, упала капля, потом другая. Из щели в известняке, из расселины, похожей на нестрашный беззубый ротик... Вода, сначала собранная, по-видимому, в полости скалы, а потом отфильтрованная пористым камнем до алмазной чистоты...

— Я устал, — сказал Глеб и, обессиленный, повалился на землю, на зеленую ветвистую травку. Жанна ничего не говорила, но, видно, и ее затронуло это ощущение необычного, этот бесконечный плач горы.

А память вдруг вернула Альке стихи, произнесенные тогда, много лет назад, когда Годовалов привел ее сюда:

*Ненасытна жестокая радость рыдания,
Так с обрыва скалистого каплет и каплет,
Слезы вечные лия,
Влаги чистая струя...*

Стихи, показавшиеся ей когда-то банальными...

Ребенок, однако, и пяти минут не сидел на месте, невозможно было матери передохнуть. Он опять был на ногах и бежал в сторону, к краю поляны, к внезапно обрывающейся вниз скальной стене.

— Не упади! — крикнула Алька и метнулась к нему, но он застрял на самом краешке, склонившись над цветком и внимательно его рассматривая.

Алька подошла, присела на корточки возле сына и глянула вниз. Внизу же, прямо под тем местом, где они расположились, росли во множестве эти цветы на высоких стеблях, собранные в тугие султаны. Львиный зев, степная орхидея, но с какими-то особенно крупными губастыми цветками... Всюду, всюду под скалой, как свечи... Не там, наверху, — она вспомнила снова тот день и ту минуту, — где некогда рос, стоял одиноко, на предвершинной ступеньке приметный своей яркостью цветок, а по всей земляной террасе, по всему склону...

Тот цветок обсеменял все вокруг. И солнце, и сотни людей, приходящих сюда на помин каждый год в День Победы, и пожоги травы, которые из баловства постоянно устраивала здесь ребятня, и суховеи времени не смогли истребить, затоптать, выжечь этого семени.

Оглавление

Глава 1	3
Глава 2	11
Глава 3	15
Глава 4	20
Глава 5	27
Глава 6	34
Глава 7	39
Глава 8	45
Глава 9	51
Глава 10	55
Глава 11	62
Глава 12	71
Глава 13	80
Глава 14	88
Глава 15	95
Глава 16	100
Глава 17	110
Глава 18	119
Глава 19	126
Глава 20	133
Глава 21	146
Глава 22	152
Глава 23	164
Глава 24	172
Глава 25	182
Глава 26	189
Глава 27	196
Глава 28	208
Глава 29	221
Глава 30	236
Глава 31	244
Глава 32	252
Глава 33	266
Глава 34	280
Глава 35	294
Эпilog	303

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НОВЫЙ ХРОНОГРАФ»

Вышли в свет:

Александр ЗОРИН

**От крестин до похорон — один день: епархиальные очерки, дар
Валдая, рассказы**

«От крестин до похорон — один день» книга документальной прозы о русской глубинке в до и послеперестроечное время.

В 90-х годах Американская компания ЮСС поставляла России гуманитарную помощь в виде продуктов. Помощь шла в сельские районы и распределяла её православная церковь. В епархиальных очерках запечатлена жизнь сельских приходов, подвижническая работа пастырей и прихожан на почве, духовно вытопанной в предшествующие десятилетия. Картина трагическая, но не безнадежная.

Возрождение России немислимо без обретения евангельских ценностей, без совместных усилий разных церквей: православной, католической, протестантской. О чём автор свидетельствует с художественной достоверностью.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НОВЫЙ ХРОНОГРАФ»

Вышли в свет:

Литературно-художественное издание

Постникова Ольга Николаевна

РАДУЙСЯ!

Издатель *Леонид Янович*

Корректор *Ирина Кускова*

Верстка, оригинал-макет и обложка *Евгения Яновича*

Налоговая льгота —
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

Подписано к печати 08.06.2010
Формат 84x108/32. Бумага офсетная №1
Печать офсетная. Печатных листов — 10
Тираж 1000 экз. Заказ № _____

НП издательство «Новый хронограф»
Контактный телефон в Москве (495) 671-0095,
E-mail: nkhronograf@mail.ru
Информация об издательстве в Интернете: <http://www.novhron.info>

Отпечатано в ООО «Чебоксарская типография № 1»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15

www.novhron.info



